

Прудон Пьер-Жозеф. Что такое собственность?

1840, источник: Прудон П.Ж. Что такое собственность? или Исследование о принципе права и власти; Бедность как экономический принцип; Порнократия, или Женщины в настоящее время / Подгот. текста и коммент. В.В.Санова. — М.: Республика, 1998 - 367 с., ISBN 5-250-02607-9, комментарии Е. и И. Леонтьевых.

- [Предисловие](#)
- [Глава I. Метод, принятый в настоящем труде. Идея революции](#)
- [Глава II. Собственность, рассматриваемая как естественное право. О захвате и о гражданском праве как действительных причинах господства собственности](#)
- [Глава III. Труд как действительная причина господства наследственной собственности](#)
- [Глава IV. Собственность невозможна](#)
- [Глава V-I. Психологическое объяснение идеи справедливого и несправедливого и определение принципа власти и права](#)
- [Глава V-II. Психологическое объяснение идеи справедливого и несправедливого и определение принципа власти и права](#)
- [Примечания](#)

Предисловие

Приводимое ниже письмо служило предисловием к первому изданию настоящего сочинения.

«Господам членам Безансонской академии
Париж, 30 июня 1840 года

Милостивые государи!

В вашем постановлении от 9 мая 1833 года, касающемся стипендии, учреждённой г-жой Сюар, вы высказали следующее пожелание:

«Академия приглашает стипендиата доставлять ей ежегодно, в течение первых двух недель июля месяца, краткий, обстоятельный отчёт о своих научных занятиях в течение предыдущего года».

Я исполняю этот долг, милостивые государи.

Когда я ходатайствовал о вашем согласии на стипендию, я открыто заявил о своём намерении направить все свои усилия на изыскание средств *для улучшения физических, нравственных и интеллектуальных условий существования наиболее многочисленного и беднейшего класса населения*. Эта мысль, несмотря на то что она не имела отношения к моей кандидатуре на стипендию, была принята вами благосклонно. Благодаря высокой чести, которую вам угодно было оказать мне, это обещание превратилось для меня в священнейший и ненарушимый долг. Я понял тогда, с какими достойными и благородными людьми я имею дело: моё уважение к их просвещённости, признательность за их благодеяния, моё рвение прославить их были беспредельны.

Будучи убеждён, что избавиться от общепринятых избитых взглядов и систем можно, только внося в изучение человека и общества научные приёмы и точный метод, я посвятил год изучению филологии и грамматики. Из всех наук лингвистика, или естественная история слова, наиболее соответствовала складу моего ума, и мне казалось, что она также наиболее соответствует исследованиям, которые я намеревался предпринять. Написанный именно в это время труд по поводу одного из наиболее интересных вопросов сравнительной грамматики[1], если и не имел блестящего успеха, то по крайней мере свидетельствовал о серьёзности моих занятий.

С тех пор я занялся исключительно метафизикой и моралью. Мои усилия были вознаграждены вынесенным мною опытом, что эти науки, предмет которых не установлен точно и которые вообще ещё недостаточно определены, подобно естественным наукам, доступны доказательствам и точности.

Однако, милостивые государи, из всех своих учителей я больше всего обязан вам; ваша помощь, ваши программы, ваши указания, соответствовавшие моим сокровенным желанием и наиболее дорогим моим надеждам, непрестанно помогали мне и указывали дорогу. Настоящее сочинение о собственности есть плод ваших идей.

В 1838 году Безансонская академия поставила следующий вопрос: *Каким причинам следует приписать постоянно увеличивающееся число самоубийств и какими средствами можно предупредить последствия этой нравственной заразы?*

В более общей форме вопрос этот можно выразить так: каковы причины социальных зол и каковы средства их исцеления? Что это так, вы, милостивые государи, признали сами, когда ваша комиссия заявила, что участники конкурса полностью перечислили непосредственные и частные причины самоубийств, так же как и средства предупреждения каждого из них, но что из этих написанных с большим или меньшим талантом перечислений нельзя сделать никакого положительного вывода ни относительно первоначальной общей причины зла, ни относительно средств для его исцеления.

В 1839 году ваша программа, всегда интересная и разнообразная по своей внешней форме, сделалась более определённой. Конкурс 1838 года в качестве причин или, лучше сказать, диагностических признаков социального зла выставил забвение религиозных и нравственных принципов, стремление к богатству, жажду наслаждений, политические страсти. Все эти данные были сведены вами в одно-единственное предложение: *о пользе празднования воскресенья с точки зрения гигиены, нравственности, семейных и гражданских отношений.*

Выражаясь на христианском языке, вы, милостивые государи, спрашивали, каков истинный общественный строй? Один из участников конкурса[2] осмелился утверждать, полагая, что он в достаточной мере доказал это, что установление еженедельного отдыха неразрывно связано с политической системой, основанной на равенстве, что без равенства это учреждение будет невозможной аномалией, что только равенство может повести к новому расцвету древнего мистического обычая праздновать седьмой день.

Это сочинение не удостоилось вашего одобрения, так как вы, милостивые государи, не отрицая связи, отмеченной участником конкурса, справедливо полагали, что раз самый принцип равенства не доказан, то идеи автора не выходят из области гипотез.

Этот основной принцип равенства вы, милостивые государи, сделали темой конкурса в следующей формулировке: *об экономических и нравственных последствиях, какие до сих пор вызывал во Франции и, по-видимому, должен вызвать в ней в будущем закон о равном разделе имущества между детьми.*

Оставляя в стороне общую неопределённую формулировку, ваше предложение, кажется мне, надо понимать следующим образом:

Если закон мог сделать право наследования равным для всех детей одного отца, то не может ли он сделать его равным для всех его внуков и правнуков?

Если закон не признаёт больше младших в семье, то не может ли он, посредством права наследования, также уничтожить старшинство в роду, племени и нации?

Может ли быть сохранено равенство при помощи права наследования среди граждан, так же как и среди братьев и двоюродных братьев? Словом, может ли принцип наследования сделаться принципом равенства?

Резюмирую всё сказанное выше в общей формулировке: что такое принцип наследования? На чём основывается неравенство? Что такое собственность?

Таков, милостивые государи, предмет сочинения, которое я вам теперь посылаю.

Если я хорошо понял вашу мысль, если я осветил непреложную истину, остававшуюся долгое время непознанной по причинам, которые я, осмеливаясь это сказать, теперь выяснил, если при помощи непогрешимого метода исследования я установил догмат равенства условий, если я определил принцип гражданского права, сущность справедливости и общественный строй, если, наконец, я навсегда разрушил собственность, то вся заслуга этого принадлежит вам, милостивые государи; я обязан всем этим вашей помощи и вашему вдохновению.

Идеей этого труда является приложение известного метода к проблемам философии. Всякое иное намерение мне чуждо, и приписать его мне — значит оскорбить меня.

Я не особенно почтительно выражался о юриспруденции; я имел право относиться к ней так, но было бы несправедливостью с моей стороны, если бы я не отделял от этой якобы науки людей, культивирующих её. Посвятив себя тяжёлым и суровым трудам, во всех отношениях достойные уважения своих сограждан благодаря своим знаниям и красноречию, наши юристы заслужили только один упрёк: они чересчур почтительно относятся к законам, созданным произволом.

Я подверг беспощадной критике экономистов. Должен признаться, что в общем я их не люблю. Меня возмущают претенциозность и пустота их сочинений, их дерзкая надменность и их бесконечные заблуждения. Пусть их читает тот, кто, зная их, прощает им.

Я высказал суровое порицание христианской церкви, занимающейся поучениями, я должен был это сделать. Это порицание было вызвано доказанными мною фактами: зачем церковь предписывала правила в области, недоступной её пониманию; церковь заблуждалась в области догматов и нравственности; физическая и математическая очевидность свидетельствует против неё. Быть может, с моей стороны преступление говорить это, но во всяком случае это обстоятельство — несчастье для христианства. Для того чтобы восстановить религию, милостивые государи, надо осудить церковь.

Быть может, вы не одобрите, что я, направив все усилия на метод и наглядность, слишком небрежно отнёсся к форме и стилю. Всякие попытки исправить это были бы напрасны. У меня нет надежды и веры в мою литературную долговечность. Девятнадцатое столетие, на мой взгляд, есть эра созидаящая, в которой зарождаются новые принципы, но ничто

написанное не сохранится надолго. По этой-то именно причине, на мой взгляд, в современной Франции, насчитывающей так много талантливых людей, нет ни одного великого писателя. Искание литературной славы в таком обществе, как наше, мне кажется анахронизмом. Зачем заставлять говорить старую Сивиллу накануне рождения Музы. Нам, жалким актёрам приближающейся к концу трагедии, остаётся только ускорить этот конец. Больше всех заслужит одобрения тот из нас, кто лучше всех выполнит эту роль. Я со своей стороны не претендую более на эту печальную честь.

Отчего бы мне не сделать вам этого признания, милостивые государи? Я добивался вашего согласия сделать меня вашим стипендиатом, ненавидя всё существующее и питая разрушительные планы. Я кончу курс наук в спокойном и примирённо философском настроении. Понимание истины придало мне хладнокровия больше, чем чувство угнетения — гнева. Я был бы счастлив, если бы это сочинение могло внушить моим читателям спокойствие духа, создаваемое ясным пониманием зла и его причин, и гораздо более мощное, нежели страсть и восторженность. Моя ненависть к привилегиям и власти людей была беспредельна; быть может, я не раз в своём негодовании несправедливо смешивал людей и вещи; теперь я только презираю и жалею. Познав, я перестал ненавидеть.

Вы, милостивые государи, кому дана миссия и право провозглашать истину, вы должны теперь просвещать народ и научить его, на что ему надеяться и чего бояться. Народ, неспособный ещё здраво судить о том, что ему нужно, готов приветствовать самые противоположные идеи, когда он видит, что ему льстят. Для него законы мысли то же, что и пределы возможного; он теперь так же мало умеет отличить философа от софиста, как прежде учёного от волшебника. «Легко склонный уверовать во все новости, собирать и сохранять их, склонный считать всякие слухи истинными, он может быть собран по свистку или звонку новостей, как собираются мухи на звон посуды»[3].

Если бы вы, милостивые государи, желали равенства, как желаю его я, если бы вы, для вечного блага нашей родины, могли сделаться его проповедниками и глашатаями, если бы, наконец, я был последним вашим стипендиатом! Из всех пожеланий, какие я мог бы высказать, это наиболее достойное вас, милостивые государи, и наиболее почётное для меня.

Остаюсь с глубочайшим уважением и искреннейшей признательностью.

Ваш стипендиат *П. Ж. Прудон*».

Два месяца спустя после получения этого письма академия, на заседании 24 августа, ответила своему стипендиату постановлением, текст которого я привожу ниже:

«Один из членов обращает внимание академии на брошюру, выпущенную в свет в июне этого года лицом, получающим стипендию Сюар, под заглавием «*Что такое собственность?*» и посвящённую автором академии. Член этот полагает, что справедливость, добрый пример и собственное достоинство коллегии обязывают её, путём публичного порицания, снять с себя ответственность за антисоциальные доктрины, заключающиеся в этом произведении. Ввиду всего изложенного этот член предлагает:

1. Чтобы академия самым решительным образом отвергла и осудила сочинение лица, получающего сюраровскую стипендию, как сочинение, напечатанное без одобрения академии и приписывающее последней взгляды, диаметрально противоположные взглядам каждого из её членов;
2. Чтобы стипендиату было вменено в обязанность в том случае, если бы он выпустил второе издание книги, снять с неё посвящение;
3. Чтобы настоящее постановление академии было напечатано в трудах академии. Поставленные на голосование, эти предложения были приняты».

После этого курьёзного решения, которое авторы его хотели сделать грозным, придав ему форму опровержения, мне остаётся только просить читателя не судить об интеллигентности моих сограждан по интеллигентности нашей академии.

Между тем как мои патроны от социальных и политических наук предавали анафеме мою *брошюру*, человек, чуждый нашей Франш-Конте{3}, человек, не знающий меня, который мог бы себя считать даже лично затронутым моей чересчур резкой критикой экономистов, публицист настолько же учёный, насколько и скромный, любимый народом, страданиям которого он сочувствует, уважаемый властями, которых он старается просветить, не льстя им и не унижая их, господин Бланки, член института, профессор политической экономии, защитник собственности, выступил в защиту меня перед своими братьями и перед министром и спас меня от ударов юстиции, всегда слепой, потому что она всегда невежественна.

Я полагаю, что читатель с удовольствием прочтёт письмо, которое господин Бланки имел честь написать мне после выхода в свет моего второго сочинения, письмо, настолько же обнаруживающее благородство своего автора, насколько лестное для лица, которому адресовано.

«Милостивый государь!

Спешу поблагодарить вас за любезную присылку вашей второй статьи о собственности. Я прочёл её с величайшим интересом, который, естественно, внушило мне знакомство с первой статьёй. Я очень рад, что вы несколько изменили резкость формы, придававшую труду, имеющему столь важное значение, вид и характер памфлета. Вы меня испугали, милостивый государь, и только ваш талант успокоил меня относительно ваших намерений. Не следует тратить столько истинных знаний на то, чтобы вызвать пожар в своей родной стране. Грубое заявление, что собственность есть кража, могло бы оттолкнуть от вашей книги даже серьёзные умы, которые судят о содержимом не по этикетке, поставленной на обложке, если бы вы поддерживали его во всей его грубой простоте. Однако, хотя вы и смягчили форму, вы всё же остались верны сущности своего учения, и, хотя вы сделали мне честь, назвав меня соучастником этой опасной проповеди, я не могу признать себя солидарным с вашим трудом, талантливость которого была бы почётна для меня, но который компрометировал бы меня во всех других отношениях.

Я согласен с вами лишь в одном: в этом мире всевозможных видов собственности царит слишком много злоупотреблений, но из этого я не вывожу необходимости уничтожить собственность; уничтожение её было бы героическим средством, равносильным смерти. Я

пойду дальше: я признаюсь вам, что из всех злоупотреблений, на мой взгляд, самое отвратительное — злоупотребление собственностью. Но повторяю: это зло можно устранить, не касаясь собственности и, главное, не разрушая её. Если современные законы плохо регулируют пользование собственностью, то мы можем изменить эти законы. Наш гражданский кодекс не Коран, мы не раз это доказывали. Реформируйте законы, регулирующие пользование собственностью, но воздерживайтесь от провозглашения анафемы. Ибо если быть последовательным, то найдётся ли порядочный человек, у которого руки были бы вполне чисты? Не думаете ли вы, что можно быть вором, не желая, не зная и даже не подозревая этого. Не допускаете ли вы, что в организации современного общества, так же как и в организации каждого человека, есть масса пороков и добродетелей, унаследованных от наших предков. Неужели собственность, на ваш взгляд, такая простая и отвлечённая вещь, что вы можете уничтожить её и, так сказать, уравнять под вальцами метафизики. В двух своих блестящих и парадоксальных импровизациях вы, милостивый государь, высказали слишком много прекрасных и практичных взглядов, для того чтобы вас можно было считать чистым и неисправимым утопистом. Вы слишком хорошо знакомы с экономическим и академическим языком, для того чтобы играть словами, способными вызвать бурю, и я думаю, что вы с *собственностью* сделали то же самое, что восемьдесят лет тому назад Руссо сделал с *образованием*{4}; вы сделали её предлогом к блестящему и поэтическому интеллектуальному и научному скандалу. Таково, по крайней мере, моё мнение.

Так я говорил и в институте в тот день, когда давал отзыв о вашей книге. Я знал, что её хотят подвергнуть судебному преследованию; вы, может быть, никогда не узнаете, благодаря какой счастливой случайности я имел приятную возможность помешать этому[4]. Для меня было бы вечным упрёком, если бы королевский прокурор, вершитель судеб в области литературы, явился бы после меня, и как бы по следам, проложенным мною, с целью напасть на вашу книгу, а вместе с тем и на вашу личность. Я провёл, клянусь вам, из-за этого две ужасные ночи, и мне удалось удержать карающую руку, занесённую над вами, лишь при помощи уверения, что ваша книга представляет научную диссертацию, но отнюдь не манифест поджигателя. Ваш стиль слишком возвышен для того, чтобы служить когда-либо тем безумцам, которые при помощи ударов камня решают на улицах величайшие проблемы нашего социального строя. Но берегитесь, милостивый государь, чтобы они не явились помимо вас искать материала в вашем громадном арсенале и чтобы ваша могучая метафизика не попала в руки какого-нибудь софиста, который станет комментировать её перед голодной аудиторией, ибо выводом из этого будет грабёж.

Я, милостивый государь, не менее вас взволнован раскрытыми вами злоупотреблениями. Но я так сильно привязан к порядку — не к банальному и тяжёлому порядку, довольствующемуся агентами полиции, — но к величественному порядку человеческих обществ, что мне подчас бывает трудно нападать на иные злоупотребления. Каждый раз, когда я вынужден сотрясать что-либо одной рукой, мне хочется это же поддерживать другой. Когда обрезаешь старое дерево, то следует остерегаться уничтожения плодоносных почек. Вы знаете это лучше, чем кто бы то ни было другой; вы человек серьёзный, образованный, с наблюдательным умом. Вы в таких живых выражениях говорите о настроениях нашего времени, что даже самые мрачные люди могут успокоиться относительно ваших намерений. Но вы приходите к выводу о необходимости уничтожить

собственность, вы хотите уничтожить могущественнейшую пружину, движущую человеческим интеллектом, вы нападаете на самые сладкие иллюзии родительского чувства, вы одним своим словом останавливаете возникновение капиталов, и отныне мы будем строить свои здания на песке, вместо того чтобы строить их на граните. Вот чего я не могу допустить, вот почему я критиковал вашу книгу, хотя она блещет огнём и знаниями, хотя в ней встречается так много прекрасных страниц!

Я желал бы, чтобы моё почти подорванное здоровье позволило мне вместе с вами изучить страницу за страницей сочинение, которое вы сделали честь адресовать мне лично. Я думаю, что мог бы сделать вам весьма веские возражения. В данный момент мне приходится ограничиться выражением благодарности за лестные слова, которые вам угодно было высказать обо мне. Мы с вами оба искренни, я же, кроме того, и осторожен. Вы знаете, какое глубокое недовольство царит среди рабочего класса; я знаю, какое множество благородных сердец бьётся под этими грубыми одеждами, я чувствую неудержимое братское влечение к этим тысячам хороших людей, которые встают так рано для того, чтобы трудиться, платить подати и создавать могущество нашей нации; я стараюсь служить им и просветить их, между тем как иные стараются ввести их в заблуждение. Вы не писали непосредственно для них; вы сочинили два великолепных манифеста, из которых второй умереннее первого; напишите третий, ещё более умеренный, и вы займёте высокое место в науке, первой обязанностью которой является спокойствие и беспристрастие.

Прощайте, милостивый государь. Нельзя чувствовать больше уважения к человеку, чем чувствую к вам я.

Бланки.

Париж, 1 мая 1841 года».

Конечно, я мог бы сделать немало возражений на это благородное и красноречивое послание, но признаюсь, я более желал бы осуществить своего рода пророчество, которым оно оканчивается, нежели напрасно увеличивать число своих антагонистов. Вся эта полемика утомляет и раздражает меня. Ум, потраченный на словесные сражения, так же как и ум, потраченный на войну, пропадает непроизводительно. Господин Бланки признаёт, что собственность создаёт массу злоупотреблений, злоупотреблений вопиющих. Я со своей стороны называю *собственностью* всю сумму злоупотреблений. Как для меня, так и для него собственность есть многоугольник, углы которого нужно обломать, но г. Бланки утверждает, что после этого многоугольник останется всё же многоугольником (гипотеза, принятая в математике, хотя и не доказанная), я же со своей стороны полагаю, что фигура эта будет кругом. Хотелось бы хоть с порядочными людьми приходить к соглашению.

Я, впрочем, согласен, что при современном положении вещей для ума вполне естественно остановиться пред уничтожением собственности. В самом деле, для того чтобы считать дело выигранным, недостаточно уничтожить общепризнанный принцип, имеющий за собой ту несомненную заслугу, что он резюмирует систему наших политических верований; надо ещё установить противоположный принцип и сформулировать вытекающую из него систему. Кроме того, необходимо показать, каким образом эта новая система удовлетворит тем нравственным и политическим потребностям, которые вызвали возникновение первой.

Ввиду этого я обуславливаю точность приведённых мною доказательств следующими ясными до очевидности положениями:

Требуется найти систему абсолютного равенства, при которой все современные учреждения, за исключением собственности или суммы злоупотреблений собственностью: индивидуальная свобода, разделение власти, общественное министерство, жюри, организация администрации и суда, единство и цельность образования, брак, семья, наследование по прямой и боковым линиям, право продажи и обмена, право завещания, право старшинства, — не только нашли бы место, но сами послужили бы, так сказать, средствами равенства, систему, которая лучше, чем собственность, обеспечивает образование капиталов и во всех поддерживает деятельность, которая с высшей точки зрения объясняет, исправляет и дополняет все теории ассоциации, предложенные до сих пор, со времён Платона и Пифагора и кончая Бабёфом, Сен-Симоном и Фурье, — систему, которая наконец, сама являясь средством перехода, была бы непосредственно осуществима.

Такой обширный труд потребовал бы соединённых усилий двадцати Монтескьё; однако если отдельному человеку не дано довести дело до конца, то во всяком случае он может начать его. Путь, пройденный им, будет достаточен, чтобы раскрыть его цель и обеспечить успех.

Глава I. Метод, принятый в настоящем труде. Идея революции

Adversus hostem aeterna auctoritas esto {6}.

Закон XII таблиц.

Если бы мне надо было ответить на вопрос: «Что такое рабство?» — я ответил бы: «Это убийство», и мысль моя была бы сразу же понятна. Мне не было бы нужды в длинных рассуждениях, чтобы показать, что право отнять у человека его мысль, волю, его личность есть право над его жизнью и смертью и сделать человека рабом — значит убить его. Почему же на другой вопрос: «Что такое собственность?» — я не мог бы ответить просто, не боясь быть непонятым: «Это кража», — тем более что это второе предложение является лишь перефразированным первым.

Я оспариваю самый принцип нашей власти и наших учреждений — собственность; я имею на это право: я могу ошибаться в выводах, вытекающих из моих исследований; я имею право: мне нравится конечный вывод моей книги переносить в начало; я во всяком случае имею на это право.

Немало авторов поучают, что собственность есть гражданское право, являющееся результатом завладения и освящённое законом; немало других утверждают, что это право естественное, источником которого является труд. И доктрины эти, по-видимому совершенно противоположные, пользуются поощрением и одобрением. Я же со своей стороны утверждаю, что ни труд, ни завладение, ни закон не могут создать собственности; что, в сущности, она не имеет оснований — можно ли меня порицать за это?

Какой шум поднимается!

— *Собственность есть кража!* Это набат 1793 года! Это лозунг революций!..

— Успокойся, читатель: я не носитель раздора и не зачинщик мятежа. Я предваряю на несколько дней историю; провозглашаю истину, обнаружению которой мы напрасно стараемся помешать; пишу введение к будущей конституции. Если бы наши предубеждения позволили нам принять кажущееся вам святотатственным определение: *собственность есть кража*, то это могло бы сыграть для нас роль громоотвода; но сколько своекорыстных интересов, сколько предрассудков мешают этому!.. Философия, увы, не в состоянии изменить хода событий: то, чему суждено, свершится независимо от предсказаний.

Впрочем, быть может, справедливости суждено свершиться, а нашему воспитанию суждено закончиться...

— *Собственность есть кража!*.. Какой переворот в области человеческих понятий! *Собственник* и *вор* во все времена представляли полную противоположность, точно так же, как и понятия, которые они обозначают; все языки санкционировали эту противоположность. Каким же путём можете вы завоевать себе всеобщее сочувствие и уличить род человеческий во лжи! Кто вы, рискующий отрицать здравый смысл веков и народов?

— Что вам, читатель, до моей скромной личности? Я, так же как и вы, сын века, в который рассудок признаёт лишь факты и документальные доказательства; имя моё, точно так же, как и ваше, — *искатель истины*[5], цель моя выражается следующими словами: «*Говори без злобы и страха, говори всё, что знаешь*». Дело нашего поколения — создать храм науки, и наука эта охватывает человека и природу. Ведь истина раскрывается всем: сегодня Ньютону и Паскалю, завтра деревенскому пастуху, рабочему. Каждый приносит к постройке свой камень и, выполнив свою задачу, исчезает бесследно. Вечность предшествует нам, вечность за нами следует: место, занимаемое смертным между этими двумя бесконечностями, настолько ничтожно, что век наш не может интересоваться этим.

Итак, читатель, оставьте моё имя и мои личные качества и занимайтесь лишь моими доводами. Я дерзаю, с согласия всего мира, открыть всеобщее заблуждение; я апеллирую к вере человеческого рода, против его рассудка. Имейте мужество последовать за мною и, если ваша воля и ваше сознание свободны, если ум ваш в состоянии соединять два предложения, чтобы вывести из них третье, то мои идеи, безусловно, сделаются также и вашими. Предлагая вам в самом начале свой конечный вывод, я не хотел бросить вам вызов, но желал только предупредить вас, ибо я уверен, что, прочитав мой труд, вы согласитесь со мною. Вещи, о которых я хочу говорить с вами, так просты, так наглядны, что вы будете изумляться, как не заметили их раньше, и скажете себе: «Я никогда не думал об этом». Другие явят вам зрелище гения, исторгающего у природы её тайны и провозглашающего возвышенные изречения; здесь вы найдёте только ряд исследований о *справедливости* и о *праве*, так сказать, проверку весов и мер вашей совести. Все операции будут производиться у вас на глазах, и вы сами будете в состоянии оценить их результат.

Впрочем, я не предлагаю никакой системы; я требую уничтожения привилегий и рабства, я хочу равноправия, хочу, чтобы царил закон. Справедливость, и только справедливость — вот суть моего сочинения. Предоставляю другим дисциплинировать мир.

Однажды я спросил себя: почему в обществе существует столько горя и столько нищеты? Неужели человек вечно должен быть несчастным? Не останавливаясь на объяснениях всевозможных реформаторов, указывающих как на причину всеобщих бедствий либо на трусость и неумелость властей, либо на заговорщиков и на восстания, либо же на всеобщее невежество и испорченность, утомлённый бесконечными препирательствами с трибуны и в прессе, я пожелал сам исследовать этот вопрос. Я советовался со светилами науки, я прочёл сотни томов по философии, праву, политической экономии и истории, и поистине я был бы счастлив, если бы жил в эпоху, когда такое чтение могло бы принести мне пользу. Я

приложил все усилия, чтобы получить точные сведения, сравнивая различные учения, противопоставляя замечаниям ответы, непрестанно сопоставляя аргументы, взвешивая тысячи силлогизмов с точки зрения строжайшей логики. На этом трудном пути я собрал несколько интересных фактов, которые я сообщу моим друзьям и публике, как только у меня найдётся на это время. Я должен признаться: мне прежде всего показалось, что мы никогда не понимали смысла таких простых и вместе с тем таких священных слов, как справедливость, равенство, свобода, что наши понятия об этих вещах были совершенно темны и что, наконец, это невежество было единственной причиной одолевающего нас пауперизма и всех бедствий, угнетающих человеческий род.

При этом странном выводе ум мой содрогнулся. Я усомнился в здравости своего рассудка. Как, говорил я, ты мнишь себя открывшим то, чего не видел ни один взор, не слышали ничьи уши, чего не проникал ещё человеческий ум. Берегись, несчастный, и не принимай порождения твоего больного мозга за светлые лучи науки. Разве ты не знаешь, что, по словам великих философов, в смысле практической морали всеобщим заблуждением является противоречие? Поэтому я решил проверить мои суждения, и вот какие пункты я наметил для своего будущего труда: возможно ли, чтобы человечество так долго и так единодушно заблуждалось относительно применения принципов нравственности? Каким образом и почему оно заблуждалось? Не является ли это всеобщее заблуждение непобедимым?

Эти вопросы, от разрешения которых зависела точность моих наблюдений, недолго противостояли анализу. В пятой главе настоящего сочинения читатель увидит, что в области морали, так же как и во всякой другой области познания, величайшие заблуждения являются для нас ступенями к науке, что даже и в проявлениях справедливости способность заблуждаться есть привилегия, облагораживающая человека, и что, наконец, заслуги мои в области философии очень невелики. Немудрено называть вещи по имени, важно было бы знать их до их появления. Выражая идею, достигшую полного развития, идею, занимающую все умы, которая завтра будет провозглашена кем-нибудь другим, если я не провозглашу её сегодня, я имею за собой лишь заслугу первой её формулировки. Разве воздают похвалу тому, кто первый видит занимающийся день?

Да, все люди верят и повторяют, что равенство условий идентично с равноправием, что *собственность* и *кража* — синонимы, что всякое социальное преимущество, полученное или вернее, узурпированное под предлогом превосходства таланта, заслуг, есть неравенство и насилие. Все люди, повторяю я, чувствуют в душе эти истины, надо только заставить осознать их.

Прежде чем приступить к делу, я должен сказать несколько слов относительно пути, которому я буду следовать. Когда Паскаль принимался за какую-нибудь задачу геометрии, он придумывал метод разрешения её. Для разрешения философской проблемы нужен также метод; ведь проблемы, волнующие философию, по своим выводам несравненно важнее проблем геометрии. Следовательно, для разрешения их тем более нужен глубокий и строгий анализ.

Современные психологи говорят, будто отныне нет никакого сомнения в том, что всякое восприятие, полученное умом, определяется им по известным общим законам этого же ума; отливается в нём, так сказать, по известным типам, предсуществующим в нашем сознании и представляющим как бы формальные свойства последнего. Таким образом, говорят они, если дух не имеет врождённых *идей*, то он имеет, по крайней мере, врождённые формы. Так, например, всякое явление по необходимости воспринимается нами как существующее во времени и пространстве; всё существующее заставляет нас предполагать причину, вызвавшую его; всё существующее заключает в себе идеи *субстанции, формы, числа, отношения* и т. д., — одним словом, мы не можем создать ни одной мысли, которая не стояла бы в связи с одним из общих принципов разума, вне которых ничто не существует.

Эти аксиомы познания, добавляют психологи, эти основные типы, к которым неизбежно сводятся все наши суждения и все наши идеи и которые нашими чувствами только обнаруживаются, известны под названием категорий. Их первоначальное существование в нашем уме в настоящее время доказано, остаётся только систематизировать их и перечислить. Аристотель насчитывал их десять, Кант увеличил число их до пятнадцати, господин Кузен ограничил их число тремя, двумя, одной. Несомненной заслугой этого профессора является то, что он если и не открыл истинной теории категорий, то, по крайней мере, лучше, чем кто бы то ни было другой, понял важное значение этого вопроса, величайшего и, быть может, единственного вопроса всей метафизики.

Я, признаюсь, не верю не только во врождённые *идеи*, но даже во врождённые *формы* или *законы* нашего познания и считаю метафизику Рида и Канта ещё гораздо более далёкой от истины, чем метафизику Аристотеля. Не имея, однако, в виду заниматься здесь критикой разума, вопросом, который потребовал бы продолжительного труда и который совсем не интересует публику, я допускаю гипотетически, что наши наиболее общие и наиболее необходимые понятия, как, например, понятие о времени, пространстве, субстанции и причине, искони существуют в уме или, по крайней мере, непосредственно вытекают из его организации.

Существует, однако, не менее достоверный психологический факт, к которому философы до сих пор относились, пожалуй, чересчур пренебрежительно: дело в том, что привычка, как вторая натура, может внушить познанию новые формы категорий, позаимствованных от внешних признаков, привлекающих наше внимание и обыкновенно лишённых объективной реальности. Тем не менее их влияние не в меньшей степени определяет наши суждения, чем влияние первых категорий. Таким образом, мы рассуждаем одновременно и согласно *вечным* и *абсолютным* законам нашего разума и согласно второстепенным правилам, большею частью ошибочным и внушённым нам недостаточно точными наблюдениями вещей. Таков обильный источник ложных предрассудков, постоянная и нередко непреодолимая причина множества заблуждений. Воздействие этих предрассудков на нас так сильно, что нередко, даже нападая на принцип, который наш ум считает ложным, разум отрицает и совесть отвергает, мы, сами того не замечая, являемся его защитниками, рассуждая под его влиянием и подчиняясь ему. Ум наш, как бы в заколдованном кругу, вертится вокруг самого себя до тех пор, пока новое наблюдение, возбуждив в нас новые мысли, не заставит открыть внешний принцип, освобождающий нас от фантома, которым одержимо наше воображение.

Мы, например, знаем теперь, что в силу универсального магнетизма, причина которого нам не известна, два тела, не встречающие на своём пути никаких препятствий, стремятся соединиться, благодаря силе, называемой тяготением. Это же самое тяготение заставляет падать на землю тела, лишённые опоры, заставляет их производить давление на весы и даёт нам самим возможность удерживаться на земле, на которой мы обитаем. Незнакомство с этой силой было единственной причиной, мешавшей древним верить в существование антиподов. «Как вы не понимаете, — говорил, по словам Лактанция, св. Августин, — что если бы под нашими ногами существовали люди, то они ходили бы вниз головами и упали бы в небо». Епископ гиппонский, считавший землю плоской, потому что она казалась ему таковою, предполагал вполне последовательно, что если бы от зенита до надира{7} различных местностей провести прямые линии, то эти линии были бы параллельны между собою; притом он предполагал, что всякие движения сверху вниз происходят по направлению этих линий. Отсюда он, естественно, должен был заключить, что звёзды, подобно движущимся факелам, прикреплены к небесному своду, что, предоставленные самим себе, они упали бы на землю в виде огненного дождя, что земля есть громадная плоскость, представляющая собой внутреннюю часть вселенной, и т. д. Если бы его спросили, на чём держится сама земля, он ответил бы, что он этого не знает, но что для Бога нет ничего невозможного. Таковы были понятия св. Августина о пространстве и времени, понятия, внушённые ему предрассудком, созданным видимостью и сделавшимся для него общим и категорическим правилом суждений. Что касается самой причины падения тел, то на сей счёт ум св. Августина безмолвствовал. Он был бы в состоянии разве только сказать, что тело падает потому, что оно падает.

Для нас понятие падения более сложно; к общим понятиям пространства и движения, которые вызывает в нас понятие падения, мы присоединяем понятие притяжения или стремления к известному центру, вызванное более общим понятием причины. Но хотя физика совершенно изменила наше суждение в этом отношении, мы в обыденной жизни сохранили предрассудок св. Августина, и, когда мы говорим, что вещь *упала*, мы подразумеваем при этом не явление притяжения вообще, но движение предмета по направлению к земле, *сверху вниз*. Несмотря на просвещённость нашего разума, воображение увлекает нас и язык наш остаётся неисправим. *Упасть с неба* — такое же неверное выражение, как и *подняться на небо*, а между тем это выражение сохранится до тех пор, пока будет существовать человеческий язык.

Все эти обороты речи, вроде *сверху вниз*, *свалиться с неба* и проч., теперь уже не опасны, потому что мы на практике знаем им цену, но они в значительной степени препятствовали прогрессу науки. В самом деле, для статики, механики, гидродинамики, баллистики безразлично, будет ли известна истинная причина падения тел и будут ли установлены точные понятия о главном направлении пространства. Иначе обстоит дело, когда речь идёт об объяснении системы мира, причины морских приливов, о форме земли и о положении её в небесах. Для решения всех этих вопросов надо выйти из круга видимости. Уже в самой глубокой древности стали появляться гениальные механики, архитекторы и артиллеристы. Заблуждения их относительно формы земли или силы тяготения несколько не мешали развитию их искусства; прочность зданий и верность выстрелов несколько от этого не страдали. Но рано или поздно должны были обратить на себя внимание явления, которые были необъяснимы, благодаря допущению, что все перпендикуляры, проведённые к

поверхности земли, параллельны между собою. Тогда должна была возникнуть борьба между предрассудками, которые в течение целых столетий удовлетворяли житейской практике, и новыми взглядами, которым, по-видимому, противоречила очевидность.

Таким образом, с одной стороны, самые ошибочные суждения, имеющие своей основой отдельные факты или хотя бы даже одну только видимость, всегда обнимают собой сумму реальностей, более или менее широкая сфера которых достаточна для известного числа наведений, вне которых мы впадаем в абсурд. Так, например, из понятий св. Августина было верно то, что тела падают на землю, что падение их происходит по прямой линии, что солнце или земля движется, что солнце или земля вращается и т. д. Эти общие факты всегда были истинными; наша наука ничего к ним не прибавила. Но, с другой стороны, необходимость отдать себе точный отчёт во всём заставляет нас отыскивать всё более и более ясные принципы. Поэтому пришлось последовательно отказываться сначала от взгляда, что земля плоская, затем от учения, считающего её неподвижным центром вселенной, и т. д.

Если мы перейдём теперь из мира физической природы в область морали, то и здесь увидим, что мы подчинены тем же самым обманам видимости, тем же самым влияниям привычки и произвольности. Но эта вторая часть системы наших познаний отличается, с одной стороны, дурными или хорошими последствиями, вытекающими из наших взглядов, а с другой стороны, упорством, с которым мы защищаем предрассудок, мучающий и убивающий нас.

Какое бы учение о причине тяжести и форме земли мы ни приняли, физическое состояние земного шара от этого не изменится. Для своего социального строя мы не можем из этого извлечь ни выгоды, ни неудобства, но законы нашей нравственной природы осуществляются в нас и через нас, вследствие чего эти законы не могут проявляться помимо нашего обдуманного участия, помимо нашего сознания. Если, таким образом, наши нравственные законы ложны, то мы, очевидно, желая делать себе добро, причиняем зло. Если эти нравственные законы только неполны, они в течение некоторого времени могут удовлетворять нашему социальному развитию, но с течением времени они увлекут нас на ложный путь, доведут нас до бездны бедствий.

Тогда мы не можем обойтись без высших познаний, и, к чести нашей, следует сказать, что никогда ещё они не изменяли нам. Но тогда же начинается ожесточённая борьба между старыми предрассудками и новыми идеями, тогда наступают дни возмущений и трепета. Люди мысленно возвращаются к тем временам, когда при тех же самых верованиях, при тех же самых учреждениях они казались счастливыми. Как отрицать эти верования, как отвергать эти учреждения?! Люди не хотят понять, что именно этот счастливый период служил развитию зла, которое заключало в себе общество; они обвиняют людей и богов, властей земных и силы природы; вместо того чтобы искать причины зла в своём разуме, в своём сердце, человек обвиняет своих вождей, своих соперников, соседей, самого себя; нации вооружаются, избивают и уничтожают друг друга, пока, благодаря опустошениям в их рядах, не установится равновесие, пока из праха сражающихся не родится мир. Так трудно человечеству нарушать обычай предков и изменять законы, данные основателями государств и освящённые вековой верностью им.

«*Nihil motum ex antiquo probabile est!*{8} (остерегайтесь всяческих новшеств!)» — восклицал Тит Ливий. Несомненно, для человека было бы гораздо лучше, если бы ему никогда ничего не приходилось менять. Что делать? Он родится невеждою, он осуждён приобретать знания постепенно, неужели же из-за этого он должен отказаться от просвещения, отречься от своего разума и предоставить себя на волю случая? Полное здоровье лучше, чем выздоровление, но неужто же больной должен из-за этого отказаться от выздоровления? «Реформ, реформ!» — зывали некогда Иоанн Креститель и Иисус Христос; «реформ, реформ!» — восклицали пятьдесят лет назад наши предки, и нам самим ещё в течение долгого времени предстоит зывать: «реформ, реформ!»

Будучи свидетелем бедствий моей эпохи, я сказал себе: между принципами, на которых основывается общество, есть один, которого оно не понимает, который испорчен этим непониманием и служит причиной всего зла. Принцип этот — старейший из всех, ибо особенностью революций является то, что они разрушают новейшие принципы, но уважают более старые. Таким образом, зло, нас терзающее, старше всех революций. Этот принцип в том виде, в какой его привело наше незнание, является предметом почёта и желаний для всех, ибо, если бы его не желали, он никого не мог бы угнетать и не имел бы влияния.

Но что же это за принцип, истинный сам по себе, ложный по нашему способу понимать его, такой же древний, как и человечество? Неужели это религия?

Все люди верят в Бога; догмат этот составляет одновременно принадлежность и разума, и совести человеческой. Бог для человечества такой же примитивный факт, такое же неизбежное понятие, такой же необходимый принцип, каким являются для нашего познания категории причины, субстанции, времени и пространства. Наше сознание подсказывает нам существование Бога раньше всяких индукций разума, подобно тому как существование солнца обнаруживается для нас при помощи чувств прежде всех рассуждений физики. Наблюдение и опыт раскрывают нам явления и законы, но одно лишь внутреннее чувство раскрывает нам существование. Человечество верит, что Бог существует, но во что именно оно верит, веруя в Бога? Одним словом, что такое Бог?

Это понятие божества, понятие примитивное и всеобщее, врождённое нам, до сих пор ещё не было определено человеческим разумом; с каждым шагом вперёд, который мы делаем в познании природы и причин явлений, понятие Бога возвышается и расширяется. По мере того как наука идёт вперёд, Бог как будто увеличивается и отдаляется. Антропоморфизм и идолопоклонство были неизбежным следствием юности умов, богословием детей и поэтов. Они были бы невинным заблуждением, если бы их не вздумали делать руководящим принципом жизни и если бы люди умели уважать свободу взглядов; но, создав Бога по своему образу и подобию, человек хотел ещё сделать его своей собственностью. Не довольствуясь искажением идеи верховного существа, человек стал обращаться с ним, как со своей собственностью, со своею вещью. Бог, представленный в чудовищных формах, сделался повсюду собственностью человека и государства. Таков был источник порчи нравов религией; благочестивой ненависти и священных войн. Теперь, благодаря небу, мы научились предоставлять каждому веровать по-своему и стараемся найти правила поведения вне культа. Прежде чем устанавливать природу и атрибуты Бога, догматы богословия и судьбы наших душ, мы терпеливо ждём, пока наука покажет нам, что мы

должны отвергнуть и что признать. Бог, душа, религия — эти вечные предметы наших неустанных размышлений и самых пагубных заблуждений, эти ужасные проблемы, разрешение которых, несмотря на все попытки, осталось неполным, могут ещё служить нам причиной для заблуждений, но эти заблуждения не будут по крайней мере иметь последствий. С установлением свободы культа, с отделением духовного от светского, влияние религиозных идей на ход развития общества становится чисто отрицательным, ибо ни один закон, ни одно политическое или гражданское учреждение не имеет ничего общего с религией. Забвение религиозных обязанностей может содействовать общей испорченности, но оно не является более вызывающей её причиной, а только одной из причин второстепенных или следствием последних. В вопросе, который нас занимает, особенно важно то обстоятельство, что причину неравенства людей, пауперизма, общечеловеческих бедствий и затруднений правительств нельзя уже теперь искать в религии; приходится идти дальше и глубже.

Но есть ли в человеке что-нибудь глубже и древнее религиозного чувства?

Сам человек, т.е. воля и сознание, свобода воли и закон, находится в антагонизме с самим собой; человек борется сам с собой — почему?

«Человек, — говорят богословы, — согрешил в самом начале; род наш издревле повинен в нарушении долга, и благодаря этому греху человечество пало: заблуждение и невежество сделались его постоянными спутниками. Углубляйтесь в историю: всюду вы найдёте свидетельство неизбежности зла в непрестанных бедствиях народов. Человек страдает и всегда будет страдать; болезнь его наследственная и органическая. Сколько бы вы ни употребляли средств паллиативных и облегчающих, излечение невозможно».

Такие рассуждения свойственны не одним только богословам; несколько в иной форме они встречаются в сочинениях философов-материалистов, сторонников учения о бесконечной способности совершенствоваться. Дестют-де-Траси прямо говорит, что пауперизм, преступления, войны являются неизбежными условиями нашего социального строя, неизбежным злом, восставать против которого было бы безумием. Итак, необходимость зла или природная испорченность — в сущности, одна и та же философия.

«Первый человек согрешил». Если бы толкователи Библии объясняли её правильно, они сказали бы: человек прежде всего грешит, т. е. ошибается, ибо грешить, заблуждаться, ошибаться — это одно и то же.

«Последствия Адамова греха остались в его роду наследством. Первым из этих последствий является неведение». Действительно, неведение есть природное свойство как рода, так и индивида, но это неведение нашего рода по отношению к массе вопросов, даже нравственного и политического характера, исчезло. Кто может уверить нас, что оно не исчезнет и совсем? Человечество непрестанно приближается к истине, свет постоянно побеждает тьму. Таким образом, наша болезнь не неизлечима, и объяснение богословов более чем неудовлетворительно. Оно смешно, ибо в сущности сводится к следующей тавтологии: «Человек ошибается, потому что ошибается», между тем как следовало бы сказать: «Человек ошибается, потому что учится». Если человеку удастся узнать всё, что

ему нужно узнать, то, вероятно, перестав ошибаться, он перестанет и страдать.

Если мы спросим учёных, что такое этот закон, якобы запечатлённый в сердце человека, то мы скоро убедимся, что они спорят о нём, не зная, что он собой представляет; что на самые важные вопросы существует столько же взглядов, сколько и авторов, что нет двух авторов, согласных между собою относительно лучшей формы правления, принципа власти, сущности права, что все они носятся по воле случая в море без берегов и дна, предоставленные собственному своему вдохновению, которое они скромно принимают за непосредственный голос разума. Глядя на этот хаос противоречивых мнений, мы скажем: «Предметом наших исследований является закон, определение социального принципа». Политики, т.е. люди, изучающие социальные науки, не согласны между собою; таким образом, заблуждение скрывается в них; а так как всякое заблуждение имеет своим предметом реальность, то истина должна заключаться в их книгах, в которые они бессознательно вложили её».

О чём же рассуждают юристы и публицисты? *О справедливости, равенстве, свободе, об естественном законе, о гражданских законах* и т. д. Но что такое справедливость? какова её сущность, её характер, какова её формулировка? На этот вопрос наши учёные, очевидно, ничего не могут ответить, ибо в противном случае их наука, исходя из ясного и достоверного принципа, вышла бы из своего вечного состояния недостоверности и все споры кончились бы.

Что такое справедливость? Богословы отвечают: всякая справедливость исходит от Бога. Это верно, но это ничего нам не объясняет.

Философы должны бы быть более осведомлены: они столько спорили о том, что справедливо и что несправедливо. К несчастью, опыт показывает, что их сведения сводятся к нулю, что они подобны тем дикарям, которые молились солнцу, выкрикивая: «О!» О! есть крик удивления, любви, восторга, но тот, кто желал бы узнать, что такое солнце, нашёл бы мало поучительного в этом междометии «О!». В такое именно положение попадаем мы, когда спрашиваем у философов, что такое справедливость. Справедливость, говорят они, есть *дитя неба, свет, который освещает всех людей, появляющихся в мир, прекраснейшее свойство нашей природы, то, чем мы отличаемся от животных и что нас делает подобными Богу*. К чему же, спрашиваю я, сводятся эти благочестивые причитания? К молитве дикарей — о!

Всё самое разумное, что человеческая мудрость могла сказать о справедливости, заключается в следующем известном изречении: *«Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой; не причиняй другим того, чего ты не хотел бы, чтоб причинили тебе»*. Но это правило практической морали не имеет никакого практического значения для науки. Чтó именно я вправе хотеть, чтобы мне причиняли или не причиняли? мало сказать, что моя обязанность равняется моему праву; надо ещё сказать, в чём заключается это право.

Попытаемся же добиться чего-нибудь более точного и положительного.

Справедливость — это центральная звезда, управляющая обществами, ось, вокруг которой вращается весь политический мир, принцип и правило всех договоров. Ничто не совершается в среде людей иначе как на основании *права*; ничто не совершается без обращения к справедливости. Справедливость не является созданием закона: напротив, закон всегда есть провозглашение и применение справедливости во всех обстоятельствах, при которых люди могут находиться в сношениях между собою. Однако если сложившаяся у нас идея справедливости и права будет дурно выражена, если она будет неполна или совсем неправильна, то очевидно, что все наши законодательные применения будут плохи, учреждения несовершенны и политика неправильна, т. е., следовательно, наступит беспорядок и социальное бедствие.

Эта гипотеза о неправильности понятия справедливости в нашем сознании и, следовательно, по необходимости в наших действиях была бы доказанным фактом, если бы взгляды людей на справедливость и её применение не были постоянными, если бы в различные эпохи они претерпевали изменения, если бы, одним словом, идеи развивались. И вот мы видим, что история доказывает нам это на самых блестящих примерах.

1800 лет тому назад мир под владычеством цезарей погибал в рабстве, суевериях и роскоши. Народ, опьянённый и как бы оглушённый бесконечными вакханалиями, потерял даже понятие о правах и обязанностях; войны и оргии поочерёдно истощали его. Ростовщичество и труд машин, т. е. рабов, лишая его средств существования, лишали его в то же время возможности размножаться. отвратительное варварство воскресало из этой ужасающей испорченности и, подобно разъедающей язве, охватывало обезлюдившие провинции. Мудрецы предвидели конец империи, но не знали средств предотвратить его. Что в самом деле могли бы они выдумать? Для того чтобы спасти это одряхлевшее общество, нужно было бы изменить объекты уважения и преклонения народа, уничтожить права, освящённые тысячелетней справедливостью. Тогда говорили: «Рим победил своей политикой и своими богами; всякая реформа культа и народного духа была бы безумием и святотатством. Рим, милосердный к побеждённым нациям, налагал на них цепи, щадя их жизнь. Рабы — наиболее обильный источник его богатства. Освобождение народов было бы отрицанием его прав и разорением его финансов. Рим, наконец, погружённый в наслаждения и пресыщенный сокровищами, награбленными со всего мира, пользуется результатами победы и властью. Роскошь и наслаждения являются наградой за его победы. Он не может ни отказаться от них, ни выпустить их из рук». Таким образом, на стороне Рима были и факты и право. Притязания его оправдывались обычаями и международным правом. Идолопоклонство в религии, рабство в государстве, эпикуреизм в частной жизни — таковы были основы учреждений; коснуться их значило бы поколебать общество до самых оснований и, выражаясь современным языком, раскрыть бездну революции. Вот почему эта мысль никому не приходила в голову; а между тем человечество утопало в крови и роскоши.

Вдруг является человек, называющий себя *Словом Божиим*; и до настоящего времени ещё неизвестно, кто он был, откуда явился и кто мог внушить ему его идеи. Он всюду возвещает, что существующему обществу наступит конец, что мир будет обновлён, что священники змеи, адвокаты невежды, философы лицемеры и лжецы, что господин и раб равны, что ростовщичество и всё подобное ему — кража, что собственники и люди, ведущие роскошную жизнь, будут ввергнуты в геенну огненную, между тем как люди бедные, чистые

сердцем населяют места отдохновения. К этому он прибавлял ещё много других, не менее необыкновенных вещей.

Этот человек — *Слово Божие* — был по доносу арестован священниками и законниками как враг общества, и священники сумели заставить народ требовать его смерти. Но это юридическое убийство, переполнив чашу их преступлений, не могло заглушить учения, проповеданного *Словом Божиим*. После его смерти первые его последователи разошлись во все стороны, проповедуя то, что он называл благою вестью, создавая миллионы миссионеров, и погибли, выполнив свою задачу, от рук римской юстиции. Эта упорная пропаганда, борьба между палачами и мучениками велась почти триста лет, к концу которых мир оказался обращённым. Идолопоклонство было уничтожено, рабство упразднено, распущенность уступила место более строгим нравам, презрение к богатству доходило подчас до отказа от собственности. Общество было спасено отрицанием его принципов, уничтожением его религии, нарушением наиболее священных прав его; идея справедливости во время этой революции достигла такой широты, какой до тех пор никто ещё и не подозревал. Справедливость существовала для одних только господ[6], теперь она стала существовать и для слуг.

Между тем новая религия вовсе не принесла всех своих плодов. Общественные нравы, правда, несколько улучшились, гнёт немного уменьшился, но в общем семя Сына Человеческого, упавшее в языческие сердца, создало только quasi—поэтическую мифологию и бесконечные распри. Вместо того чтобы заняться практическими выводами из принципов морали и власти, провозглашённых *Словом Божиим*, люди занялись догадками о его рождении, о его происхождении, о его личности и поступках. Его притчи комментировались, и из столкновения наиболее странных взглядов на неразрешимые вопросы и на непонятные тексты возникла *теология*, которую можно определить как *науку о бесконечно абсурдном*.

Христианская истина не пережила даже времён апостольских; Евангелие, комментированное и символизированное греками и римлянами, изукрашенное языческими мифами, сделалось в буквальном смысле символом раздора, и вплоть до наших дней царство *непогрешимой церкви* представляло собой не что иное, как бесконечное затемнение. Говорят, что *врата ада* будут господствовать не всегда, что *Слово Божие* вернётся и что тогда люди узнают справедливость и истину. Но тогда и греческая и римская церкви исчезнут, подобно тому как при свете науки исчезают призраки суеверия.

Чудовища, которых последователи апостолов должны были уничтожить, напуганные ненадолго, исчезли, но потом постепенно, благодаря бессмысленному фанатизму, воскресли. Подчас же священники и богословы даже намеренно воскрешали их. История освобождения общин во Франции представляет собою постоянное восстановление справедливости и свободы в народе, вопреки усилиям короля, дворянства и духовенства. В 1789 году после Р. Х. французская нация, разделённая на касты, бедная и угнетённая, билась под тройным гнётом королевского абсолютизма, тирании сеньоров и парламентов и религиозной нетерпимости. Существовало право короля и право священника, право дворянина и право разночинца; существовали привилегии по рождению, привилегии провинциальные, коммунальные, корпоративные и цеховые. И в основе всего этого лежали насилие, безнравственность и нищета. Ходили слухи о реформах; те, кто, по-видимому,

наиболее стремился к ним, желали осуществления их только ради собственных выгод. Народ, который должен был больше всего выиграть от них, не ожидал от них ничего особенного и молчал. Долго этот бедный народ не то от подозрительности, не то от недоверия или отчаяния колебался встать на защиту своих прав. Казалось, что привычка к рабству лишила смелости эти старинные коммуны, такие гордые в средние века.

Но наконец появилась книга, всё содержание которой резюмировалось в следующих двух предложениях: «*Что такое третье сословие?*» — «*Ничто*». — «*Чем оно должно быть?*» — «*Всем*». Кто-то прибавил в форме комментария: «*Что такое король?*» — «*Уполномоченный народа*»{9}.

Это было внезапным откровением: разорвалась великая завеса, с глаз народа спала густая пелена, народ стал рассуждать:

Если король — наш уполномоченный, он должен отдавать нам отчёт.

Если он должен отдавать нам отчёт, он, следовательно, подлежит контролю.

Если он подлежит контролю, то он ответствен.

Если он ответствен, то и наказуем.

Если он наказуем, то наказуем по своим заслугам.

Если же он наказуем по своим заслугам, то может быть приговорён и к смерти.

Пять лет спустя после выхода в свет брошюры Сиейеса третье сословие сделалось всем. Король, дворянство, духовенство перестали существовать. В 1793 году народ, не подчиняясь конституционной фикции о неприкосновенности суверена, возвёл Людовика XVI на эшафот; в 1830-м он проводил Карла X в Шербург. В том и в другом случае он мог ошибиться в оценке преступления, это было бы фактической ошибкой, но в смысле правовом логика его поступков была безукоризненна. Народ, наказывая суверена, делал именно то, в упущении чего так часто упрекали июльское правительство, которое после попытки восстания в Страсбурге не сделало того же с Людовиком Бонапартом: народ наказал истинного виновника. Это было применение обычного права, торжественное провозглашение справедливости в наказаниях[7]{10}.

Дух, вызвавший движение 1789 года, был дух противоречия. Этого достаточно для того, чтобы показать, что порядок вещей, заменивший старый порядок, был не методичен и не обдуман, что, рождённый из ненависти и гнева, он не мог подействовать как наука, основанная на наблюдениях и исследованиях, что, одним словом, основы этого порядка не были выведены из глубокого знакомства с законами природы и общества. Поэтому в так называемых новых учреждениях, созданных республикой, мы находим те же самые принципы, против которых она боролась, влияние тех же самых предрассудков, которые она хотела уничтожить. Люди с легкомысленным восторгом говорят о славной французской революции, о возрождении 1789 года, о великих реформах и об изменении учреждений. Всё это только ложь!

Когда, вследствие сделанных нами наблюдений, наши понятия о каком-нибудь физическом, интеллектуальном или социальном явлении меняются коренным образом, я это уже называю движением *революционного духа*. Когда налицо имеется только изменение или расширение наших идей, то я это называю *прогрессом*. Так, например, система Птолемея была прогрессом в астрономии, открытие Коперника — революцией. Так же точно в 1789 году совершалась борьба и прогресс, но революции не было; это можно доказать путём рассмотрения реформ, которые пытались провести тогда.

Народ, бывший долгое время жертвой монархического эгоизма, думал избавиться от него, заявив, что он один суверенен. Но что такое монархия? Это суверенность одного человека. Что такое демократия? Суверенность народа или, вернее, большинства народа. И в том и в другом случае это суверенность человека вместо суверенности закона, суверенность воли вместо суверенности разума, — словом, суверенность страстей вместо суверенности права. Несомненно, когда народ переходит от монархизма к демократизму, совершается прогресс, ибо, устраняя единоличного суверена, люди увеличивают шансы разума победить волю. Однако революции в управлении нет, так как принцип остаётся прежний. Мы теперь имеем самые ясные доказательства того, что даже при самой совершенной демократии можно не быть свободным[8].

Это ещё не всё. Народ-король не может сам обнаруживать своей суверенности. Он должен передать её лицам, облечённым властью. Это усердно повторяют ему те, кто старается попасть к нему в милость. Пусть таких лиц будет 5, 10, 100, 1000, — ни число их, ни имена не имеют значения. Всегда это будет правление человека, царство воли и произвола. Что же, спрашивается, революционизировала так называемая революция?

Известно, впрочем, как эта суверенность проявлялась сначала Конвентом, затем Директорией и наконец Консульством. Император, человек сильный, столь обожаемый и столь оплакиваемый народом, никогда не хотел подчиняться его суверенности. Но как бы намереваясь бравировать ею, он осмелился прибегнуть к голосованию народа, т. е. потребовать от него отречения, отречения от этой самой неприкосновенной суверенности. И он достиг этого.

Но что же, наконец, такое суверенность? Это, говорят, есть *власть издавать законы*[9]. Вот вам новый абсурд, позаимствованный у деспотизма. Народ видел, как короли мотивировали свои ордонансы — формулой: *ибо так нам угодно*. Он в свою очередь захотел испытать удовольствие издавать законы. В течение пятидесяти лет он создал их мириады, всегда, конечно, при посредстве своих представителей; удовольствие это до сих пор ещё не кончилось.

Впрочем, определение суверенности само собой вытекает из определения закона. Закон, говорят, есть *выражение воли суверена*. Таким образом, при монархии закон есть выражение воли короля; в республике — выражение воли народа. Если оставить в стороне число волей, то обе эти системы окажутся совершенно идентичными: и в том и в другом случае одинаково существует заблуждение, так как считают закон выражением воли, тогда как он есть выражение факта. Между тем руководители были хороши, ибо пророком явился женеvский гражданин, а Алькораном — его «Общественный договор»{11}.

Предрассудки и предубеждения на каждом шагу обнаруживаются под риторикой новых законодателей. Народ страдал от множества исключений и привилегий; его представители сделали от его лица следующее заявление: «*Все люди равны от природы и перед законом*»; заявление это двусмысленное и чересчур многословное. *Люди равны от природы*, значит ли это, что все они одинакового роста, одинаково красивы, одинаково гениальны и добродетельны? Нет, имелось, следовательно, в виду определить политическое и гражданское равноправие; но в таком случае было бы достаточно сказать: «*Все люди равны перед законом*».

Но что такое равенство перед законом? Ни конституция 1790 года, ни конституция 1793-го, ни дарованная хартия, ни хартия принятая не сумели дать его определения. И та и другая хартии предполагают существование неравенства имущественного и сословного, наряду с которым невозможна даже и тень равенства прав. С этой точки зрения можно сказать, что все наши конституции были верным выражением народной воли. И я это докажу.

Когда-то народ не имел доступа к гражданским и военным должностям. Вставляя в «Декларацию прав» громкую фразу: «Все граждане имеют одинаковый доступ к должностям; свободные народы при выборах не знают другой причины предпочтения, кроме добродетели и талантов», думали совершить чудо.

Такою прекрасною вещью, конечно, должны были восторгаться, и при этом восторгались глупостью. Как! Народ, суверен, законодатель и реформатор, видит в общественных должностях только награду или, будем выражаться прямо, подачку. И он издаёт постановление о доступности должностей всем гражданам, потому что считает эти должности источником выгоды. Иначе к чему бы служили предосторожности, если бы не представлялось выгоды? Ведь не издают же постановлений, что человек, не знакомый с географией и астрономией, не может быть капитаном корабля, и не запрещают же заике играть в трагедии или петь в опере. И в данном случае народ тоже подражал королю, он тоже хотел располагать прибыльными местечками в интересах своих друзей и льстецов. К несчастью — и эта последняя черта только дополняет сходство, — не сам народ держал в руках бенефиции; ими распоряжались его уполномоченные и представители, и они нисколько не заботились о том, чтобы сообразоваться с волей своего доверчивого суверена.

Этот поучительный параграф декларации прав, сохранившийся в хартиях 1814 и 1830 годов, предполагает несколько видов гражданского неравенства, т. е., иными словами, неравенства перед законом: неравенство рангов, так как общественные должности являются предметом вожделений только благодаря почёту и жалованью, которые они приносят; неравенство имущественное, ибо если бы хотели, чтобы имущества были равны, то общественные должности были бы обязанностью, а не наградой; неравенство в льготах, так как закон не определяет, что подразумевается под *талантами* и *добродетелями*. При империи талантом и добродетелью считались только военные доблести и преданность императору. Это обнаружилось, когда Наполеон создал своё дворянство и попытался слить его со старинным. В настоящее время человек, который платит 200 франков налогов, — добродетелен; порядочным человеком считается тот, кто ловко ворует, — отныне это истина общепризнанная.

Народ наконец санкционировал собственность... Да простит ему Бог, ибо он не знал, что творил. Вот уже пятьдесят лет, как он старается исправить ужасную ошибку. Может быть, спросят: каким образом народ, глас которого есть глас Божий, совесть которого должна быть непогрешимой, мог ошибиться; каким образом он, стремясь к свободе и равенству, вернулся к привилегиям и рабству? Опять-таки из подражания старому порядку.

Некогда дворянство и духовенство принимали участие в платеже налогов только добровольными пожертвованиями и добровольной помощью. Их имущество было неотчуждаемо даже за долги, между тем как мещанин, обременённый налогами и повинностями, безустанно терзался либо сборщиками короля, либо сборщиками дворянства и духовенства. Крепостной, низведённый до положения вещи, не мог ни получать что-либо по наследству, ни оставлять. Он был в положении животного, силы и потомство которого принадлежат хозяину. Народ хотел, чтобы положение собственника было доступно всем, чтобы каждый мог *свободно пользоваться и распоряжаться своим имуществом, своими доходами, плодами своего труда и промысла*. Народ не выдумал собственности, но, не имея на неё таких же прав, какие имели дворяне и духовенство, декретировал равенство прав. Жестокие формы собственности, барщина, лишение права наследования, ограничение права быть мастером, привилегии на занятие должностей исчезли; форма пользования изменилась, сущность же осталась та же самая. Совершился прогресс в распределении прав, но революции в этой области не было.

Движение 1789 и 1830 годов санкционировало, следовательно, три основных принципа современного общества: 1. *Суверенность воли человека* или, выражаясь более кратко, *деспотизм*. 2. *Неравенство имущества и состояний*. 3. *Собственность*, и превыше всего этого *справедливость*, всегда и всеми призываемую как гений хранитель суверенов, благородных и собственников, справедливость — общий, основной, категорический закон всякого общества.

Требуется узнать, соответствуют или не соответствуют основному понятию справедливости понятия деспотизма, гражданского и имущественного неравенства; представляют ли они необходимый вывод из него, обнаруживающийся в различных формах сообразно месту, обстоятельствам и личным отношениям, или не представляют ли они, наоборот, незаконный продукт смешения различных понятий, роковой ассоциации идей. А так как справедливость выражается главным образом в форме правительства, в состоянии людей и в обладании вещами, то нужно, сообразно прогрессу человеческого духа и воле всех людей, исследовать, при каких условиях справедливо правительство, при каких условиях справедливо состояние граждан и обладание вещами. Затем, исключив всё, что не удовлетворяет этим условиям, мы получим результат, который покажет нам одновременно, каким должно быть законное правительство, каким законное состояние граждан и законное обладание вещами и, наконец, какой должна быть справедливость.

Справедлива ли власть человека над человеком?

Весь свет ответит: нет. Власть человека есть только власть закона, который должен быть справедливостью и истиной. Личная воля не имеет значения в управлении, которое сводится к тому, чтобы, с одной стороны, раскрывать истинное и справедливое и создавать

из него закон, а с другой стороны, наблюдать за выполнением этого закона. В данный момент я не рассматриваю вопрос, удовлетворяет ли наше конституционное правительство этим условиям? Не вмешивается ли, например, иногда воля министров в издание и толкование законов? Не заботятся ли наши депутаты во время своих дебатов больше о победе количеством, нежели о победе разумом. Мне достаточно, чтобы признанное понятие о хорошем правительстве было согласно с моим определением. Это понятие вполне точное. Между тем мы видим что восточные народы считают вполне справедливым деспотизм своего суверена, что у древних и даже у самих философов древности рабство считалось справедливым, что в средние века дворяне, аббаты и епископы считали справедливым иметь крепостных, что Людовик XIV считал себя правым, говоря: *государство — это я*{12}, что Наполеон считал неповиновение своей воле государственным преступлением. Следовательно, понятие о справедливом, в применении к суверену и к правительству, не всегда равнялось современному понятию справедливости. Оно непрестанно развивалось и всё более определялось и наконец достигло той формы, которую оно имеет теперь. Но достигло ли оно своего последнего фазиса? Я этого не думаю. А так как последнее препятствие, которое ему осталось преодолеть, заключается лишь в институте собственности, который мы сохранили, то для того, чтобы закончить реформу правительства, а также и революцию, мы должны уничтожить именно этот институт.

Справедливо ли политическое и гражданское неравенство?

Одни отвечают: да, другие: нет. Первым я напомним, что когда народ уничтожил все привилегии, связанные с происхождением и с принадлежностью к касте, то им казалось, что это хорошо, вероятно, потому, что они выиграли от этого. Почему же они не хотят, чтобы привилегии, доставляемые богатством, исчезли так же, как и привилегии сословные и национальные? Они утверждают, что политическое неравенство неразрывно связано с собственностью и что без собственности никакое общество невозможно. Таким образом, поставленный нами вопрос разрешается вместе с вопросом о собственности. Вторым же я скажу только следующее: если вы хотите пользоваться политическим равенством, то уничтожьте собственность, в противном случае вы не вправе жаловаться.

Справедлива ли собственность?

Все не колеблясь отвечают: да, собственность справедлива. Я говорю все, потому что до сих пор, кажется, никто ещё не ответил с полным сознанием: нет. Впрочем, мотивированный отрицательный ответ до сих пор было трудно дать; только время и опыт могли привести к решению этого вопроса. В настоящее время это решение дано; нам надо только уразуметь его, и я попытаюсь изложить его здесь.

При этом мы будем поступать следующим образом:

I. Мы не спорим, мы никого не опровергаем и ничего не отрицаем; мы принимаем как справедливые все аргументы в пользу собственности и ограничиваемся отысканием её принципа, для того чтобы потом проверить, верно ли осуществляется этот принцип в форме собственности. В самом деле, раз собственность можно защищать только как учреждение справедливое, то идея справедливости или, по крайней мере, стремление к последней

неизбежно должны лежать в основе всех приводимых в пользу собственности аргументов. А так как, с другой стороны, собственность распространяется только на вещи, имеющие какую-нибудь материальную ценность, то справедливость, овеществляясь, так сказать, тайно, должна обнаруживаться в виде чисто алгебраической формулы. При таком методе исследования мы скоро убедимся, что *все какие бы то ни было* рассуждения, придуманные для защиты собственности, всегда, и притом по необходимости, приводят к равенству, т. е. к отрицанию собственности.

В этой первой части заключаются две главы: одна, трактующая о завладении как основе нашего права, и вторая, трактующая о труде и таланте, которые считаются причинами собственности и социального неравенства.

Из этих двух глав будет следовать, что, с одной стороны, право захвата *препятствует* существованию собственности, а с другой — право труда *уничтожает* её.

II. Так как собственность, по необходимости, понимается под категорическим условием равенства, нам остаётся найти, почему несмотря на эту логическую необходимость, равенства не существует. Это новое исследование обнимает также две главы: в первой мы, рассматривая факт собственности сам по себе, исследуем, реален ли он, существует ли он и возможен ли он; ибо было бы противоречием, если бы были возможны одновременно две противоположные социальные формы: равенство и неравенство. Тогда мы, странным образом, найдём, что на самом деле собственность может обнаруживаться как случайность, но что она математически невозможна как учреждение, принцип; так что общепринятая аксиома: *ab actu ad posse valet consecutio* — вывод от факта к возможности справедлив, опровергается, когда дело касается собственности.

Наконец, в последней главе, призывая на помощь психологию и проникая в самую глубину природы человека, мы изложим принцип *справедливого*, его формулу и его характер; мы установим органический закон общества, объясним происхождение собственности, причины её утверждения, её продолжительного существования и близкого исчезновения. Мы окончательно установим её идентичность с кражей и затем, указав, что все три предрассудка: *суверенность человека, неравенство условий, собственность* — составляют неразрывное целое, что их можно заменять одно другим, что они взаимно могут замещать друг друга, мы без труда выведем отсюда, по принципу противоположности, основы государства и права. На этом и закончится наше исследование, причём мы сохраняем за собою право продолжать его в дальнейших сочинениях.

Важность затронутых нами предметов понятна для всех.

«Собственность, — говорит г. Геннекен, — является созидательным и охранительным принципом гражданского общества... Собственность есть одно из тех основоположений, которые было бы желательно выяснить возможно скорее, ибо не следует никогда забывать, особенно же должны об этом помнить публицисты и государственные люди, что от вопроса, является ли собственность принципом или результатом социального строя, следует ли считать её причиной или же следствием, зависит вся нравственность и вместе с тем весь авторитет человеческих учреждений».

Слова эти являются вызовом всем людям, которые сохранили надежду и веру; но, хотя защита равенства прекрасная вещь, никто ещё до сих пор не поднял перчатки, брошенной адвокатами собственности, никто ещё не чувствовал достаточно смелости, для того чтобы вступить с ними в бой. Ложные знания надменной юриспруденции и нелепые афоризмы политической экономии, созданной собственностью, внесли смуту даже в самые благородные умы. Между самыми влиятельными друзьями свободы и народных интересов теперь сделались как бы лозунгом слова: равенство — химера! Так велика власть наиболее ложных теорий и пустых аналогий над умами, хотя и острыми, но бессознательно подчинёнными общепринятым предрассудкам. Равенство с каждым днём приближается; fit aequalitas{13}; солдаты свободы! неужели мы покинем своё знамя накануне победы?

Являясь защитником равенства, я буду говорить без ненависти и гнева, с независимостью, подобающе философу, со спокойствием и твёрдостью свободного человека. Я бы хотел в этой решительной борьбе озарить все сердца светом, которым проникнут я, и доказать успехом моего сочинения, что равенство не победило мечом потому, что оно должно победить словом.

Глава II. Собственность, рассматриваемая как естественное право. О захвате и о гражданском праве как действительных причинах господства собственности

Определения

Римское право определяет собственность, как *jus utendi et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur*, — право употреблять вещь и злоупотреблять ею, насколько это допускает смысл права. Были попытки оправдать слово «злоупотреблять»; говорилось, что оно обозначает не бессмысленное и безнравственное злоупотребление, но только абсолютную власть. Это пустое отличие, выдуманное для того, чтобы освятить собственность, но неспособное остановить безумие наслаждений, которого оно не может ни предупредить, ни уничтожить. Собственник волен оставить свои плоды гнить на дереве, сеять на полях соль, выдаивать коров на землю, превращать виноградник в пустырь, сделать из огорода парк. Можно это назвать злоупотреблением или нет? Поскольку дело касается собственности, употребление и злоупотребление неизбежно сливаются.

Согласно декларации прав, поставленной во главе конституции 1793 года, собственность есть «право пользоваться и располагать по произволу своим имуществом, своими доходами, плодами своего труда и своего промысла».

Статья 544 кодекса Наполеона гласит: «Собственность есть право пользоваться и располагать вещами абсолютнейшим образом, с тем, однако, чтобы этим правом не

пользовались вопреки законам».

Оба эти определения сводятся к определению римского права; все они признают за собственником абсолютное право на вещь. Что же касается ограничения, внесённого в кодекс: «...с тем, однако, чтобы этим правом не пользовались вопреки законам», то оно имеет целью не ограничить собственность, но воспрепятствовать одному собственнику мешать другому. Оно подтверждает принцип, но не ограничивает его.

В собственности различают: 1) Просто собственность, право властвовать, господствовать над вещью или, как принято говорить, *голую собственность*; 2) *Владение*. «Владение, — говорит Дюрантон, — есть дело факта, а не права», а Тулье пишет: «Собственность есть право, законное владение, обладание есть факт». Наниматель, фермер, участник командитного общества, лицо, имеющее право пользования, — владельцы, хозяин, отдающий свои вещи внаём, в пользование, наследник, ожидающий только смерти пожизненного владельца, — собственники. Если можно так выразиться: любовник — это владелец, муж — собственник.

Это двойное определение собственности как господства и владения имеет чрезвычайно важное значение, и необходимо хорошенько уразуметь это для того, чтобы понять, что мы хотим сказать. Из различия между владением и собственностью возникает двоякого рода право: *jus in re* — право *над* вещью, на основании которого я могу требовать приобретённую мною собственность, в чьих бы руках она ни находилась, и *jus ad rem*, т. е. право *на* вещь, на основании которого я могу сделаться собственником. Таким образом, право супругов друг на друга есть *jus in re*, право жениха на невесту и наоборот — только *jus ad rem*. В первом владение и собственность соединены, во втором заключается только голая собственность. Я, который, в качестве работника, имею право на владение благами природы и промышленности, но благодаря своему положению пролетария, не пользуюсь ничем, требую *jus in re* на основании *jus ad rem*.

Это различие между *jus in re* и *jus ad rem* является основой пресловутого деления на посессорное и петиторное право, эти поистине категории юриспруденции, которую они обнимают всю целиком. Петиторное — говорится обо всём, что имеет отношение к собственности, посессорное — обо всём, что относится к обладанию, владению. Выпуская этот памфлет против собственности, я предъявляю к обществу иск о признании права собственности. Я доказываю, что те, кто в настоящее время не владеют, являются собственниками с таким же правом, как и те, которые владеют, но вместо того, чтобы требовать на этом основании раздела собственности между всеми, я, в качестве меры общественной безопасности, требую, чтобы она была уничтожена для всех. Но если я потерплю неудачу в моём требовании, то нам, т. е. вам всем, пролетарии, и мне, остаётся только перерезать себе горло; нам ничего не остаётся больше требовать у справедливости нации, ибо, как выражается своим энергичным языком гражданский кодекс (§ 26), *истец, получивший отказ на иск о признании права собственности, не может более предъявлять иск о восстановлении в праве владения*. Если, наоборот, я выиграю мой процесс, тогда нам придётся снова возбудить иск о владении для того, чтобы нас приобщили к пользованию благами, которых нас лишило господство собственности. Я надеюсь, что мы не будем вынуждены дойти до этого. Но оба эти иска не могли бы быть предъявлены одновременно,

ибо, согласно тому же кодексу гражданского судопроизводства, *иск о восстановлении права собственности и иск о восстановлении права владения несовместимы*.

Прежде чем заняться сущностью дела, бесполезно будет представить здесь некоторые предварительные замечания.

1. О собственности как естественном праве

Декларация прав поместила собственность в числе естественных и неотчуждаемых прав человека, каковых всего-навсего четыре: *свобода, равенство, собственность и безопасность*. Какого метода придерживались законодатели 1793 года, указывая именно эти права? Никакого. Они устанавливали принципы, так же как спорили о суверенности и законах, с общей точки зрения и согласно своим собственным взглядам; они все делали ощупью или по вдохновению.

Если верить Тулье, то «абсолютные права могут быть сведены к трём: *безопасности, свободе, собственности*». Реннский профессор исключил равенство, почему? Потому ли, что оно заключается уже в свободе, или потому, что *собственность* его не переносит? Автор «*Droit civil expliqué*»{14} молчит; он даже и не подозревал, что здесь можно что-либо оспаривать.

Между тем если сравнивать между собой эти три или четыре права, то окажется, что собственность совсем не похожа на остальные; что для большинства граждан она существует только в возможности и как способность потенциальная и неиспользуемая, что для тех, которые обладают ею, она подвержена различным превращениям и видоизменениям, противоречащим понятию естественного права, что на практике правительства, судебные учреждения и сами законы не уважают её, что, наконец, все, добровольно и единогласно, считают её химеричной.

Свобода ненарушима. Я не могу ни продать, ни отчуждить мою свободу. Никакой договор, никакое условие, имеющее предметом отчуждение или упразднение свободы, не имеет силы. Раб, ступивший на свободную землю, тем самым делается свободным. Когда общество схватывает преступника и лишает его свободы, оно совершает акт законной самозащиты: кто разрушает общественный договор преступлением, тот объявляет себя врагом общества. Нарушая свободу других, он заставляет их отнять у него его свободу. Свобода есть первое условие человеческого состояния, отказаться от свободы — значит отказаться от человеческого достоинства, возможны были бы после этого человеческие поступки?

Равенство перед законом также не терпит никаких ограничений или исключений. Всем французам одинаково доступны должности, вот почему, ввиду этого равенства, вопрос о предпочтении во многих случаях решается жребием или по старшинству. Беднейший гражданин может привлечь к суду самое высокопоставленное лицо; пусть миллионер Ахав построит дворец на винограднике Навуфея, и суд сможет, смотря по обстоятельствам,

предписать разрушение дворца, хотя бы он стоил миллионы, велеть привести виноградник в первоначальное состояние и, сверх того, приговорить узурпатора к уплате вознаграждения за убытки. Закон требует, чтобы всякая приобретённая законным путём собственность уважалась без различия ценности её и невзирая на то, кому она принадлежит.

Хартия, правда, требует для осуществления некоторых политических прав известной степени благосостояния и известных способностей, но все публицисты знают, что законодатель намерен был создать не привилегию, а гарантию. Раз условия, поставленные законом, выполнены, всякий гражданин может быть избирателем и всякий избиратель избираемым; раз приобретённое право остаётся одинаковым для всех, закон не различает личностей. Я не задаюсь здесь вопросом, можно ли считать эту систему наилучшей, для меня достаточно установить, что по духу хартии и по мнению всех вообще людей равенство перед законом безусловно и, подобно свободе, не может подлежать передаче.

Так же обстоит дело и с правом безопасности; общество не обещает своим членам половинчатых помощи и защиты; оно берёт на себя обязательство целиком, так же как и они по отношению к нему. Оно не говорит им: я вас обеспечу, если мне это ничего не будет стоить, я вас защищу, если не буду при этом рисковать ничем. Оно говорит: я вас защищу от всех и против всех, я вас спасу и отомщу за вас или погибну. Государство предоставляет каждому гражданину все свои силы; обязательство, соединяющее их, абсолютно.

Совсем в ином положении находится собственность: обожаемая всеми, она не признаётся никем. Законы, нравы, обычаи, общественная и личная совесть — всё стремится к её гибели и уничтожению.

Для того чтобы покрыть расходы правительства, которое должно содержать армию, выполнять различные работы, оплачивать чиновников, необходимы налоги. Пусть все принимают участие в этих расходах; лучшего и желать нельзя. Но почему богатый должен платить больше бедного? Это, говорят, справедливо, потому что он имеет больше. Я, признаюсь, не понимаю этой справедливости.

Зачем платятся налоги? Затем, чтобы обеспечить каждому пользование его естественными правами: свободой, равенством, безопасностью и собственностью, затем, чтобы поддерживать в государстве порядок, и, наконец, затем, чтобы создать учреждения, служащие для общественной пользы или развлечений.

Так неужели же защита жизни и свободы богатого стоит больше, нежели бедного? Кто при вторжениях неприятеля, при голодовках и эпидемиях причиняет больше хлопот? Крупный собственник, спасающийся от опасности, не ожидая помощи от государства, или крестьянин, остающийся в своей хижине на добычу всем бедствиям?

Разве порядочный буржуа более угрожает порядку, чем ремесленник или фабричный? Нет, несколько сотен безработных доставляют полиции больше хлопот, чем двести тысяч избирателей.

Разве, наконец, крупный рантье, больше, чем бедняк, пользуется национальными празднествами, чистотою улиц, красотою монументов?.. Он предпочтёт своё поместье всем

публичным увеселениям, а если вздумает развлечься, то не станет дожидаться устройства шестов для лазания на призы.

Возможно лишь одно из двух: либо пропорциональный налог обеспечивает и санкционирует привилегию, которую пользуются богатые плательщики, либо он сам является несправедливостью, ибо если собственность, как говорится в декларации прав 1793 года, является естественным правом, то всё принадлежащее мне на основании этого права так же священно, как и моя личность. Это моя кровь, моя жизнь, моё я. Кто его коснётся, тот посягнёт на зеницу ока. Мои сто тысяч франков дохода так же неприкосновенны, как и подённая плата гризетки, получающей 75 сантимов; мои апартаменты так же неприкосновенны, как и её мансарда. Налоги устанавливаются не сообразно силе, росту, таланту, нельзя их сообразовать также и с собственностью.

Если, следовательно, государство берёт у меня больше, пусть же оно больше и даёт или пусть перестанет говорить о равенстве прав, ибо в противном случае общество не будет учреждением, защищающим собственность, но организующим её уничтожение. Вводя пропорциональный налог, государство становится, так сказать, главою разбойничьей шайки; оно даёт пример правильно организованного грабежа, его следует посадить на скамью подсудимых во главе этих ужасных разбойников, этой отвратительной сволочи, которую оно приказывает убивать из профессиональной зависти.

Говорят, однако, что суды и солдаты нужны именно для того, чтобы обуздывать эту сволочь. Правительство есть общество не то что страховое, ибо оно не боится, но общество мести и репрессий. Взнос, который это общество заставляет платить, или налог, пропорционален собственности, т. е. он пропорционален хлопотам, какие каждая собственность доставляет мстителям и угнетателям, оплачиваемым правительством.

Оказывается, мы далеки от абсолютной и неприкосновенной собственности. Бедный и богатый постоянно не доверяют друг другу и воюют между собою. Из-за чего же они воюют? Из-за собственности. Итак, необходимым коррелятом собственности является война из-за собственности. Свобода и безопасность богатого не страдают от свободы и безопасности бедного, наоборот, они могут друг друга взаимно укреплять и поддерживать, между тем как право собственности первого постоянно требует защиты от инстинкта собственности второго. Какое противоречие!

В Англии существует налог в пользу бедных; от меня требуют, чтобы я его платил. Какое, однако, отношение существует между моим естественным и ненарушимым правом собственности и голодом, терзающим десять миллионов несчастных? Когда религия велит нам помогать нашим братьям, она опирается на свойственное нам чувство сострадания, а не на законодательный принцип. Долг благотворительности, предписанный мне христианской моралью, не может создать против меня политическое право в чью-либо пользу, а тем более институт нищенства. Я хочу подавать милостыню, если это доставляет мне удовольствие, если я чувствую к страданиям других симпатию, о которой говорят философы и в которую я совсем не верю. Я не хочу, чтобы меня принуждали. Никто не обязан быть справедливым в большей степени, чем требует следующее правило: *правом своим можно пользоваться постольку, поскольку это не причиняет ущерба праву другого*. Правило это есть точное

определение свободы; и вот имущество моё принадлежит мне, оно никому ничего не должно. Я протестую против установления третьей христианской добродетели.

Все во Франции требуют конверсии 5% ренты{15} и тем самым требуют, чтобы была принесена в жертву целая категория собственности; если это общественно необходимо, то это имеют право сделать, но где же тогда справедливое и *предварительное вознаграждение* за убытки, обещанное хартией? Его не только нет, оно даже невозможно, ибо если бы вознаграждение равнялось пожертвованной собственности, то конверсия была бы бесполезна.

Государство в настоящее время по отношению к рантье находится в таком же положении, в каком находился по отношению к своим нотаблям город Кале, осаждённый Эдуардом III{16}. Победитель англичанин согласился пощадить население с тем условием, чтобы ему были выданы наиболее видные представители буржуазии, с которыми он мог бы поступить по своему усмотрению. Евстахий и несколько других пожертвовали собой. Это было прекрасно с их стороны, и нашим министрам следовало бы предложить нашим рантье подражать этому примеру. Но имел ли бы право город выдать их? Безусловно нет. Право на безопасность абсолютно. Отечество не может требовать, чтобы кто бы то ни было пожертвовал этим правом. Солдат, занимающий пост на расстоянии выстрела от неприятеля, вовсе не составляет исключения; когда гражданин занимает такой пост, вместе с ним подвергается опасности и отечество. Сегодня очередь одного, завтра — другого. Когда опасность общая, то бегство равносильно отцеубийству. Никто не имеет права прятаться от опасности, и никто не может служить искупительной жертвой. Изречение Каиафы: «Хорошо, чтобы один человек умер за весь народ»{17} — есть правило черни и тиранов, двух полюсов социальной деградации.

Говорят, что всякая вечная рента по существу своему может быть выкуплена. Это положение гражданского права, в приложении к государству, понятно в устах людей, желающих вернуться к естественному равенству труда и имущества, но, с точки зрения собственника и в устах сторонников конверсий, она знаменует их банкротство. Государство не только должник, оно также учреждение, охраняющее и гарантирующее собственность. Так как оно даёт самую высшую возможную гарантию, то даёт также возможность рассчитывать на самое прочное и неприкосновенное пользование. Может ли оно ввиду этого стеснять своих заимодавцев, доверившихся ему, а затем ещё говорить им об общественном порядке и об обеспеченности собственности. При такой операции государство является не должником, освобождающимся от долга, но акционерным предприятием, которое привлекает акционеров обманом и, вопреки собственному своему обещанию, заставляет их терять двадцать, тридцать или сорок процентов на капитал.

Но это ещё не всё. Государство есть совокупность граждан, объединённых под одним общим законом. Этот общий закон гарантирует всем их собственность: одному его поле, другому его виноградник, третьему доход с фермы, а рантье, который также мог бы купить недвижимую собственность, но предпочёл прийти на помощь казне, — ренту. Государство не может требовать, без справедливого вознаграждения, отказа от участка поля, от виноградника и тем более не может понизить арендной платы. Почему же оно имеет право уменьшать процент, получаемый на ренте? Для того чтобы это право не было

несправедливым, нужно было бы, чтобы рантье мог найти такое же выгодное помещение для своих денег в другом месте. Но где же он может найти такое помещение, если он не может выйти из пределов государства и если причина конверсии, иными словами возможность сделать заём при более выгодных условиях, имеется налицо внутри самого государства? Вот почему государство, основанное на принципе собственности, не может выкупить ренты помимо воли держателей её. Капиталы, данные займы республиканскому правительству, представляют собой собственность, которой нельзя касаться, пока остаются неприкосновенными другие виды собственности. Принудить рантье к выкупу — значит нарушить по отношению к ним общественный договор и поставить их вне закона.

Весь спор о конверсии ренты сводится к следующему.

Вопрос. Справедливо ли подвергать нищете сорок пять тысяч семей, подписавшихся на получение ренты в 100 фр. и ниже?

Ответ. Справедливо ли заставлять платить 5 фр. налога 7 или 8 миллионов плательщиков в то время, когда они могли бы платить только 3?

Очевидно прежде всего, что ответ не соответствует вопросу; но для того, чтобы ещё яснее обнаружить коварство первого, придайте ему следующую форму: справедливо ли подвергать опасности жизнь ста тысяч людей, между тем как можно их спасти, пожертвовав врагу сотней людей? Пусть читатель решает.

Защитники современного порядка вещей всё это отлично понимают, а между тем конверсия рано или поздно будет произведена и право собственности будет нарушено, ибо собственность, рассматриваемая как право и не будучи правом, должна погибнуть благодаря праву, ибо самая сила вещей, законы совести, физическая и математическая необходимость должны наконец уничтожить эту иллюзию нашего рассудка.

Резюмирую сказанное. Свобода есть абсолютное право, ибо она свойственна человеку, как материи свойственна непроницаемость; она *conditio sine qua non* существования. Равенство есть абсолютное право, ибо без равенства нет общества. Безопасность есть абсолютное право, потому что для каждого человека жизнь его и свобода так же дороги, как жизнь и свобода другого; эти три права абсолютны, т. е. не способны ни к увеличению, ни к уменьшению потому, что в обществе каждый член его получает столько же, сколько и даёт: свободу за свободу, равенство за равенство, безопасность за безопасность, тело за тело, душу за душу, на жизнь и смерть.

Собственность же и по этимологическому своему смыслу и согласно определениям юриспруденции есть право, существующее вне общества; ибо очевидно, что если бы имущество каждого было общественным имуществом, то условия были бы равны для всех и тогда получалось бы следующее противоречие: *собственность есть принадлежащее человеку право располагать самым безусловным образом общественным имуществом*. Итак, вступив в союз для свободы, равенства, безопасности, мы не союзники в области собственности, и если собственность является *естественным правом*, то это право не социально, но антисоциально. Собственность и общество — две вещи безусловно

несоединимые; заставить соединиться двух собственников так же трудно, как заставить два магнита соединиться одинаковыми полюсами. Общество должно погибнуть или уничтожить собственность.

Если собственность действительно естественное, абсолютное, неприкосновенное и ненарушимое право, то почему же всегда так усердно занимались исследованием его происхождения? Это представляет собою одну из характерных её черт. Происхождение естественного права... Господи! Кто когда бы то ни было думал о происхождении свободы, безопасности или равенства? Они существуют потому, что существуем мы: они рождаются, живут и умирают вместе с нами. Совсем иначе обстоит дело с собственностью. Согласно закону, собственность существует даже без собственника, как способность, как право без субъекта. Она существует для незначительного ещё человеческого существа и для глубокого старика, не могущего более пользоваться ею. Однако, несмотря на эти чудесные прерогативы, которые как бы знаменуют собой нечто вечное и бесконечное, никто никогда не мог сказать, откуда происходит собственность. Учёные до сих пор ещё препираются по этому поводу. В одном только они, по-видимому, сходятся: в том, что достоверность права собственности зависит от достоверности его происхождения. Но этот пункт их согласия является обвинением против них: почему они признали право, прежде чем решили вопрос о происхождении?

Некоторые люди не любят, чтобы стряхивали пыль с так называемых обоснований права собственности и чтобы исследовали его мифическую и, быть может, скандальную историю. Они желали бы успокоиться на том, что собственность факт, что она всегда существовала и всегда будет существовать. Этим именно начинается учёный Прудон свой *Traité des droits d'usufruit*^{19}, считая вопрос о происхождении собственности одним из совершенно бесполезных схоластических вопросов. Быть может, я присоединился бы к этому мнению, которое, хочется думать, внушено миролюбием, если бы все подобные мне имели достаточное количество собственности. Однако... Нет... я всё равно не присоединился бы к нему.

Основы, на которых хотят построить право собственности, сводятся к двум: к *завладению* и к *труду*. Я рассмотрю их последовательно, со всех точек зрения, во всех их подробностях, и я напоминаю читателю, что, какую бы точку зрения мне ни предложили, из всякой я выведу неопровержимое доказательство того, что собственность, для того чтобы сделаться возможной и справедливой, имеет необходимым своим условием равенство.

2. О завладении как обосновании собственности

Замечательно, что на собраниях Государственного Совета, обсуждавших кодекс, не возникло никаких разговоров о происхождении и принципе собственности. Все параграфы второй главы, второй книги, касающиеся собственности и права приобретения, были приняты без возражения и без добавлений. Бонапарт, который относительно других

вопросов доставил столько хлопот своим законооведам, ничего не нашёл сказать о собственности. Удивляться этому нечего. В глазах Бонапарта, человека, отличавшегося крайним индивидуализмом и сильно развитою волею, собственность должна была быть важнейшим из прав, подобно тому как подчинение власти было священнейшею из обязанностей.

Право захвата (оккупации) или *первого захватившего* (оккупанта) есть право, проистекающее из действительного, физического, реального обладания вещью. Я занимаю известный участок земли, я считаюсь его собственником постольку, поскольку не доказано противное. Понятно, что первоначально оно было законно лишь постольку, поскольку один оккупант признавал права другого, — с этим соглашаются все законоведы.

Цицерон сравнивает землю с громадным театром: *Quemadmodum theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest ejus esse eum locum, quem quisque occuparit.*

Этот отрывок представляет собою наиболее философский взгляд на происхождение собственности, какой оставила нам древность. Театр, говорит Цицерон, принадлежит всем, а между тем место, которое каждый в нём занимает, называется *его* местом; это значит, очевидно, что место находится в его *владении*, но не в его *собственности*. Это сравнение уничтожает собственность; более того, оно заключает в себе равенство. Могу я в театре занимать одновременно одно место в партере, второе в ложе, третье на галёрке? Нет, если только я не обладаю тремя телами, как Герион, или способностью существовать одновременно в различных местах, какою обладал будто бы волшебник Аполлоний. Согласно Цицерону, никто не имеет права на большее, чем сколько ему нужно; таково правильное толкование его знаменитой аксиомы: *Suum quidque, cuiusque sit*{20} — каждому то, что ему принадлежит, аксиомы, которой подчас придавали такой странный смысл. Принадлежащее каждому есть не то, чем каждый *может* обладать, но то, чем каждый имеет *право* владеть. Чем же мы имеем право владеть? Тем, что необходимо для нашего труда и что достаточно для нашего потребления. Что Цицерон понимал это именно так, доказывается тем, что он сравнивал землю с театром. Согласно этому пусть каждый устраивается на своём месте как ему угодно, пусть украшает и улучшает его, это позволено, но пусть его деятельность никогда не переходит за пределы, отделяющие его от другого. Учение Цицерона приводит непосредственно к равенству; так как оккупация есть результат терпимости, и если терпимость взаимная, а иною она не может быть, то права владения равны{21}.

Гроциус, говоря о происхождении собственности, пускается в исторические исследования. Что это, однако, за приём — искать происхождение естественного права, данного якобы от природы, вне этой природы? Это напоминает приём древних: факт существует, стало быть, он необходим, стало быть, он справедлив, стало быть, его предшественники также справедливы. Впрочем, послушаем всё-таки, что говорит Гроциус.

«Вначале все вещи были общими и нераздельными. Они являлись достоянием всех». Остановимся на этом. Гроциус рассказывает нам, как этот примитивный коммунизм погиб от честолюбия и жадности, как за золотым веком последовал век железный и т. д. Выходит так, будто собственность имела своим источником сначала войны и победы, затем договоры

и контракты. Либо эти договоры и контракты устанавливали равные доли согласно первобытному коммунизму, единственному правилу распределения, которое могли знать первые люди, единственной понятной им форме справедливости. Тогда вопрос о возникновении собственности воскресает вновь, снова становится неясным, почему равенство исчезло. Либо же эти договоры и трактаты возникали благодаря силе одних и слабости других, и в таком случае они не имеют силы; молчаливое согласие потомства несколько не укрепляет их, и мы живём в постоянном состоянии неравновесия и обмана.

Никогда нельзя будет понять, почему равенство условий, существовавшее вначале в самой природе, могло превратиться впоследствии в состояние неестественное, каким образом могло произойти подобное падение? Инстинкты животных так же неизменны, как и родовые различия. Допускать в человеческом обществе существование первобытного естественного равенства — это значит в то же время признавать, что теперешнее неравенство есть оскорбление, нанесённое природе этого общества, что необъяснимо для защитников собственности. Я со своей стороны делаю отсюда вывод, что Провидение поставило первых людей в одинаковые условия, желая дать им указание, пример, который они должны были осуществить в иных формах, подобно тому как они развили и обнаружили под всевозможными формами религиозные чувства, которые оно вложило в их души. Человек имеет природу, вечную и неизменную. Он следует ей по инстинкту, отступает от неё благодаря размышлению и возвращается к ней благодаря разуму. Кто может сказать, что мы не находимся на пути к возврату? Согласно Гроциусу, человек начал равенством. По моему, он кончит им. Как он его покинул и как вернётся к нему, это мы рассмотрим впоследствии.

Рид говорит:

“ «Право собственности вовсе не естественное, но приобретённое право. Оно вытекает вовсе не из организации человека, а из его поступков. Правоведы объяснили его происхождение вполне удовлетворительным для всех здравомыслящих людей образом. Земля есть общее благо, которое благодать небесная дала людям для удовлетворения потребностей жизни. Но распределение этого блага и его продуктов есть дело людей. Каждый из них получил от неба силу и разум, необходимые для того, чтобы присвоить себе известную часть земли, не причиняя никому ущерба.

Моралисты древности справедливо сравнивали общее право всякого человека на продукты земли, прежде чем она была занята и сделалась собственностью другого, с правом, которым пользуются посетители театра. Всякий, проходя, может занять пустое место и иметь право сохранять его в продолжение всего спектакля, но никто не имеет права лишать места зрителя уже устроившегося. Земля есть громадный театр, который Всемогущий с бесконечной премудростью и добротой приспособил для труда и наслаждений всего человечества. Каждый имеет право расположиться на ней в качестве зрителя и выполнять роль актёра, но только не стесняя других».

Рассмотрим теперь выводы из учения Рида.

1. Для того чтобы часть, которую каждый может себе присвоить, не присваивалась в ущерб другим, необходимо, чтобы она равнялась сумме подлежащих распределению благ, делённой на число участников распределения.
2. Так как число мест всегда должно быть равно числу зрителей, то недопустимо, чтобы один зритель занимал два места, чтобы один актёр играл две роли.
3. По мере того как зрители приходят и уходят, места увеличиваются или уменьшаются в одинаковой для всех без различия степени; ибо, говорит Рид, *право собственности вовсе не естественное, но приобретённое право*, следовательно, в нём нет ничего абсолютного и, следовательно, факт захвата, на котором основывается это право, будучи фактом случайным, не может сообщить этому праву неизменности, какую он не обладает и сам. Это, по-видимому, было понято эдинбургским профессором, ибо он добавляет: «Право жить включает в себе право приобретать средства к жизни, и то же самое правило справедливости, которое требует, чтобы жизнь невинного человека была неприкосновенна, требует также, чтобы его не лишали средств для её сохранения. И то и другое одинаково священны... Препятствовать работе другого — значит причинять ему такую же несправедливость, какую причиняешь ему, надевая на него оковы или заключая его в тюрьму. Результат получается тот же и вызывает те же самые чувства».

Таким образом, глава шотландской школы, не принимая во внимание никаких различий в способностях и усердии, а *rigor* устанавливает равенство средств труда, предоставляя затем каждому работнику заботу о его индивидуальном благосостоянии согласно вечной аксиоме: кто хорошо будет работать, получит хороший результат.

Философу Риду не доставало не понимания принципа, но смелости сделать из него все выводы. Если права на жизнь равны, то равны также права на труд и права на захват. Могли ли бы островитяне, основываясь на праве собственности, отталкивать баграми несчастных, потерпевших кораблекрушение, которые пытались бы взойти на их берег, могли ли бы они это сделать, не совершая преступления? Уже самая мысль о подобном варварстве возмутительна. Собственник, подобно Робинзону на его острове, при помощи копья и ружья отгоняет пролетария, которого затопляет волна цивилизации и который старается уцепиться за скалу собственности. «Дайте мне работу, — кричит изо всех сил пролетарий собственнику, — я буду работать за всякую плату, какую вы мне дадите!» — «Мне твой труд не нужен», — отвечает собственник, направляя на пролетария острие своего копья или дуло своего ружья. «Понизьте по крайней мере квартирную плату. Мои доходы нужны мне для того, чтобы жить. Как я могу платить вам, не имея работы?» — «Это твоё дело».

Тогда несчастный пролетарий даёт увлечь себя потоку или пытается проникнуть в твердыню собственности; а собственник целится в него и убивает.

Мы слышали мнение спиритуалиста. Теперь мы спросим материалиста, затем эклектика. И наконец, покончив с философами, мы поищем ответа у юристов.

Согласно Дестют-де-Траси, собственность есть потребность нашей природы. Не будучи слепым, нельзя отрицать, что эта потребность ведёт к неприятным последствиям, но эти последствия — неизбежное зло, ничего не говорящее против самого принципа. Восставать против собственности из-за того, что ею злоупотребляют, было бы так же неразумно, как негодовать на жизнь, потому что она кончается смертью. Эта грубая и беспощадная философия обещает по крайней мере строгую и откровенную логику. Посмотрим же, как исполняется это обещание.

“ «Торжественно был подготовлен процесс против собственности... как будто от нас зависело, будет или не будет существовать на свете собственность... Как послушаешь иных философов и законодателей, то может показаться, что люди в какой-то данный момент добровольно и без причины вздумали говорить *моё* и *твоеё*, что от этого можно и даже должно было воздержаться. На самом же деле *моё* и *твоеё* никогда не были выдуманы».

Будучи сам философом, г. Дестют-де-Траси слишком большой реалист. *Моё* и *твоеё* не обозначает непременно отождествления, которое подразумевается, когда я говорю, например: «*Твоя философия и моё равенство*», ибо *твоя философия* — это ты, занимающийся философией, а *моё равенство* — это я, исповедующий равенство. *Моё* и *твоеё* обозначают гораздо чаще отношение; *твоя страна*, *твой приход*, *твой портной*, *твоя молочница*; *мой номер в гостинице*, *моё место в театре*, *мой взвод* или *мой батальон* в национальной гвардии. В первом смысле можно сказать: *мой труд*, *мой талант*, *моя добродетель*, но нельзя сказать: *моё величие*; и только во втором смысле *моё поле*, *мой дом*, *мои виноградники*, *мои капиталы*, подобно тому как служащий у банкира говорит: *моя касса*. Словом, *моё* и *твоеё* символы и выражения личных, но равных прав; в приложении к вещам, находящимся вне нас, они обозначают обладание, функции, пользование, но никогда не обозначают собственности.

Если бы я не доказал это подлинными цитатами, никто не поверил бы мне, что вся теория нашего автора построена на этой жалкой двусмысленности.

“ «До появления всяких договоров люди находятся не в состоянии враждебности, как утверждает Гоббс, но в состоянии отчуждённости. При таком состоянии нет ни справедливого, ни несправедливого в точном смысле слова; права одного совершенно не касаются прав другого, все и каждый имеют столько же прав, сколько и потребностей, и общую обязанность удовлетворять последние помимо всяких сторонних соображений».

Признаем эту систему; верна ли она или ложна, всё равно: Дестюту-де-Траси не удаётся избежать равенства. Итак, согласно этой гипотезе, люди, находясь в состоянии отчуждённости, не обязаны друг другу ничем; все они имеют право удовлетворять свои потребности, не считаясь с правами других, и, следовательно, право проявлять своё господство над природой, каждый сообразно своим силам и способностям. Отсюда по необходимости вытекает величайшее неравенство в распределении благ между

отдельными личностями. Таким образом, неравенство условий является здесь характерной чертой состояния отчуждённости или первобытного состояния. Получается как раз обратное тому, что проповедует Руссо. Послушаем дальше нашего автора.

“ «Ограничения этих прав и этой обязанности возникают лишь в тот момент, когда устанавливаются молчаливые или формальные соглашения. Тут только возникает понятие о справедливости и несправедливости, т. е. о равновесии между правами одного и правами другого, которые до этого времени были равны по необходимости».

Нам необходимо столкнуться: *права были равны* — это значит, что каждый имел право *удовлетворять свои потребности, не принимая в соображение потребностей других*; иными словами, все имели одинаковое право вредить друг другу, и не было другого права, кроме права силы и хитрости. Ведь вредить друг другу можно не только войною и грабежом, но также захватывая что-либо раньше другого и присваивая его. И вот для того, чтобы уничтожить это одинаковое право употреблять силу и хитрость, одинаковое право причинять друг другу зло, этот единственный источник неравенства благ и зол, начали заключать *молчаливые* или *формальные договоры* и установили равновесие. Таким образом, эти договоры имели целью обеспечить всем равенство благосостояния, следовательно, по закону противоположностей, если отчуждённость есть принцип неравенства, то неизбежным результатом общества является равенство. Социальное равновесие есть уравнение прав слабого и сильного, ибо, поскольку они не равны, они чужды друг другу, не образуют союза и остаются врагами. Итак, если неравенство условий есть необходимое зло, то лишь при состоянии отчуждённости, так как общество и неравенство противоречат одно другому; следовательно, человек, созданный для общества, создан также для равенства. Логичность этого умозаключения неоспорима.

Раз это так, то почему же, со времён установления равновесия, неравенство постоянно возрастает? Каким образом царство справедливости является всегда царством отчуждённости? Что отвечает нам на это Дестют-де-Траси?

«*Потребности и средства, права и обязанности* вытекают из способности хотеть, и если бы человек ничего не хотел, то у него ничего из этого не было бы. Но иметь потребности и средства, права и обязанности — значит *иметь что-нибудь, обладать чем-нибудь*. Они представляют собой столько же видов собственности, понимая собственность в самом широком и общем значении слова; они представляют собой принадлежащие нам вещи».

Это недостойная двусмысленность, которую не оправдывает даже потребность в обобщении. Слово *собственность* (propriété) имеет два смысла: 1) оно обозначает свойство, благодаря которому вещь является тем, что она есть, присущую ей особенность, которою она отличается от других. В этом смысле говорят: *свойства* (propriétés) *треугольника или чисел, свойства магнита и т. д.*; 2) оно выражает право господства разумного и свободного существа над какой-либо вещью. В таком именно смысле употребляют его юристы. Таким образом, в предложении: *железо приобретает свойство* (propriété) магнита, слово propriété вызывает иное представление, чем в следующей фразе: *этот магнит представляет мою*

собственность (propriété). Говорить несчастному, что у него есть свойство, потому что у него есть руки и ноги, что голод, терзающий его, и способность спать на открытом воздухе являются его особенностями[10], это значило бы играть словами и присоединять к бесчеловечности насмешку.

“ «Понятие собственности может основываться только на понятии личности. Когда возникает понятие собственности, оно неизбежно и неизменно возникает во всей своей полноте. Как только индивидуум сознаёт своё я, свою способность наслаждаться, страдать, действовать, он неизбежно убеждается также, что это я является исключительным собственником тела, которое оно одушевляет, его органов, сил и способностей... Необходимо, чтобы существовала собственность естественная, раз существует собственность искусственная и договорная, ибо не может быть ничего искусственного, что не имеет своего основания в природе».

Преклонимся перед добросовестностью и мудростью философов. Человек имеет свойства (propriété), т. е., в первом смысле слова, особенности. Он обладает собственностью (propriété) на них во втором смысле слова, т. е. господством над ними. Таким образом, он имеет особенность (propriété) способности (propriété) быть собственником (propriétaire). Я постыдился бы заниматься здесь подобными глупостями, если бы речь шла только о Дестют-де-Траси; но эта ребяческая путаница была уделом всего человеческого рода при возникновении обществ и языков, когда, вместе с первыми понятиями и первыми словами, возникла метафизика и диалектика. Всё, о чём человек мог сказать *моё*, отождествилось в его уме с его личностью; он стал считать всё это своей собственностью, своим именем, частью самого себя, членом своего тела, способностью своего ума. Обладание вещами было уподоблено собственности на преимущества своего тела и духа, и на этом ложном уподоблении было основано право собственности, *подражание искусству природе*, как выражается на своём изящном языке Дестют-де-Траси.

Но как же этот утончённый идеолог не заметил, что человек не является даже собственником своих способностей? Человек обладает силами, качествами, способностями; природа дала ему их, чтобы он мог жить, познавать, любить. Он не обладает полным господством над ними и является по отношению к ним только узурпатором; своё право пользования он может осуществить, только сообразуясь с законами природы. Если бы он был безусловным господином своих свойств и способностей, он не допустил бы в себе чувства голода и жажды; он ел бы без всякой меры, прогуливался бы по огню, поднимал бы горы, проходил бы по 100 миль в час, лечил бы болезни без лекарства одною силою воли и сделался бы бессмертным. Он говорил бы: я хочу произвести — и произведения его, подобно идеалу, были бы совершенны; он говорил бы: я знаю — и знал бы, я люблю — и наслаждался бы любовью. Как! Человек, не будучи господином над самим собою, может быть господином чего-нибудь, вне его находящегося! Пусть он пользуется произведениями природы, раз он может жить только при условии пользования ими, но пусть он откажется от притязаний собственника и пусть помнит, что название это лишь метафора.

Словом, Дестют-де-Траси смешивает под одним общим названием внешние *блага* природы и искусства и *силы* или *способности* человека, называя и те и другие *собственностью* (*propriété*). И при помощи этой двусмысленности он надеется установить на непоколебимых основах право собственности. Но из этих собственностей (*propriété*) одни *врождённые*, как память, воображение, сила, красота, другие же *приобретённые*, как, например, поля, воды, леса. При первобытном состоянии или состоянии отчуждённости наиболее ловкие и сильные субъекты, т. е. наилучше одарённые в смысле врождённых «собственностей», имеют наибольшие шансы завладеть собственностями приобретёнными. И вот для того, чтобы предупредить такие захваты и вытекающую из них борьбу, были придуманы равновесие, справедливость, были заключены молчаливые или формальные договоры, т. е. чтобы в неравенство собственностей врождённых внести поправку путём уравнивания собственностей приобретённых. Если распределение не равное, то участники его остаются врагами и договор надо возобновлять. Итак, с одной стороны, мы имеем отчуждённость, неравенство, антагонизм, войну, грабёж, избиения, а с другой — общество, равенство, братство, мир и любовь. Будем же выбирать.

Господин Жозеф Дютан, физик, инженер, геометр, но слабый законовед и совсем не философ, является автором «*Philosophie de l'économie politique*», в которой он счёл нужным выступить на защиту собственности. Метафизика его, по-видимому, позаимствована у Дестют-де-Траси. Он начинает своё сочинение следующим, достойным Сганареля определением собственности: «Собственность есть право, благодаря которому какая-нибудь вещь принадлежит данному лицу». Это значит буквально следующее: собственность есть право собственности.

После некоторой дозы празднословия на тему о воле, о свободе, о личности, после проведения различия между собственностями *нематериальными естественными* и собственностями *материальными естественными*, которые сводятся к врождённым и приобретённым собственностям Дестюта-де-Траси, г. Жозеф Дютан заканчивает следующими двумя общими положениями: 1) собственность является для всякого человека правом естественным и ненарушимым; 2) неравенство в собственности есть необходимый результат природы. Оба эти положения можно свести к следующему, более простому: все люди имеют равное право на неравную собственность.

Господин Дютан упрекает г. де-Сисмонди в том, что он писал, будто земельная собственность не имеет иной основы, кроме законов и договоров; сам же он, говоря об уважении народа к собственности, замечает, что «здравый смысл его раскрывает ему природу *первоначального договора*, заключённого между обществом и собственниками».

Он смешивает собственность с владением, общность с равенством, справедливое с естественным, естественное с возможным: то он принимает эти различные понятия, как равнозначные, то как будто отличает их друг от друга, так что в конце концов опровергнуть его легче, чем понять. Заинтересовавшись заглавием книги, я, в тумане, напущенном автором, нашёл только вульгарные идеи, поэтому я не буду больше возвращаться к этому сочинению.

Господин Кузен в своей *Philosophie morale*, с. 15, сообщает нам, что всякая нравственность, всякий закон, всякое право даны нам в следующем завете: свободное существо, оставайся свободным. Я скажу: bravo, учитель! Я хочу остаться свободным, если смогу. Он продолжает:

“ «Наш принцип верен, он хорош, он социален; нам не следует бояться сделать из него все выводы.

1. Если человеческая личность священна, она является таковою во всей своей природе и особенно в своих внутренних актах, в своих чувствах, мыслях и проявлениях воли. Отсюда проистекает уважение, вызываемое в нас философией, религией, искусствами, промышленностью, торговлею, всеми продуктами свободы. Я говорю уважение, а не просто терпимость, ибо право бывает нетерпимо, но уважаемо.

Я преклоняюсь перед философией.

2. Моя святая свобода, для проявления вовне, нуждается в орудии, которое называется телом: таким образом тело причащается к святости свободы и само становится неприкосновенным. Отсюда принцип индивидуальной свободы.

3. Моя свобода, чтобы проявиться вовне, нуждается в арене для деятельности или материале, иными словами — в собственности или в вещи. Эта собственность или эта вещь естественно приобщаются к неприкосновенности моей личности. Допустим, например, что я завладеваю предметом, сделавшимся полезным и необходимым орудием внешнего развития моей свободы. Я говорю: этот предмет принадлежит мне, так как он не принадлежит никому другому; с этого момента я, на законном основании, обладаю этим предметом. Таким образом, законность владения покоится на двух условиях: во-первых, я владею только при условии, что я свободен; уничтожьте свободу действий, и вы уничтожите во мне принцип труда. Только посредством труда я могу присвоить себе собственность или вещь, и, только присвоив её себе, я владею ею. Таким образом, принципом права собственности является свобода действий; этого, однако, ещё недостаточно для того, чтобы узаконить владение. Все люди свободны, каждый может присвоить себе какую-нибудь собственность посредством труда; означает ли это, что все имеют право на всякую собственность? Во все нет. Для того чтобы я владел законным образом, нужно не только чтобы я, в качестве свободного существа, мог работать и производить; нужно ещё, чтобы я первый завладел собственностью; словом, если труд и производство являются принципом права собственности, то факт первоначального завладения является необходимым условием её.

4. Я владею на законном основании, следовательно, я имею право использовать мою собственность так, как мне вздумается; я имею также

право отдать её. Кроме того, я имею право передать её по завещанию, ибо с того момента, как акт свободы санкционировал мой дар, он и после моей смерти так же свят, как и при моей жизни».

Итак, чтобы сделаться собственником, надо, согласно г. Кузену, завладеть собственностью путём захвата и труда. Добавлю от себя, что надо также поспевать вовремя, ибо если первые оккупанты уже завладели всем, то что же останется лицам, явившимся впоследствии? Что станется со свободами, имеющими орудие для того, чтобы действовать, но не имеющими объекта? Неужели им останется только уничтожить друг друга? Это ужасный исход, которого не предвидела философская предусмотрительность, ибо великие гении не обращают внимания на мелочи.

Заметим также, что г. Кузен за захватом и за трудом в отдельности не признаёт свойства создавать собственность. У него последняя является только плодом их соединения. Это одно из проявлений свойственного г. Кузену эклектизма, от которого ему следовало бы воздерживаться более, чем кому-либо другому. Вместо того чтобы оперировать путём анализа, сравнения, исключения и выведения, который один только может показать истину среди различных форм мыслей и взглядов, г. Кузен смешивает все системы, а затем, одновременно одобряя и отрицая каждую из них в отдельности, он говорит: вот истина.

Но я предупредил, что не буду опровергать, что, наоборот, из всех гипотез, придуманных для защиты собственности, я выведу принцип равенства, убивающий последнюю. Я сказал, что вся моя аргументация будет заключаться в отыскании во всех рассуждениях неизбежной основы равенства и что я надеюсь со временем показать, что принцип собственности уже в самом зародыше отравляет науку экономическую, науку о праве и о государстве, и сбивает их с истинного пути.

Разве не верно, с точки зрения г. Кузена, что раз свобода человека свята, то она свята во всех без различия индивидуумах; что если она для проявления вовне, т. е. для того, чтобы жить, нуждается в собственности, то эта потребность в присвоении какой-либо собственности одинакова для всех; что, требуя от других уважения к моему праву присвоения, я со своей стороны должен уважать право других; что если, следовательно, в области бесконечного способность свободы к присвоению находит предел лишь в себе самой, то в области конечного эта же самая способность находит себе предел в математическом отношении числа свобод к пространству, которое они занимают? Не следует ли отсюда, что раз свобода не может препятствовать другой современной ей свободе присвоить себе такую же вещь, какую обладает она, то она тем более не может лишать этой способности будущие свободы, ибо индивидуум погибает, но совокупность сохраняется, и закон вечного целого не может зависеть от его временной части. Не следует ли сделать отсюда вывод, что каждый раз, когда является на свет новое существо, одарённое свободой, остальные должны потесниться? И наоборот, когда новый пришелец является наследником нескольких долей, то право наследования заключается не в праве накапливать их в своих руках, но только в праве выбора между ними.

Я подражал г. Кузену даже в слоге, и мне теперь стыдно. Разве нужны эти высокопарные выражения, эти звонкие фразы для того, чтобы выразить такие простые вещи? Для того

чтобы жить, человек должен трудиться, следовательно, ему нужны орудия труда и материал. Потребность производить является его правом, и это право гарантируется ему его ближними, по отношению к которым он обязан сделать то же самое. Сто тысяч человек поселяются в пустынной стране, равной по площади Франции; каждый из этих людей имеет право на одну стотысячную часть всего запаса земли. Если число владельцев увеличивается, доля каждого соответственно этому уменьшается, так что при 34 миллионах жителей каждый имеет право только на одну тридцатичетырехмиллионную часть территории. Организуйте теперь полицию, управление, труд, обмен, наследование и т. д. таким образом, чтобы средства труда оставались всегда одинаковыми для всех и чтобы каждый был свободен, тогда общество будет совершенно.

Из всех защитников собственности лучше всех обосновал её г. Кузен. Он возражал экономистам, что труд может дать право собственности лишь постольку, поскольку ему предшествует захват; законникам же он говорил, что гражданское право может дать определение и применение естественному праву, но что создать его оно не может. В самом деле, мало сказать: «Право собственности доказывается самым фактом существования последней, с этой точки зрения гражданский закон играет роль заявителя», это значило бы признать невозможность возразить что-либо тем, кто сомневается в законности самого факта. Всякое право должно оправдать себя или самим собою, или другим правом, ему предшествующим; собственность также не может избежать этой альтернативы. Вот почему г. Кузен пытался найти ей обоснование в том, что он называет *святостью* человеческой личности, и в акте, посредством которого воля присваивает себе какую-нибудь вещь. «Раз человек прикоснулся к каким-либо вещам, — говорит один из учеников г. Кузена, — они приобретают от него характер, изменяющий и очеловечивающий их». Я со своей стороны признаю, что не верю в такое волшебство и не знаю ничего менее святого, чем человеческая воля. Но эта теория, весьма непрочная и с психологической и с юридической точки зрения, носит всё-таки гораздо более философский и глубокий характер, чем теории, основанные только на труде или на авторитете закона. И вот мы видим, к чему приводит теория, о которой мы говорили, — она приводит к равенству.

Но, быть может, философия смотрит на вещи слишком свысока и недостаточно практично; быть может, с высоких вершин философской спекуляции люди кажутся слишком маленькими, для того чтобы метафизики принимали в расчёт различие между ними; быть может, наконец, равенство условий является одним из тех афоризмов, которые верны в своей величественной всеобщности, но которые смешны и опасны, когда их хотят приложить к обыденной жизни, к социальным взаимоотношениям. Здесь, несомненно, представляется случай подражать мудрой воздержности моралистов и юристов, которые предостерегают нас от крайностей и от всяких определений, ибо, по их словам, нет ни одного, которое нельзя было бы уничтожить целиком, сделав из него все губительные выводы: *omnis definitio in jure civili periculosa est: parum est enim ut non subverti possit*{22}. Равенство условий — эта ужасная догма для собственника, утешительная истина для бедного умирающего, отвратительная действительность, обнаруживающаяся под скальпелем анатома, равенство условий, перенесённое в область политическую, гражданскую и в область промышленности, представляет собою только обманчивую невозможность, коварную приманку, сатанинскую ложь.

Я никогда не буду стараться обмануть читателя. Для меня всякий, кто в своих словах и в своём поведении пользуется увёртками, отвратительнее самой смерти. С первой же страницы этого сочинения я выражался настолько точно и ясно, что все могли понять мои мысли и мои намерения, и я надеюсь, все согласятся с тем, что трудно было бы обнаружить в одно и то же время больше смелости и искренности. Поэтому я думаю, что не слишком забегу вперёд, если скажу, что недалеко то время, когда столь восхваляемая сдержанность философов, столь усердно рекомендуемая докторами нравственных и политических наук золотая середина будет считаться только позорной особенностью беспринципной науки и печатью её падения. В законодательстве и в морали, так же как в геометрии, аксиомы абсолютны, определения точны и самые крайние выводы, раз только они делались со всею строгостью, являются законами. Какая достойная жалости гордость! Мы ничего не знаем о своей природе и обвиняем её в наших противоречиях; увлечённые нашим наивным невежеством, мы осмеливаемся восклицать: «Истина заключается в сомнении, наилучшим определением является отсутствие всякого определения». Мы когда-нибудь узнаем, происходит ли эта ужасная недостоверность в юриспруденции от свойств её объекта или от наших предрассудков, не достаточно ли для объяснения социальных явлений изменить нашу гипотезу, подобно тому как Коперник перевернул всю систему Птолемея.

Но что скажут читатели, если я докажу, что эта самая юриспруденция в своей аргументации постоянно опирается на равенство, для того чтобы оправдать господство собственности? Что мне на это возразят?

3. О гражданском законе как основе и санкции собственности

Потье, по-видимому, думает, что собственность, так же как и королевская власть, есть божественное право. Происхождение его он ведёт от самого Бога: *ab Jove principium*{23}. Вот как он начинает:

“ «Бог обладает суверенным господством над вселенной и всеми заключающимися в ней вещами: *Domini est terra et plenitudo ejus orbis terrarum et universi qui habitant in eo.* — Для человеческого рода создал он землю и все обитающие на ней существа, и человеческому роду он предоставил господство, подчинённое его господству: *Ты утвердил его на делах рук твоих, ты положил у ног его природу*, говорит псалмопевец. Бог сделал этот дар человечеству со следующими словами, с которыми он обратился к нашим предкам после сотворения мира: *Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и т. д.*».

Кто после такого великолепного вступления не уверует, что человечество представляет собой как бы большую семью, живущую в братском единении под опекой почтенного отца? Но сколько на самом деле встречается враждующих братьев, сколько жестоких отцов и неблагодарных детей!

Бог даровал землю роду человеческому. Почему же я ничего не получил? Он положил к моим ногам землю; а между тем мне некуда приклонить голову. Размножайтесь, говорит он устами своего толкователя Потье. О, премудрый Потье! Это так же легко сделать, как и сказать. Но дайте же птице мху, для того чтобы она могла свить своё гнездо!

«Когда человеческий род размножился, люди разделили между собою землю и большинство вещей, находившихся на её поверхности, и то, что пришлось на долю каждого из них, стало принадлежать ему отдельно от всех других: таково происхождение права собственности».

Скажите лучше, права владения. Люди жили при коммунизме, носил ли он положительный или отрицательный характер, — безразлично. У них совсем не было собственности, так как не было даже частного владения. Так как увеличение владения мало-помалу принуждало к труду, для того чтобы увеличить средства к жизни, то формально или безмолвно — это не меняет дела — пришли к соглашению, что работник сам будет единственным собственником продукта своего труда. Иными словами: был заключён договор чисто явочного характера, подтверждающий тот факт, что отныне никто не мог жить без труда. Для того, чтобы получить равенство в средствах к жизни, по необходимости нужно было достигнуть равенства труда, а для того, чтобы труд был равен, нужны были одинаковые средства труда. Кто не трудясь, силою или хитростью завладевал средствами к жизни другого, тот нарушал равенство и становился выше и вне закона. Кто завладевал средствами производства в количестве большем, по сравнению с другими, под предлогом большей своей производительности, тот также нарушал равенство. Так как равенство выражало тогда право, то всякий посягнувший на равенство был *несправедлив*.

Таким образом, вместе с трудом родилось частное владение, право в вещи — *jus in re*, но в какой вещи? Очевидно, в *продукте*, но не в *земле*. В таком именно смысле его всегда понимали арабы, а также, судя по словам Цезаря и Тацита, германцы. «Арабы, — говорит г. де-Сисмонди, — признающие право человека на стада, которые он воспитал, не оспаривают также права на урожай у того, кто засеял поле; но они не понимают, почему другой такой же человек не имеет права в свою очередь посеять что-нибудь. Неравенство, вытекающее из пресловутого права первого оккупанта, по их мнению, вовсе не основывается на принципе справедливости, и, когда вся площадь их земли оказывается разделённой между известным числом жителей, тогда получается монополия последних в ущерб всему остальному народу, которому они не хотят подчиниться»...

В других местах землю разделили. Я допускаю, что благодаря этому возникла более крепкая организация между работниками и что этот раздел, определённый и постоянный, представляет больше удобств. Каким, однако, образом этот раздел мог создать для каждого изменяющееся право собственности на вещь, на которую все имели неприкосновенное и неизменное право владения? С точки зрения юриспруденции такое превращение владельца в собственника законным путём невозможно. Оно предполагает в примитивной юрисдикции смешение посессорного и петиторного и, при уступке, которая, как предполагается, была взаимной между участниками раздела, соглашение на основе естественного права. Первые земледельцы, которые явились также первыми законодателями, не были такими учёными, как наши законоведы; с этим я согласен, но если бы даже они и были таковыми, то хуже поступить они не могли бы: они не предвидели последствий превращения права частного

владения в абсолютную собственность. Но почему же те, которые впоследствии установили различие между *jus in re* и *jus ad rem*, не применили его к самому принципу собственности?

Я напоминаю юристам их собственное утверждение.

Право собственности если вообще может иметь причину, то только одну: *dominium non potest nisi ex una causa contingere*. Я могу владеть на том или ином основании, но быть собственником я могу только на одном основании: *non, ut ex pluribus causis idem nobis deberi potest ita ex pluribus causis idem potest nostrum esse*. Поле, которое я распахал, которое я обрабатываю, на котором построил мой дом, которое питает меня, мою семью и мой скот, я могу владеть: 1) по праву первого оккупанта, 2) по праву работника и 3) на основании общественного договора, который уступает мне его как долю при дележе. Но ни одно из этих оснований не даёт мне власти собственника, ибо если бы я сослался на право захвата, то общество могло бы мне ответить: я захватило раньше тебя; если я поставлю на вид свой труд, оно скажет: ты и владеешь только на этом условии; если я сошлюсь на договор, оно возразит: этот договор устанавливает именно понятие лица, обладающего правом пользования. Этим, однако, исчерпываются все доводы, выдвигаемые собственниками. В самом деле: всякое право, как учит нас Потье, предполагает причину, вызывающую его в человеке, который пользуется им. Но в человеке, который живёт и умирает, в этом сыне земли, который проходит по ней как тень, по отношению к предметам внешнего мира существует только право владения, но не право собственности. Как же общество могло бы признать право против себя там, где нет вызывающей его причины? Каким образом общество, допуская владение, могло допустить собственность? Как мог закон санкционировать это злоупотребление властью?

На это немец Ансильон отвечает:

“ «Некоторые философы утверждают, что человек, прилагая свои силы к какому-нибудь предмету внешней природы, к полю, к дереву, приобретает права только на внесённые им изменения, на форму, которую он придаёт предмету, но не на самый предмет. Такое деление совершенно бессодержательно. Если бы форму можно было отделить от вещи, то, пожалуй, ещё можно было бы спорить, но так как это почти никогда невозможно, то приложение человеческих сил к различным предметам видимого мира является первой основой права собственности, первой причиной возникновения имущества».

Это пустой предлог. Если форма не может быть отделена от предмета, собственность от владения, то необходимо разделить владение. Во всяком случае, общество сохраняет за собою право устанавливать условия собственности. Я предполагаю, что приобретённое имущество даёт десять тысяч франков валового дохода и что это имущество, что случается чрезвычайно редко, не может быть разделено. Я предполагаю затем, согласно хозяйственному расчёту, что в среднем ежегодный расход каждой семьи составляет три тысячи франков. Владелец этого имущества должен использовать его как хороший хозяин и ежегодно уплачивать обществу вознаграждение в десять тысяч франков, за вычетом всех

издержек производства и трёх тысяч франков, необходимых для содержания его семьи. Эти десять тысяч франков вовсе не будут арендной платой, а только вознаграждением.

Разве справедливостью продиктованы положения, вроде следующего:

“ «Если, благодаря труду, вещь изменила свою форму, так что форму уже нельзя отделить от материи, не уничтожив самой вещи, необходимо либо лишить общество его прав, либо рабочего продуктов его труда.

Если вообще право собственности на материал получит перевес над правом собственности на то, что присоединяется к нему путём приращения за вычетом вознаграждения или, как в данном случае, собственность на второстепенное берёт перевес над собственностью на главное.

В таком случае присвоение при помощи труда не будет применяться по отношению к частным лицам, но лишь по отношению к обществу».

Такова постоянная манера юристов рассуждать о собственности. Закон установлен для того, чтобы определить взаимные права людей, т. е. права каждого отдельного лица по отношению к другому отдельному лицу и права каждого по отношению ко всем. И хотя пропорция не может существовать без четырёх членов, господа юристы никогда не принимают в расчёт последнего члена. Пока человек противопоставляется человеку, собственность противопоставляется собственности и эти две силы уравниваются, но как только человек оказывается изолированным, иначе говоря, противопоставлен обществу, которое он сам собою представляет, юриспруденция впадает в ошибку, Фемида теряет одну из чашек своих весов.

Послушайте реннского профессора учёного Тулье:

“ «Каким образом это преимущество, приобретённое путём захвата, могло превратиться в постоянную непрерывную собственность, которая продолжала существовать и которую можно было требовать после того, как первый оккупант перестал владеть?

Земледелие было естественным следствием увеличения народонаселения, и земледелие, в свою очередь, благоприятствовало росту народонаселения и сделало необходимым установление постоянной собственности, ибо кто же захотел бы трудиться, обрабатывать и засеивать поле, не будучи уверен в том, что сам соберёт жатву?»

Для того чтобы успокоить земледельца, достаточно было бы обеспечить ему обладание урожаем. Допустим даже, что санкционировали бы его территориальный захват постольку, поскольку он сам обрабатывал захваченную землю. Это всё, чего он вправе был ждать, всё, чего требовал прогресс цивилизации. Но собственность! собственность! право наследования на землю, которую человек сам не занял и не обрабатывает. Кто имел власть дать его, кто

мог заявить на него притязания?

“ «Одного земледелия было мало для того, чтобы установить постоянную собственность; нужны были положительные законы и учреждения, наблюдающие за их выполнением; одним словом, нужно было гражданское государство.

Рост человеческого рода сделал необходимым земледелие. Необходимость обеспечить земледельцу плоды его труда вызвала потребность в постоянной собственности и законах, обеспечивающих последнюю. Таким образом, мы обязаны установлением гражданского государства собственности».

Да, мы обязаны ей гражданским государством в том виде, какой придали ему вы, государством, которое сначала было деспотией, затем монархией, затем олигархией, а теперь стало демократией, но которое всегда было и есть тирания.

“ «Не будь уз собственности, никогда не удалось бы подчинить людей спасительному игу законов; не будь постоянных законов, земля была бы до сих пор громадным лесом. Мы можем поэтому вместе с самыми добросовестными авторами сказать, что если временная собственность или право преимущества, которое даёт захват, предшествует установлению гражданского общества, то постоянная собственность в том виде, в каком мы знаем её теперь, есть создание гражданского права. Гражданское право установило то положение, что раз приобретённая собственность не утрачивается без согласия на то собственника и что она сохраняется даже после того, как собственник лишился обладания вещью и последняя находится в руках третьего лица.

Таким образом, собственность и владение, которые в первобытном государстве смешивались, благодаря гражданскому праву сделались вещами различными и независимыми друг от друга; вещами, которые, говоря языком законов, не имеют более между собою ничего общего. Отсюда явствует, какая глубокая перемена произошла в собственности и как сильно гражданские законы вменили её сущность».

Таким образом, закон, устанавливая собственность, отнюдь не являлся выражением психологического факта, развитием естественного закона, приложением нравственного принципа. Закон в полном смысле слова *создал* право, стоящее вне его компетенции; он реализовал абстракцию, метафору, фикцию, и он не потрудился даже предусмотреть, что из этого выйдет, какие возникнут неудобства, будет ли результат хорош или дурен. Он санкционировал эгоизм, он подтвердил чудовищные претензии, он удовлетворил преступные желания, как будто в его власти было наполнить бездну и насытить ад. Это был закон слепой, закон невежд, закон, не достойный этого имени, слово раздора, лжи и крови. Это он, всё снова и снова воскрешаемый, восстанавливаемый и укрепляемый, подобно

палладиуму обществ, усыпил совесть народов, омрачил дух вождей и явился причиной всех народных бедствий. Этот закон был осуждён христианством, но его восстановили невежественные служители последнего, настолько же не склонные изучить природу и человека, насколько не способные понять своё Писание.

Чем же, однако, руководствовался закон, созидавая господство собственности, какому он следовал принципу, какому правилу?

Принципом его было равенство. Это невероятно, но это так.

Земледелие послужило основой территориальному владению и случайной причиной возникновения собственности. Мало было обеспечить земледельцу продукт его труда; надо было в то же время обеспечить средства для его производства. Чтобы оградить слабого от вторжений сильного, чтобы предупредить грабежи и обманы, необходимо было установить между владельцами постоянные разграничения, непреодолимые препятствия. С каждым годом народонаселение возрастало и жадность колонистов увеличивалась; явилось стремление обуздать самолюбие, устанавливая пределы, о которые оно должно было разбиться. Таким образом, земля сделалась собственностью, благодаря потребности в равенстве, необходимом для общественной безопасности и для того, чтобы каждый мог пользоваться спокойно плодами своего труда. Несомненно, раздел в географическом смысле никогда не был равномерным. Множество прав, хотя и вытекающих отчасти из природы, плохо истолкованных и ещё более плохо применяемых, наследство, подарки, мены, затем привилегии рождения и сана — незаконные создания невежества и грубой силы — препятствовали установлению абсолютного равенства. Принцип, однако, от этого нисколько не изменился: равенство освятило владение, равенство же освятило и собственность.

Земледельцам ежегодно нужно было поле для посева. Вместо того чтобы каждый год снова спорить и драться, вместо того чтобы переезжать постоянно с места на место, перетаскивать свои дома, своё имущество и семьи, для первобытных людей было гораздо удобнее и проще назначить каждому определённое и неотчуждаемое владение.

Нужно было, чтобы воин, возвращаясь с похода, за услуги, оказанные родине, не очутился без средств к жизни и получил своё наследственное достояние. Поэтому вошло в обычай, что собственность сохраняется благодаря одному лишь намерению *nudo animo* — сохранить её и что она утрачивается лишь с согласия и по желанию собственника.

Необходимо было, чтобы равенство раздела сохранялось от одного поколения к другому и чтобы при этом не было надобности в новом распределении земель после смерти главы отдельной семьи. Поэтому казалось естественным и справедливым, чтобы дети и родственники, сообразно степени родства и свойства, соединявших их с умершим, становились его наследниками. Отсюда возник прежде всего феодальный патриархальный обычай признавать одного только наследника. Затем, согласно диаметрально противоположному толкованию принципа равенства, признание за всеми детьми права быть наследниками отца. Отсюда же, наконец, уничтожение права первородства, существовавшего у нас самих ещё недавно.

Но что общего между этими грубыми попытками инстинктивной организации и истинной социальной наукой? Каким образом люди, не имевшие ни малейшего представления о статистике, регистрации, политической экономии, могли дать нам законодательные принципы?

Закон, говорит один из современных юристов, есть выражение общественной потребности, провозглашение факта. Законодатель не создаёт, а только записывает его. Это определение вовсе не точно: закон есть правило, согласно которому должны удовлетворяться общественные потребности; его не народ голосует и не законодатель выражает, его открывает и формулирует учёный. Но, в конце концов, закон, в том виде, как его на протяжении полутысячи лет определил г. Ш. Конт, первоначально мог быть только *выражением потребности* и указанием средств для её удовлетворения. Таковым остался закон и до настоящего времени. Правоведы, с присущим им буквоедством и почти механической точностью, упорные, враждебные всякой философии, всегда смотрели как на последнее слово науки на то, что было лишь необдуманном желанием добросовестных, но непредусмотрительных людей.

Эти древние основатели господства собственности не предвидели, что вечное и абсолютное право сохранять своё наследственное достояние, право, которое казалось им уравнивающим, потому что оно было общим, влечёт за собою право отчуждать, продавать, дарить, приобретать и терять; что оно влечёт за собою, следовательно, не что иное, как уничтожение равенства, ради которого они его установили. Но если бы даже они это предвидели, они не обратили бы на это внимания. Непосредственная потребность восторжествовала, а неудобства вначале, как это всегда почти случается, были слишком незначительны и остались незамеченными.

Они не предвидели, эти чистые сердцем законодатели, что если собственность сохраняется в силу одного намерения сохранить её — *nudo animo*, то она влечёт за собою право сдавать внаём, в аренду, в рост, получать прибыль при обмене, создавать ренты, получать доход с земли, сохраняемой в силу намерения духа, между тем как тело занято в другом месте.

Эти патриархи нашей юриспруденции не предвидели, что если право наследования не есть данный природою способ сохранить равенство распределения, то семьи скоро сделаются жертвами самого бедственного неравенства и общество, поражённое в самое сердце одним из священнейших своих принципов, само себя уничтожит роскошью и нищетой[11].

Они не предвидели... Но надо ли мне продолжать? Последствия достаточно очевидны и сами по себе, и здесь было бы неуместно пускаться в критику всего кодекса.

История собственности у народов древности представляет теперь интерес только для учёных или любителей. Правило юриспруденции гласит, что факт не создаёт права. Собственность не может не подчиняться этому правилу, поэтому всеобщее признание права собственности не оправдывает его существования. Человек заблуждался относительно строя обществ, относительно природы права, относительно приложения справедливого, подобно тому как он ошибался относительно причины появления метеоров и движения небесных тел. Старые взгляды человека не могут считаться для нас символом веры; что нам

за дело до того, что население Индии разделено на четыре касты, что на берегах Нила и Ганга земля когда-то была распределена между людьми сообразно знатности рода и сану, что греки и римляне поручали богам охранять собственность, что размежевание и регистрация сопровождалось у них религиозными обрядами? Разнообразие форм привилегий не уничтожает их несправедливости; культ Юпитера-собственника[12] не может служить аргументом против равенства граждан, подобно тому как культ Венеры всенародной не противоречит супружескому целомудрию.

Авторитет человеческого рода не имеет никакого значения для утверждения права собственности, так как это право, зависящее по необходимости от равенства, противоречит своему принципу. Одобрение религий, санкционировавших право собственности, не имеет значения, потому что священники всех времён служили правителям, а боги всегда говорили так, как желали политики. Нельзя оправдывать собственность приписываемыми ей социальными преимуществами, ибо все они вытекали из принципа равенства владения, которого от собственности не отделяли.

Что после этого значит следующий дифирамб собственности?

“ «Установление права собственности есть важнейшее из человеческих учреждений...»

Да, подобно тому как монархия является самым славным из этих учреждений.

“ «Собственность — первая причина процветания человека на земле».

Потому что принципом её предполагалась справедливость.

“ «Собственность сделалась законной целью его стремлений, надеждой его существования, прибежищем его семьи — словом, краеугольным камнем домашнего очага, городов и политического государства».

Всё это создало одно владение.

“ «Она вечный принцип».

Собственность вечна, как и всякое другое отрицание.

“ «Всякого социального и гражданского института».

Вот почему всякое учреждение и всякий закон, основанный на собственности, погибнет.

“ «Это благо такое же драгоценное, как свобода».

Для разбогатевшего собственника.

“ «Действительная культура обитаемой земли...»

Если бы человек, обрабатывающий землю, перестал быть фермером, неужели земля обрабатывалась бы хуже?

“ «Гарантия и нравственность труда...»

Благодаря собственности труд есть не условие, но привилегия.

“ «Совершение справедливости...»

Что такое справедливость без равенства имущества? Весы с фальшивыми гирями.

“ «Всякая мораль...»

Голодный желудок не знает морали.

“ «Всякий общественный порядок...»

Да, сохранение собственности.

“ «Основываются на праве собственности»[13].

Краеугольный камень всего существующего и камень преткновения для всего того, что должно быть, — вот что такое собственность.

Делаю резюме и вывод:

Оккупация не только ведёт к равенству, она *препятствует* собственности. Поскольку всякий человек имеет право в силу того, что он существует, захватывать и не может жить без материала для приложения труда, поскольку, с другой стороны, число владельцев постоянно изменяется, благодаря рождениям и смертям, то количество материи, на которое может претендовать каждый работник, изменяется сообразно тому, как изменяется число владельцев; поэтому владение всегда находится в зависимости от населения, а владение по праву, не оставаясь никогда одинаковым, не может превратиться в собственность.

Таким образом, всякий оккупант по необходимости является владельцем или узуфруктуарием, что исключает для него возможность быть собственником. Право узуфруктуария заключается в следующем: он ответствен за доверенную ему вещь, он должен пользоваться ею, сообразуясь с общим благом и имея в виду сохранение и дальнейшее развитие вещи. Он не имеет права изменять, уменьшать и портить её; он не

может делить свой доход, предоставляя другому эксплуатировать вещь и получая от этого только прибыль. Одним словом, узурпаторий подчинён контролю общества, необходимости трудиться и закону равенства.

Этим уничтожается римское определение собственности как *права употреблять и злоупотреблять*; безнравственность, порождённая насилием, наиболее чудовищное из всех притязаний, санкционированных гражданскими законами. Человек получает своё право пользования из рук общества, которое одно только может владеть постоянно: личность умирает, общество же не умирает никогда.

Как глубоко противно повторять такие общеизвестные истины! Разве мы в настоящее время всего этого не знаем? Неужели ещё раз придётся вооружаться для того, чтобы они восторжествовали, неужели доводы в их пользу так слабы, что только силою можно будет ввести их в наши законы?

Право завладения равно для всех.

Так как размеры завладения зависят не от воли, но от изменчивых условий пространства и числа, то собственность не может возникнуть.

Вот то, чего не выражал ещё ни один кодекс, чего не допускает ни одна конструкция. Вот аксиома, которую отрицает гражданское право и право обычное!..

Но я слышу восклицания защитников другой системы: «Труд, труд создаёт собственность!»

Читатель, не дайте ввести себя в заблуждение! Это новое обоснование собственности хуже предыдущего, и мне потом придётся просить у вас прощения за то, что я доказывал вещи более ясные и опровергал притязания более несправедливые, чем все те, какие видели вы.

Глава III. Труд как действительная причина господства наследственной собственности

Вступление

Современные юристы, приняв на веру слова экономистов, все почти оставили теорию первоначального завладения, как слишком невыгодную, и приняли исключительно теорию, согласно которой собственность порождается трудом. Это значило прежде всего предаваться иллюзиям и вращаться в заколдованном кругу. Для того чтобы работать, нужно завладеть, говорит г. Кузен, следовательно, сказал бы я, раз право завладения одинаково для всех, то для того, чтобы трудиться, надо подчиниться равенству. «Богатые, — восклицает Жан Жак, — сколько угодно могут говорить: я построил стену, я своим трудом добыл эту землю. — Кто дал вам возможность этого? Можем мы им ответить. На каком основании требуете вы от нас уплаты за труд, который мы вам не навязывали?» О такое рассуждение разбиваются все софизмы.

Но защитники труда не замечают, что их система явно противоречит кодексу, все параграфы и все постановления которого предполагают собственность, основанную на факте первоначального завладения. Если труд, в силу вытекающего из него присвоения, является единственным источником собственности, то гражданский кодекс лжёт, хартия является неправой и весь наш социальный строй представляет собой насилие над правом. Это с полной очевидностью обнаружится из этой и следующей главы, в которой мы должны заняться обсуждением как права на труд, так и самого факта собственности. Мы при этом убедимся одновременно, с одной стороны, в том, что наше законодательство противоречит самому себе, с другой же — что новая юриспруденция противоречит и своему принципу, и законодательству.

Я предупредил, что теория, основывающаяся на собственности на труде, так же как и теория, основывающаяся на завладении, неизбежно предполагает равенство состояний, и читатель, вероятно, с нетерпением ждёт, каким образом я из неравенства талантов и способностей выведу этот закон равенства. Читатель скоро будет удовлетворён. Но необходимо, чтобы я на один момент обратил внимание читателя на тот замечательный факт, что труд подставлен, вместо завладения, в качестве принципа собственности, и чтобы я быстро очертил некоторые предрассудки, на которые собственники имеют привычку ссылаться и которые санкционируются законодательством, но уничтожаются до самого основания трудовой теорией.

Приходилось ли вам, читатель, присутствовать когда-нибудь при допросе обвиняемого? Приходилось ли вам наблюдать его хитрость и уловки, увиливания, извороты и запутывание? Разбитый, уличённый во всех своих уловках, подобно дикому зверю, преследуемый безжалостным судьёй, постоянно сбиваемый с позиции, он утверждает что-нибудь, затем отрицает то же самое и противоречит себе. Он исчерпывает все приёмы диалектики, он в тысячу раз изобретательнее и хитрее, чем тот, кто придумал 72 формы силлогизма. Так же точно поступает собственник, вынужденный доказывать своё право. Сначала он отказывается отвечать, затем негодует, угрожает, старается увильнуть; затем, вынужденный вступить в борьбу, вооружается уловками, окружает себя сильнейшей артиллерией, открывает перекрёстный огонь, выставляя и поочерёдно и одновременно захват, владение, давность, договоры, вековой обычай, согласие всего мира. Победённый на этой почве, собственник, подобно раненому кабану, переходит в нападение.

— Я не только захватил, — кричит он в ужасном волнении, — я работал, я производил, улучшал, изменял, созидал! Этот дом, это поле, эти деревья дело моих рук: я превратил дикий кустарник в виноград, лесное дерево в смоковницу; я теперь собираю урожай с бесплодной прежде земли; я удобрил землю своим потом, я платил тем людям, которые умерли бы с голоду, если бы не работали вместе со мной. Никто не облегчал моего труда и моих расходов, и я ни с кем не хочу делиться.

Ты работал, собственник! Зачем же ты говорил о первоначальном захвате? Разве ты не был уверен в твоём праве, неужели ты надеялся обмануть людей и справедливость? Торопись с изложением твоих средств защиты, ибо приговор будет безапелляционный и ты знаешь, что дело идёт о возвращении взятого.

Ты работал; но что есть общего между трудом, который является твоим долгом, и присвоением вещей, принадлежащих всем. Разве ты не знал, что господство над землёй нельзя захватить, так же как господство над воздухом и светом.

Ты трудился! Но разве ты не заставлял трудиться других? Каким образом они потеряли, работая для тебя, то, что ты приобрёл, не работая для них?

Ты трудился. Отлично! Посмотрим, что ты сделал. Мы будем считать, мерить, взвешивать; это будет Валтасарово взвешиванье, ибо я клянусь тебе этими весами, отвесом и наугольником, что если ты себе каким бы то ни было способом присвоил труд другого, то ты вернёшь всё без остатка.

Итак, принцип завладения оставлен. Теперь не говорят уже: земля принадлежит первому, завладевшему ею. Собственность, вытесненная из первой своей позиции, отбрасывает свою старую отговорку; справедливость, устыдившись, отрекается от своих утверждений. И этот процесс общественной философии совершился лишь очень недавно. Пятьдесят веков понадобилось для искоренения одной-единственной лжи; сколько санкционированных захватов, прославленных нашествий и получивших благословение побед произошло за это время! Сколько отсутствующих были лишены своего достояния, сколько бедных было изгнано, сколько голодных оттеснено смелым и проворным богатством. Сколько зависти и войн, какие пожары, какая бойня между народами! Теперь наконец, благодаря времени и разуму, землю перестали считать призом. Когда нет других препятствий, то есть место для всех людей на земле. Каждый может привязать свою козу к изгороди, погнать корову на пастбище, засеять клочок поля и печь свой хлеб на собственном очаге.

Впрочем, нет, не каждый это может. Я слышу со всех сторон крики: слава труду и промышленности! Каждому по его способности и по его произведениям. И я вижу, что три четверти рода человеческого снова обездолены; можно подумать, что труд одних направляет дождь и град на труд других.

«Проблема разрешена! — восклицает г. Геннекен. — Собственность, дочь труда, может пользоваться настоящим и будущим только под эгидой законов; она ведёт своё происхождение от естественного права, силу свою получила от права гражданского, и из комбинации двух понятий: *труд и покровительство* — возникло положительное законодательство...»

Итак, проблема разрешена. Собственность — дочь труда? Но что же такое право приобретения, право наследования, право дарить и т. д., если это не право сделаться собственником путём простого завладения. Что такое ваши законы о совершеннолетию, об опеке, об освобождении от неё, о лишении прав, если это не условия, на основании которых тот, кто уже трудится, приобретает или теряет право оккупации, т. е. собственности?..

Не имея возможности теперь заняться подробным обсуждением кодекса, я ограничусь рассмотрением трёх предрассудков, приводимых чаще всего как доказательства в пользу собственности: 1) *присвоение* или возникновение собственности благодаря владению; 2) *признание общества* и 3) *давность*.

Затем я прослежу, к чему ведёт труд как в отношении положения трудящихся, так и в отношении собственности.

1. Земля не может быть присвоена

“ «Казалось бы, что годные для обработки земли должны быть отнесены к числу естественных богатств, так как они не созданы человеком, но даны ему природой даром. Но так как эти богатства не обладают подвижностью,

свойственной воздуху и воде, так как поле есть пространство определённое и неизменное, так как некоторые люди сумели завладеть землёй, исключив из обладания ею всех остальных, давших своё согласие на это присвоение, то эта земля, бывшая прежде даровым, естественным благом, сделалась социальным богатством, за пользование которым надо платить»

(Say, *Economie politique*).

Был ли я не прав, когда говорил в начале этой главы, что самыми сомнительными авторитетами в философии и законодательстве являются экономисты? Вот прародитель секты, который прямо ставит вопрос, каким образом блага природы, богатства, созданные провидением, могут сделаться частной собственностью, и который отвечает на него такой грубой двусмысленностью, что просто не знаешь, чему приписать её: недостатку ли ума у автора или его недобросовестности. Какое отношение, спрашиваю я, имеет определённость и неизменность площади земли к праву присваивать её? Я отлично понимаю, что вещь *определённая и не обладающая подвижностью*, какова земля, легче доступна присвоению, чем вода или воздух, что легче проявить право господства над землёй, чем над воздухом. Но ведь дело не в том, что легче или труднее. Сэй принимает возможность за право. Ведь вопрос совсем не в том, почему земля раньше сделалась предметом присвоения, чем море или воздух. Мы хотим знать, на основании какого права человек присвоил себе это благо, *которое он вовсе не создал и которое природа даёт ему даром*.

Таким образом, Сэй вовсе не разрешает поставленного им самим вопроса. Но если бы даже он его разрешил, если бы данное им объяснение было настолько же удовлетворительно, насколько оно нелогично, нам всё-таки оставалось бы ещё спросить, кто имеет право взимать плату за пользование землёй, этим благом, не созданным человеком? Кому следует давать плату за землю? Тому, кто её произвёл, конечно. Кто создал землю? Бог. А если так, то проваливай, собственник!

Но создатель земли не продаёт её; он её даёт и, отдавая, не предоставляет никому никаких преимуществ. Каким же образом в числе его детей одни оказываются старшими, а другие незаконными? Если равенство долей существовало с самого начала, то каким же образом возникло впоследствии неравенство?

Сэй даёт понять, что, если бы вода и воздух не обладали подвижностью, они также сделались бы объектом собственности. Замечу, кстати, что это более чем гипотеза, что это — действительность. Воздух и вода делались объектом собственности, не скажу, всегда, когда это было возможно, но всякий раз, когда на это получалось разрешение.

Португальцы, открыв путь в Индию вокруг мыса Доброй Надежды, заявили, что они одни имеют право собственности на него, и Гроциус, совета которого спросили по этому случаю голландцы, не желавшие признавать прав португальцев, специально по этому поводу написал свой трактат «*De mari libero*» {24}, доказывающий, что море не может быть объектом присвоения.

Право охоты и рыбной ловли всегда составляло привилегию сеньоров и собственников; в настоящее время правительство и местные власти сдают его за деньги всякому, кто в состоянии платить за наём и за право иметь оружие. Пусть охоту и рыбную ловлю регулируют — это лучшее, что можно сделать, но когда их пускают с торгов, то этим самым создают монополию на воздух и воду.

Что такое паспорт? Это свидетельство, удостоверяющее личность путешественника, обеспечивающее ему и его имуществу безопасность; но фиск, имеющий свойство извращать даже наилучшие вещи, сделал из паспорта средство шпионства и предмет налога. Не значит ли это продавать право передвижения?

Наконец, ведь не позволено брать воду из источника без разрешения владельца земли, окружающей источник, ибо на основании права приобретения источник принадлежит владельцу земли, если только он не принадлежит кому-нибудь отдельно; не позволено пропускать солнечный свет в своё жилище, не уплатив налога; нельзя осматривать двор, парк, сад без разрешения собственника, так же как и прогуливаться в них. Каждому зато позволено запира́ть и огораживать своё владение. Все эти запреты представляют собой примеры запрещений, налагаемых не только на землю, но также на воздух и воду. Все мы, пролетарии, лишены причастия собственности. *Terra et aqua et aere et igne interdicti sumus*{25}.

Присвоение наиболее твёрдого элемента не могло произойти помимо присвоения трёх других, так как, согласно французскому и римскому праву, право собственности на поверхность земли обуславливает собой право на всё находящееся в ней и над ней: *cujus est solum, ejus est usque ad coelum*. Итак, если пользование водой, воздухом, огнём исключает собственность, то пользование землёй должно приводить к тому же. По-видимому, эта связь выводов предчувствовалась г. Ш. Контом в его *Traité de la propriété*, гл. V.

“ «Человек, лишённый в течение нескольких минут воздуха, перестал бы жить; частичное лишение воздуха причинило бы ему сильное страдание, частичное или полное лишение пищи вызвало бы у человека аналогичные явления, хотя и не так скоро. К таким же результатам, по крайней мере под известными широтами, повело бы лишение одежды и жилища... Таким образом, для того чтобы сохранить себя, человек должен присваивать себе непрестанно различные вещи. Но вещи имеются на земле не в одинаковом количестве; иные, как, напр., свет небесных светил, воздух, вода, заключающаяся в морях, существуют в таком громадном количестве, что люди не могут ни заметно увеличить, ни заметно уменьшить его. Каждый может себе присваивать из них сколько ему нужно без всякого ущерба для других, не подвергая их ни малейшим лишениям. Подобные вещи являются, так сказать, собственностью всего человеческого рода; в этом отношении каждому только вменяется в обязанность не препятствовать другим пользоваться этими благами».

Будем продолжать перечисление, начатое г. Ш. Контом. Человек, которому было бы запрещено ходить по большим дорогам, останавливаться в полях, искать приюта в пещерах, собирать ягоды, разводиться огонь, собирать травы и варить их в куске обожжённой глины, не мог бы жить. Таким образом, земля, подобно воде, воздуху и свету, есть предмет первой необходимости, которым каждый должен свободно пользоваться, не препятствуя пользоваться ею другим; почему же земля сделалась собственностью? Ответ г. Ш. Конта очень любопытен. Сэй утверждал, что она сделалась объектом собственности потому, что она *неподвижна*; г. Ш. Конт уверяет, что это происходит оттого, что она не *бесконечна*. Земля — предмет, ограниченный известными пределами, следовательно, она, согласно г. Конту, должна быть объектом присвоения. По-видимому, он должен бы сказать наоборот: следовательно, она не может быть объектом присвоения. Если мы присваиваем себе известное количество воздуха или света, мы никому не причиняем ущерба, потому что их всегда останется довольно. Иначе обстоит дело с землёю. Пусть кто хочет и может завладевает лучами солнца, пролетающим мимо ветром и волнами моря; я ему это позволяю и прощаю ему его злую волю. Но когда человек стремится превратить своё право владения землёю в право собственности на неё, я объявляю ему войну не на жизнь, а на смерть.

Аргументация г. Ш. Конта опровергает его собственное положение: «В числе вещей, необходимых для нашего существования, — говорит он, — есть такие, количество которых неисчерпаемо. Другие имеются налицо в менее значительных количествах и могут удовлетворять потребностям лишь известного числа людей. Одни предметы называются общими, другие — частными».

Рассуждение это отнюдь нельзя назвать точным. Вода, воздух и свет являются вещами *общими* не потому, что они *неисчерпаемы*, но потому, что они *необходимы*, до такой степени необходимы, что и природа-то, по-видимому, создала их в неограниченном почти количестве для того, чтобы эта неограниченность предохранила их от всякого присвоения. Земля также является вещью, необходимою для нашего существования, следовательно, вещью *общей* и, следовательно, вещью, не поддающеюся присвоению. Но количество земли гораздо меньше, чем количество других элементов, поэтому пользование ею должно быть урегулировано не ради выгоды немногих лиц, но в интересах безопасности всех — словом, равенство прав доказывается равенством потребностей. Если количество вещи ограничено, то равенство прав может быть осуществлено лишь посредством равенства владения — это аграрный закон, лежащий в основе аргументации г. Ш. Конта.

С какой бы стороны мы ни рассматривали вопрос о собственности — как только мы хотим исследовать его глубже, мы приходим к равенству. Я не буду долгие останавливаться на различии между вещами, которые могут и не могут сделаться собственностью. В этом отношении экономисты и правоведы делают достаточно глупостей. Дав определение собственности, гражданский кодекс умалчивает о вещах, могущих и не могущих быть объектами собственности. Если же он даже упоминает о вещах, *находящихся в торговле*, то он при этом ничего не определяет и ничего не устанавливает. Между тем в примерах не было недостатка, таковыми являлись общие места и изречения вроде следующих: *ad reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas. Omnia rex imperio possidet, singula dominio*{26}. Общественная суверенность противопоставляется индивидуальной собственности! Ведь это поистине пророчество равенства, оракул республиканизма.

Примеров имелось множество. В прежние времена церковные имущества, владения короны, лены дворянства были неотчуждаемыми и неотъемлемыми. Если бы, вместо того чтобы уничтожить эту привилегию, Учредительное собрание распространило её на всех граждан, если бы оно провозгласило неотъемлемым право труда, так же как и свободу, то революция была бы завершена и нам бы оставалось только усовершенствовать сделанное.

2. Всеобщее признание не оправдывает собственности

В словах Сэя, приведённых выше, недостаточно ясно видно, ставит ли он право собственности в зависимость от неподвижности земли или от признания этого права всеми людьми. Конструкция его фразы такова, что её можно понимать как в том, так и в другом смысле и даже в обоих вместе. Можно было бы даже утверждать, что автор хотел сказать следующее: право собственности возникло первоначально из упражнения воли. Неподвижность земли дала ему возможность быть приложенным к земле, а всеобщее признание санкционировало это приложение.

Как бы то ни было, разве люди могли бы оправдывать собственность взаимным соглашением? Такой договор, даже если бы редактором его были Гроциус, Монтескьё, Жан-Жак Руссо, даже если бы на нём имелись подписи всего рода человеческого, был бы безусловно равен нулю, и составленный на его основании акт был бы незаконен. Человек не может отказаться от труда, так же как и от свободы; но признание права земельной собственности есть отказ от труда, ибо это есть отказ от средств труда, отказ от естественного права и от человеческого достоинства.

Но пусть это молчаливое или формальное признание существует. Что из этого вытекает? По-видимому, то, что отказы были взаимны: никто не отказывается от права, не получая взамен чего-либо равнозначущего. Таким образом, мы опять возвращаемся к равенству, условию *sine qua non* всякого присвоения. Оказывается, что, оправдав собственность всеобщим признанием, т. е. равенством, мы вынуждены оправдывать неравенство условий собственностью. Из этого заколдованного круга нет выхода. В самом деле: если, согласно тексту общественного договора, условием собственности является равенство, то с момента уничтожения этого равенства договор нарушен и всякая собственность является узурпацией. Таким образом, мы ничего не выигрываем от этого якобы признания всех людей.

3. Давность на собственность невозможна

Право собственности было источником добра и зла на земле, первым звеном той долгой цепи преступлений и бедствий, которую человеческий род влачит за собою с самого своего

возникновения. Ложь давности является чарами, омрачившими умы, дыханием смерти, смутившим сознание для того, чтобы остановить приближение человека к истине, и для того, чтобы поддержать поклонение заблуждению.

Кодекс определяет давность следующим образом: «Средство приобрести и освободиться от обязательств, благодаря промежутку времени». Прилагая это определение к идеям и верованиям, можно воспользоваться словом «давность» для того, чтобы обозначить постоянную склонность к старым предрассудкам, каков бы ни был предмет их, а также оппозицию, нередко бешеную и кровавую, которая во все эпохи встречает новые открытия и которая из мудреца делает мученика. Ни один принцип, ни одно открытие, при своём появлении на свет, не избегли встречи с целым лесом предубеждений и как бы с заговором всех старых предрассудков. Давность, противопоставленная разуму, давность, противопоставленная фактам и всякой неизвестной раньше истине, — вот всё содержание всякой философии status quo и символ консерваторов всех эпох.

Когда возникло христианство, давность была выставлена в защиту насилия, разнузданности и эгоизма; когда Галилей, Декарт, Паскаль и их ученики воскресили философию и науки, давность была выставлена в защиту философии Аристотеля; когда наши отцы в 1789 году требовали свободы и равенства, им противопоставили давность тирании и привилегий: «Собственники всегда существовали и всегда будут существовать». Этой глубокой истиной, последним усилием прижатого к стене эгоизма доктора социального неравенства думают ответить на нападки своих противников, воображая без сомнения, что идеи имеют давность, подобно собственности.

Триумфальное шествие науки и выдающиеся её успехи научили нас не доверять нашим мнениям, и мы с одобрением и с восторгом приветствуем естествоиспытателя, который при помощи тысячи опытов, основываясь на самом глубоком анализе, исследует новый принцип, оставшийся до тех пор не замеченным законом. Мы остерегаемся отвергать какую-нибудь идею, какой-нибудь факт под предлогом, что некогда существовали люди более умные, чем мы, которые не заметили этих самых явлений, не провели тех же самых аналогий. Почему в политических и философских вопросах мы не так сдержанны? Почему мы усвоили эту смешную манеру утверждать, что всё уже сказано, т. е., иными словами, что в области разума и нравственности всё уже известно? Почему поговорка *ничто не ново под луною* придумана как будто исключительно для метафизических исследований?

Происходит это, надо признаться, потому, что мы и до сих пор ещё создаём философию при помощи нашего воображения, вместо того чтобы брать при этом на помощь наблюдение и определённый метод; потому, что до сих пор, вместо рассуждений и фактов, для решения вопросов брались в соображение фантазия и воля, вследствие чего до настоящего времени невозможно было отличить шарлатана от философа, мошенника от учёного. Со времён Соломона и Пифагора воображение изощрялось в угадывании психологических и социальных законов. В этом отношении можно, пожалуй, говорить, что *всё сказано*, но тем не менее *всё ещё должно быть исследовано*. В политике (мы приведём здесь лишь эту отрасль философии) каждый придерживается взглядов, соответствующих его интересам и страстям. Ум подчиняется тому, что ему повелевает воля; наука вовсе ещё не существует; нет ещё и намёков на достоверность. Всеобщее невежество влечёт за собой всеобщую

тиранию, и, между тем как свобода мысли написана в хартии, этой же хартией предписывается, под названием перевеса большинства, рабство мысли.

Продолжая выражаться языком гражданского кодекса, я скажу, что не стану вступать здесь в пререкания по поводу отказа в иске, к которому прибегают собственники; это было бы слишком скучно и торжественно. Каждый знает, что существуют права, которые не могут быть потеряны за давностью. Что же касается вещей, приобретаемых благодаря протёкшему времени, то всем известно, что давность требует определённых условий, и, если одно из них отсутствует, она теряет силу. Если, напр., верно, что обладание собственников было *гражданским, публичным, спокойным и непрерывным*, то верно также и то, что оно лишено было *правооснования*, так как все основания, приводимые ими, т. е. оккупация и труд, говорят столько же в пользу пролетария-истца, сколько и в пользу собственника-ответчика. К тому же это владение лишено добросовестности, так как в основе его лежит юридическая ошибка и так как согласно изречению Павла: *nunquam in usucapionibus juris error possessori prodest* — юридическая ошибка уничтожает давность. В данном случае юридическая ошибка заключается либо в том, что настоящий владелец владеет на правах собственности, между тем как он имеет только право пользования, либо же в том, что он купил вещь, которую никто не имел права отчуждать или продавать.

Другая причина, почему давность не может быть приведена в качестве аргумента в пользу собственности, — причина, извлечённая из самых недр юриспруденции, заключается в том, что право на владение недвижимостью представляет собою часть универсального права, никогда не исчезавшего, даже в самые бедственные эпохи существования человеческого рода, и пролетариям достаточно доказать, что они всегда пользовались известной частью этого права, для того чтобы быть восстановленными в нём вполне. Так, напр., кто имеет общее право владеть, давать, обменивать, отдавать займы, внаём, продавать, видоизменять или даже уничтожить вещь, сохраняет это право целиком, благодаря одному акту отдачи в пользование, хотя бы он даже никогда иным способом не обнаруживал своей власти. Подобным же образом мы видим, что *равенство имущества, равенство прав, свобода, воля, личность* являются тождественными выражениями одной и той же вещи — *права сохранения и развития* — словом, права жить, по отношению к которому давность наступает лишь после смерти личности.

Наконец, что касается срока, установленного для приобретения чего-либо путём давности, то излишне будет доказывать, что право собственности вообще не может быть приобретено никаким владением в течение десяти, двадцати, ста, тысячи и сотен тысяч лет и что, пока будет существовать хоть один человек, способный понять право собственности и оспаривать его, это право никогда не будет приобретаемо давностью. Принцип правоведения, аксиома разума не то же самое, что случайный факт, который может быть и не быть. Один человек может быть лишён своего владения на основании давности владения другого; но подобно тому как владелец не может воспользоваться правом давности против самого себя, так и разум обладает способностью пересматривать и реформировать свои принципы. Заблуждения прошедшего ни к чему не обязывают его в будущем. Разум вечен и всегда тождествен самому себе. Институт собственности — творение разума невежественного — может быть упразднён разумом более развитым, поэтому собственность не может установиться благодаря давности. Всё это безусловно неоспоримо и верно, и на

этом именно основании установилось положение, что для юридических ошибок нет давности.

Но я не был бы верен своему методу, и читатель был бы вправе обвинять меня в шарлатанстве и лжи, если бы я не имел больше ничего сказать ему относительно давности. Выше я говорил, что превращение земли в собственность незаконно и что, если бы даже это было не так, из этого вытекало бы только равенство собственности. Затем я доказал, что всеобщее признание ничего не говорит в пользу собственности и что если бы оно говорило в пользу чего-нибудь, то опять-таки в пользу равенства собственности. Мне остаётся доказать, что давность, если бы её вообще можно было признать, обуславливала бы равенство собственности.

Доказательство этого не будет ни длинным, ни трудным. Стоит вспомнить мотивы, заставившие установить давность.

“ «Давность, — говорит Дюно, — по-видимому, противоречит естественному равновесию, которое не позволяет, чтобы кого-нибудь лишали его имущества вопреки его желанию и без его ведома и чтобы один обогащался в ущерб другому. Но так как, если бы не было давности, часто случалось бы, что добросовестный приобретатель, после продолжительного владения, лишался бы последнего, а тот, кто освободился бы законным путём от обязательств, потерял бы свои права и оказался бы лишённым владения или снова связанным обязательствами, то общественное благо требовало установления срока, после которого запрещалось бы беспокоить владельцев и искать права, остававшиеся слишком долго в пренебрежении... Таким образом, гражданское право только усовершенствовало естественное право и дополнило право родовое, благодаря способу, которым оно регулировало давность. А так как последняя основывается на общественном благе, которое всегда следует предпочитать благу частных лиц — *bono publico usucapio introducta est*, то ей следует благоприятствовать, если она выполняет условия, установленные законом».

Тулье «Droit civil»:

“ «Для того чтобы не оставлять слишком долго под сомнением, вредным для общего блага и нарушающим мир семей и прочность общественных договоров, собственность на вещи, законы установили срок, по истечении которого они отказываются удовлетворять иски и дают владению его древнее преимущество, присоединяя к нему собственность».

Кассиодор говорил о собственности, что она единственная безопасная пристань среди бурь раздоров и корыстолюбия:

hic unus inter humanos procellas portus, quem, si homines fervida voluntate praeterierint in undosis semper jurgiis errabunt{27}.

Таким образом, по мнению авторов, давность есть средство общественного порядка, в некоторых случаях восстановление примитивного приёма достигать фикции гражданского закона, черпающего свою силу в необходимости улаживать споры, которых иначе нельзя было бы уладить. Ибо, как говорит Гроциус, время само по себе не имеет никаких реальных свойств. Всё происходит во времени, но ничто не происходит благодаря ему. Давность или право приобретать, благодаря истечению известного промежутка времени, есть фикция закона, принятая условно.

Однако всякая собственность неизбежно основывалась на давности или, как говорили римляне, на *usucapio*{28}, т. е. на продолжительном владении. И вот я спрашиваю прежде всего: каким образом владение по истечении некоторого промежутка времени может превращаться в собственность? Сделайте владение каким угодно продолжительным, нагромождайте годы и века — никогда вы не достигнете того, чтобы продолжительность, которая сама по себе ничего не создаёт, не изменяет и не переделывает, превратила узуфруктуария в собственника. Пусть гражданский закон признаёт за добросовестным владельцем, доказавшим своё многолетнее владение, право не быть лишённым последнего любым пришельцем; делая это, закон только санкционирует установленное уже право, и давность, применённая таким образом, означает только, что владение, начавшееся 20, 30 или 100 лет назад, обеспечивается за оккупантом. Но когда закон заявляет, что промежуток времени превращает владельца в собственника, он допускает, что право может быть создано без всякой вызывающей его причины. Закон без мотивировки изменяет свойство субъекта, делает постановление относительно того, чего вовсе не было в процессе, и превышает свои полномочия. Общественный порядок и безопасность граждан требовали только гарантий владения — зачем же закон создал собственность? Давность была как бы страхованием будущего — зачем же закон сделал из неё принцип привилегии?

Таким образом, возникновение давности тождественно с возникновением собственности, а так как последняя могла оправдать себя только при формальном условии равенства, то и давность является также одной из тысяч форм, которую приняла потребность сохранить это драгоценное равенство. И это вовсе не пустая индукция — вывод, сделанный без достаточных оснований; доказательства его имеются во всех кодексах.

В самом деле, если все народы, следуя инстинкту справедливости и самосохранения, признали полезность и необходимость давности и если целью их было охранять интересы владельца, то могли ли они ничего не сделать для отсутствующего гражданина, очутившегося вдали от семьи и от родины благодаря торговле, войне или плену и лишённого возможности осуществить каким-нибудь актом своё владение? Нет. Поэтому в то самое время, когда давность возродилась в закон, было признано, что собственность сохраняется в силу одного намерения — *nudo animo*. Но если собственность сохраняется благодаря одному намерению, если она утрачивается только в силу какого-нибудь действия собственника, то какую же пользу может принести давность? Каким образом закон осмеливается предрешать, что собственник, сохраняющий свою собственность благодаря одному только намерению, имел намерение покинуть то, что закон допустил отменить за

давностью? Какой промежуток времени оправдывает подобное предположение? По какому праву закон наказывает отсутствие собственника, лишая его его достояния? Что это значит? Ведь мы раньше убедились, что собственность и давность идентичны, а между тем теперь мы видим, что они уничтожают друг друга.

Гроциус, понимавший трудность этого вопроса, дал на него такой странный ответ, что его стоит привести здесь: «*Bene speradum de hominibus, ac propterea non putandum eos hoc esse animo, ut rei caducae causa, hominern alterrum velint in perpetuo peccato versari, quod evitari saepe non poterit, sine tali derelictione.* (Найдётся ли человек, — говорит он, — с такой нехристианской душой, который из-за пустяка хотел бы увековечить грех владельца, что неизбежно случилось бы, если бы он не захотел отречься от своего права?) Чёрт возьми! Я этот человек. Если бы миллиону собственников пришлось гореть из-за этого в аду до страшного суда, то я всё-таки возложил бы на их совесть ту долю благ этого мира, которой они меня лишают. К своему замечательному рассуждению Гроциус прибавляет ещё следующее: по его мнению, гораздо безопаснее отказаться от сомнительного права, чем жаловаться, нарушать покой народов и разжигать пожар междоусобной войны. Я, пожалуй, согласен с этим, с тем, однако, чтобы меня вознаградили. Но если мне в этом вознаграждении отказывают, то какое дело мне, пролетарию, до покоя и безопасности богатых? *Общественный порядок* так же мало озабочивает меня, как и благосостояние собственников. Я хочу жить трудясь, в противном случае я умру сражаясь.

В какие бы тонкости мы ни пускались, всё-таки давность противоречит собственности или, вернее, давность и собственность являются двумя формами одного и того же принципа, но формами, которые служат друг другу коррективом. Одной из величайших ошибок древней и современной юриспруденции было именно притязание согласовать их. В самом деле, если мы будем видеть в установлении собственности только желание гарантировать каждому его долю земли и его право на труд; в отделении собственности от владения — прибежище, открытое для отсутствующих, для сирот, для всех тех, кто не знает или не умеет защищать своих прав; в давности — только средство либо отвергнуть несправедливые притязания и захваты, либо положить конец недоразумениям, вызванным перемещениями владельцев, то мы убедимся, что в этих различных формах человеческой справедливости обнаруживаются добровольные усилия разума, приходящего на помощь общественным инстинктам, что под этим сохранением всех прав скрывается чувство равенства, постоянная тенденция к уравниванию. Приняв в расчёт рассуждения и внутренние чувства, мы даже в самом преувеличении принципов найдём подтверждение нашей доктрины, ибо если равенство условий и всемирная ассоциация не осуществились ещё, то это произошло потому, что гений законодателей и ложное знание судей служили в течение некоторого времени препятствием здравому рассудку народа, и, между тем как луч истины осветил первобытные общества, первые умозрения вождей их создавали только путаницу.

После первых договоров, после первых попыток законов и конституций, послуживших выражением первых потребностей, миссия правоведов заключалась в усовершенствовании законодательства, в восполнении его изъянов, в согласовании при помощи более точных определений того, что казалось противоречивым. Вместо того правоведы прилепились к букве законов и ограничились рабской ролью комментаторов и буквоедов. Приняв за аксиомы, за вечные и несомненные истины внушения разума, по необходимости слабого и

зablуждающегося, увлечённые общим мнением, порабощённые поклонением букве, правове́ды по примеру богословов почитали непогрешимой истиной, непоколебимым принципом то, что признавалось всеми всегда и везде, — *quod ab omnibus, quod ubique, quod semper*, — как будто всеобщее, но добровольное верование доказывало что-нибудь другое, кроме того, что так всем кажется. Не следует заблуждаться на этот счёт: мнение всех народов может служить для констатирования того, что какой-либо факт воспринят, что закон смутно чувствуется, но оно ничего не может сказать нам о самом факте и о самом законе. Признание человеческого рода есть указание природы, но не закон природы, как говорил Цицерон. Под внешней видимостью скрывается истина, в которую совесть может верить, но которая может быть постигнута только разумом. Таков был ход развития человеческого духа во всём, что касается физических явлений и творения гения; может ли он быть иным в делах совести и управления нашими действиями?

4. Труд сам по себе не обладает ни малейшей способностью присваивать предметы природы

Мы докажем, при помощи афоризмов самой политической экономии и права, т. е. при помощи самых благовидных возражений, какие может представить собственность:

1. Что труд сам по себе не обладает ни малейшей способностью присваивать предметы природы.
2. Что, признав даже за трудом эту способность, мы всё-таки придём к равенству собственности, независимо от характера, уникальности его продукта труда, и неравенства производительных способностей.
3. Что в смысле юридическом труд *уничтожает* собственность.

Следуя примеру наших противников и для того чтоб нельзя было найти за нами ни сучка ни задоринки, мы будем рассматривать этот вопрос как можно беспристрастнее.

Господин Ш. Конт, в *Traité de la propriété*, говорит:

“ «Франция, рассматриваемая как нация, имеет территорию, которая ей принадлежит».

Франция, как один человек, владеет территорией, которой она пользуется, но Франция не является собственницей этой территории. Между нациями происходит то же самое, что и между отдельными людьми: они являются владельцами и работницами; господство над землёй приписывается им благодаря неправильному употреблению слов. Право употребления и право злоупотребления так же мало может принадлежать народу, как и

отдельному человеку. Наступит время, когда война, предпринятая для того, чтобы прекратить злоупотребление землёй со стороны какой-нибудь нации, будет священной войной.

Таким образом, г. Ш. Конт, намеревающийся объяснить, каким образом возникает собственность, и начинающий с предположения, что нация является собственницей, прибегает к софизму, именуемому *ложным умозаключением*, выведенным из недоказанных посылок, что разбивает всю его аргументацию.

Если читатель найдёт, что сомнение в праве собственности нации на её территорию обнаруживает чрезмерное преклонение перед логикой, то я напому ему, что фиктивное право национальной собственности в различные эпохи служило источником притязаний на сюзеренность, на налоги, регалии, личные повинности, на поставку людей, денег и товаров и вследствие этого — причиной отказа от уплаты налогов, причиной восстаний, войн и опустошений.

«На этой территории находятся весьма значительные пространства земли, не перешедшей ещё в частную собственность. Земли эти, покрытые большею частью лесом, принадлежат всей массе населения, и правительство, получающее с них доходы, употребляет или, по крайней мере, *должно употреблять их* в интересах общего блага».

Должно употреблять их! Это хорошо сказано и не даёт возможности солгать.

“ «Пусть земли эти будут назначены в продажу...»

Почему назначены в продажу? Кто имеет право продать их? Если бы даже нация была собственницей, то вправе ли нынешнее поколение обездоливать будущие? Народ владеет на правах узурфруктуария; правительство управляет, надзирает, защищает и заботится о справедливом распределении; если даже оно и уступает какие-либо участки земли, то может уступать их только в пользование. Оно не имеет права ни продать, ни отчуждать что бы то ни было. Не будучи собственником, правительство не может и передавать собственность.

“ «Пусть предприимчивый человек купит часть этих земель, напр., громадные болота; узурпации здесь не будет никакой, так как общество получит сполна всю стоимость их из рук правительства и после продажи будет не беднее, чем до неё».

Это становится смешным. Как! Эта продажа будет правильной и законной потому, что расточительный, неосторожный или неловкий министр *продаёт* государственные имущества и я, состоящий под опекой государства, не имеющий ни совещательного, ни решающего голоса в государственном совете, не могу воспротивиться этой продаже? Опекуны народа расточают его достояние, и он ничего не может поделать против этого! Вы говорите, что я из рук правительства получил свою долю суммы, вырученной от продажи; но ведь я прежде всего вовсе не хотел продавать, а если бы даже и хотел, то не мог бы этого сделать, ибо не

имел на это права. Кроме того, я вовсе не нахожу, чтоб эта продажа была выгодна. Мои опекуны одели нескольких солдат, починили какие-нибудь старые укрепления, соорудили несколько дорогих и жалких памятников своего честолюбия; затем они устроили фейерверк и поставили несколько призовых столбов для лазания. Какое значение всё это может иметь в сравнении с тем, что я теряю?

Приобретатель ставит изгороди, запирается в них и говорит: это принадлежит мне, всяк сам по себе и для себя. Таким образом получается участок земли, на который никто, кроме собственника и его друзей, не имеет права даже ступить ногой, который никому, кроме собственника и его слуг, не может принести пользы. Пусть такая продажа примет широкие размеры, и тогда народ, не желавший и не имевший права продавать, не получивший вырученной при продаже суммы, не будет больше иметь места, где бы он мог сеять и жать, где бы мог отдыхать и даже жить. Он пойдёт умирать с голоду у дверей собственника, рядом с той самой собственностью, которая была его достоянием. Собственник же, видя, как он умирает, скажет: вот как погибают бездельники и трусы!

Для того чтобы заставить признать эту узурпацию собственника, г. Ш. Конт делает вид, будто ценность земель в момент продажи понижается.

“ «Надо остерегаться, чтобы не преувеличить значения этих узурпаций. Их следует оценивать сообразно с тем, какое количество людей могли содержать захваченные земли, а также какое количество средств они доставили этим людям. Очевидно, напр., что если пространство земли, стоящее теперь 1000 франков, стоило только 5 сантимов, когда она была захвачена, то ценность захваченного равняется в действительности только пяти сантимам. Квадратная миля земли когда-то едва давала возможность дикарю жить в крайней нужде; в настоящее время она может дать средства для существования тысячи людей. $\frac{999}{1000}$ всей собственности являются законной собственностью владельцев, следовательно, они узурпировали только $\frac{1}{1000}$ теперешней стоимости этой собственности».

Крестьянин на исповеди признался, что уничтожил документ, согласно которому он должен был уплатить 100 экю. Исповедник сказал: нужно отдать эти сто экю. Нет, ответил крестьянин. Я верну два лиара за лист бумаги.

Аргументация г. Ш. Конта напоминает нам простодушие этого крестьянина. Земля имеет ценность не только настоящего своего состояния, но также ценность будущего, которая зависит от нашего умения использовать её. Уничтожьте вексель, чек, процентную бумагу; уничтожив бумагу, вы уничтожите ценность, равную почти нулю, но вместе с этой бумагой вы уничтожите ваше право, а уничтожив своё право, вы теряете собственность. Уничтожьте землю или, что для вас то же самое, продайте её. Вы этим не только отчуждаете два или три урожая, но вы уничтожаете все продукты, какие могли бы извлечь из неё вы, ваши дети и дети ваших детей.

Когда г. Ш. Конт, апостол собственности и панегирист труда, допускает отчуждение площади земли со стороны государства, то не следует думать, что он сделал это допущение

без причины. Это ему было нужно. Так как он отрицал теорию завладения и так как знал, кроме того, что труд не создаёт права без предшествующего ему разрешения на завладение, то он был вынужден предоставить право этого разрешения авторитету правительства, а это означает, что принципом собственности является суверенность народа или, иными словами, всеобщее признание. Относительно последнего предрассудка мы уже высказывались.

Говорить, что собственность есть дочь труда, и в то же время делать труду уступку, для того чтобы он мог проявляться, — это значит, если я не ошибаюсь, создавать заколдованный круг. Мы увидим далее, к каким противоречиям это поведёт.

“ «Определённое пространство земли не может производить больше продуктов, чем нужно для потребления одного человека в течение одного дня. Если владелец, посредством своего труда, сумеет заставить землю производить столько, сколько нужно на два дня, то он удвоит ценность этой земли, и эта новая ценность является делом его рук, его творением; он ни у кого не похитил её, она представляет его собственность».

Я утверждаю, что владелец вознаграждается за свои труды и за свою предприимчивость удвоившимся урожаем, но что он не приобретает никакого права на землю. Пусть трудящийся становится владельцем продукта, я это допускаю, но я не понимаю, каким образом собственность на продукты влечёт за собой собственность на землю, производящую эти продукты. Ведь не делается же рыбак, который на одном и том же месте ловит больше рыбы, чем его собратья, благодаря своей ловкости, собственником этого места. Разве ловкость стрелка давала когда-нибудь последнему право собственности на дичь данного округа? Аналогия же здесь полная: трудолюбивый земледелец находит в более обильном и лучшем по качеству урожае награду за своё усердие; если он улучшил землю, то имеет право на преимущество как владелец. Никогда и никоим образом нельзя допустить, чтобы он, на основании своего искусства, мог претендовать на право собственности на землю, которую он обрабатывает.

Для того чтобы превратить владения в собственность, нужно нечто иное, чем труд, ибо в противном случае человек перестал бы быть собственником с того самого момента, когда он перестал быть работником. Согласно закону, собственность создаётся незапамятным, неоспоримым владением, одним словом, давностью. Труд есть только осязательный знак, материальный акт, посредством которого проявляется оккупация; если поэтому земледелец остаётся собственником после того, как он перестал работать и производить, если владение, вначале уступленное, затем терпимое, сделалось в конце концов неотчуждаемым, то это произошло благодаря преимуществам, предоставленным гражданскими законами, и в силу принципа завладения. Это до такой степени верно, что нет ни одного договора продажи, ни одного условия аренды или найма, ни одной процентной бумаги, которая не предполагала бы этого. Я приведу здесь лишь один пример.

Сообразно с чем оценивается недвижимая собственность? Сообразно с прибылью, которую она даёт. Если участок земли приносит 1000 франков, то говорят, что, капитализированная

из 5%, эта земля стоит 20 000 франков, из 4% — 25 000 и т. д. Это значит, иными словами, что через двадцать или двадцать пять лет цена этой земли возвратится покупателю. Если, таким образом, через известный промежуток времени цена какой-нибудь недвижимости оказывается вполне оплаченной, то почему же покупатель продолжает быть собственником? Благодаря праву завладения, без которого всякая продажа была бы выкупом.

Таким образом, теория присвоения посредством труда противоречит кодексу, и когда защитники этой теории хотят пользоваться ею для объяснения законов, то они противоречат самим себе.

“ «Если люди умудряются сделать плодородной землю, которая ничего не давала и, даже более того, была вредоносна, как напр., некоторые болота, то они тем самым создают собственность всю целиком».

Зачем преувеличивать, зачем говорить двусмысленности, как будто имеется в виду навести кого-нибудь на ложный след? *Они создают собственность всю целиком*; вы хотите сказать, что они создают производительную способность, которой раньше не существовало; но эта способность может быть создана лишь при условии существования материи, на которой она основывается. Вещество земли остаётся одно и то же, изменяются только её свойства и особенности. Человек создал всё, всё, исключая саму материю. И вот я утверждаю, что человек может только владеть и пользоваться этой материей при условии постоянного труда, дающего ему временно право собственности на продукты, которые он произвёл.

Итак, первый пункт разрешён: собственность на продукт, даже если она допустима, не влечёт за собой собственности на орудия производства этого продукта. Мне кажется, что это положение не требует более пространных доказательств. Существует тождество между солдатом, владельцем своего оружия, каменщиком, владельцем доверенных ему материалов, рыбаком, владельцем вод, охотником, владеющим полями и лесами, и земледельцем, владеющим землёю. Все они, если угодно, собственники своего продукта, но ни один из них не является собственником орудий своего труда. Право на продукт труда исключительно; это *jus in re*, право на орудия труда общее; это — *jus ad rem*.

5. Труд ведёт к равенству собственности

Допустим, однако, что труд даёт право собственности на материю; почему же этот принцип не является универсальным, почему выгоды этого якобы закона предоставлены незначительной группе людей, почему в них отказано массе трудящихся? Одного философа, утверждавшего, что когда-то все животные родились из земли, согретой лучами солнца, наподобие того, как из неё появляются грибы, спросили, почему теперь земля не производит ничего таким способом? На это он ответил, что земля состарилась и утратила свою плодovitость. Быть может, и труд, прежде такой плодотворный, также сделался

бесплодным? Почему арендатор не приобретает теперь, посредством труда, той земли, которую некогда приобрёл трудом же собственник?

Потому что земля уже сделалась собственностью, отвечают нам. Это не ответ. Имение сдано в аренду с условием уплаты по 50 буасо с гектара. Талант и трудолюбие арендатора удваивают доход с этого имения, излишек дохода является делом рук арендатора. Допустим, что собственник земли, проявляя редкую умеренность, не забирает этого излишка путём повышения арендной платы и предоставляет земледельцу пользоваться плодами его трудов. Справедливость в таком случае ещё вовсе не удовлетворена. Улучшив землю, арендатор создал новую ценность, входящую в данную собственность, и поэтому имеет право на известную долю в ней. Если имение стоило первоначально 100 000 франков, а благодаря трудам арендатора приобрело стоимость 150 000 франков, то арендатор, создатель этой добавочной стоимости, есть законный собственник одной трети всего имения. Даже г. Ш. Конт не может опровергнуть этого вывода, ибо он сам сказал:

“ «Люди, делающие землю более плодородной, так же полезны своим ближним, как если б они создавали новые участки земли».

Почему же это правило неприменимо к тому, кто улучшает землю, если оно применимо к тому, кто её впервые распахивает? Благодаря труду последнего ценность земли равняется единице, благодаря труду первого ценность эта удваивается, и тот и другой создали равные ценности, почему же они не могут получить равные доли собственности? Я сомневаюсь, чтобы против этого можно было возразить что-нибудь основательное, не сославшись снова на право первого завладения.

Мне могут возразить, однако, что исполнение моего требования не повлечёт за собою особенно значительного раздробления собственности. Ценность земли не возрастает до бесконечности; после двух-трёх улучшений земля быстро достигает максимума своего плодородия. То, что агрономия прибавляет к нему, зависит в большей степени от прогресса наук и от распространения просвещения, нежели от искусства земледельцев. Таким образом, возможность присоединить нескольких работников к общей массе собственников не может служить аргументом против собственности.

Если б все наши усилия привели только к распространению привилегии на землю и монополии в промышленности на несколько сотен человек из миллионной массы пролетариев, то это было бы весьма жалким результатом. И тот, кто приписал бы нам эту цель, показал бы только своё непонимание наших идей, своё невежество и нелогичность.

Если работник, увеличивший ценность вещи, имеет право на собственность, то работник, поддерживающий эту ценность, приобретает такое же право. Ибо что значит поддерживать? Это значит непрестанно прибавлять, непрестанно создавать вновь.

Что значит культивировать землю? Это значит ежегодно возобновлять её ценность, препятствовать уменьшению или уничтожению ценности земли. И вот, допуская, что существование собственности явление рациональное и законное, что аренда явление справедливое, я утверждаю, что тот, кто культивирует землю, приобретает такое же право

собственности на неё, как и тот, кто её впервые распахивает или улучшает, и что каждый раз, когда арендатор уплачивает арендную плату, он получает на поле, отданное на его попечение, дробь права собственности, знаменателем которой является сумма его арендной платы. Если вы не согласитесь с этим, то должны будете признать произвол и тиранию, кастовые привилегии и рабство.

Кто трудится, тот становится собственником — этот факт нельзя отрицать при современном состоянии экономической науки и права. Но когда я говорю «собственник», я не разумею при этом, подобно иным лицемерным экономистам, собственника своего жалования или заработной платы, а собственника созданной вновь ценности, из которой извлекает выгоду один лишь хозяин земли.

Так как всё это имеет отношение к теории заработной платы и распределения продуктов и так как этот вопрос никогда ещё серьёзно не обсуждался, то я позволю себе остановиться на нём; это будет бесполезно для нашей цели. Многие толкуют о том, что надо допустить трудящихся к участию в прибыли; но это участие должно носить чисто благотворительный характер. Никто никогда не утверждал, а быть может, даже и не подозревал, что это участие — естественное, необходимое право, свойственное труду, неотделимое от понятия производителя, хотя бы это был последний чернорабочий.

Вот какое положение предлагаю я. *Работник, даже после получения им заработной платы, сохраняет естественное право собственности на произведённую им вещь.*

Продолжаю цитировать г. Ш. Конта:

“ «Для осушения этого болота, для выкорчёвывания деревьев и кустов — словом, для очистки почвы употреблялись рабочие; они увеличили ценность земли, превратили её в более значительную собственность. Прибавленная ими ценность выплачивается им в виде пищевых припасов, выданных и в виде подённой платы; ценность же эта становится собственностью капиталиста».

Такой платы работникам мало: труд их создал ценность, и эта ценность является их собственностью. Но они её не продавали и не обменивали, а вы, капиталист, вовсе не приобрели её. Так как вы доставляли материал для работы и пищу для работающих, то вы имеете право на известную долю всего; вы содействовали производству и поэтому должны получить право на участие в пользовании продукта. Но ваше право не может упразднить права рабочих, которые вопреки вашей воле были вашими товарищами в деле производства. Что вы толкуете о заработной плате? Деньги, которые вы уплатили рабочим за их труд, составят лишь незначительную часть дохода вечного, оставленного вам рабочими. Заработная плата есть расход на содержание и возобновление сил рабочего; вы напрасно считаете её ценою, уплаченную при покупке. Рабочий ничего не продал: он не знает ни своих прав, ни размеров сделанной вам уступки, ни смысла договора, который вы якобы заключили с ним. С его стороны видим полное неведение; с вашей же, если уж нельзя сказать — обман и надувательство, то во всяком случае — заблуждение и хитрость.

Другой пример, быть может, лучше и полнее пояснит нашу мысль.

Всем известно, какого труда стоит превращение необработанной земли в обработанную и плодородную. Труд этот так велик, что отдельный человек в большинстве случаев погиб бы, прежде чем ему бы удалось привести землю в такое состояние, когда она могла бы прокормить его. Для приведения земли в такое состояние необходимы объединённые усилия целого общества и всех ресурсов промышленности. Г-н Ш. Конт приводит целый ряд достоверных фактов, подтверждающих эту мысль, не замечая при этом, что он таким образом собирает факты, опровергающие его собственную теорию.

Предположим, что колония, состоящая из двадцати или тридцати семей, поселяется в дикой местности, поросшей лесом и кустарником и уступленной ей согласно договору с туземцами. Каждая из семей обладает известным капиталом, хотя и небольшим, но достаточным для колониста и заключающимся в животных, зерновом хлебе, земледельческих орудиях, а также в небольшой сумме денег и съестных припасов. Разделив весь участок земли, колонисты устраиваются каждый по-своему и принимаются за распашку своих наделов. Но через несколько недель после невероятных, утомительных и почти безуспешных усилий колонисты наши начинают роптать: ремесло их кажется им тяжёлым, условия труда невыносимыми; они проклинают своё жалкое существование.

Вдруг один из самых рассудительных в колонии режет свинью, солит часть мяса, а остальную часть решает пожертвовать и отправляется к своим товарищам по несчастью. Друзья, говорит он им, как много вы работаете, как мало достигаете и как плохо вы живёте! Две недели труда довели вас до крайности... Заключим условие, которое все выгоды предоставит вам; я буду вас кормить и поить; в день вы будете зарабатывать столько-то; мы будем работать вместе, и, ей-богу, друзья, мы будем счастливы и довольны.

Могут ли устоять голодные желудки перед таким соблазном? Самые нуждающиеся следуют призыву хитрого предпринимателя. Работа закипает; взаимная помощь, удовольствие быть в обществе, соревнование удваивают силы; дело быстро подвигается вперёд; природу побеждают с песнями и со смехом; вскоре земля меняет свой вид, подготовленная почва ждёт посева. Тогда собственник расплачивается со своими рабочими, они покидают его с благодарностью и с сожалением вспоминают о счастливых днях, проведённых вместе с ним.

Другие колонисты следуют примеру своего предприимчивого собрата и тоже достигают полного успеха; когда им удаётся устроиться, остальные возвращаются к своим участкам и принимаются за раскорчёвку. Но во время раскорчёвки надо чем-нибудь жить. Пока они корчевали у соседа, они у себя не делали ничего, время для посева упущено, один год уже прошёл. Люди рассчитывали на то, что, продав свой труд, они могут только выиграть, сберегая свои запасы и получая сверх того ещё и деньги. Но расчёт оказался неверным. Они создали для другого орудия труда, но для себя не создали ничего; распахать землю по-прежнему трудно; одежда изнашивается, запасы истощаются, скоро и кошелёк пустеет. Выгадывает от этого опять-таки тот, для кого остальные работали; он один может доставить недостающие припасы, ибо он один имел возможность обработать своё поле. Затем, когда все средства бедного колониста истощены, является, подобно сказочному чудовищу, издали чующему свою жертву, наш прежний доброжелатель. Одному он

предлагает снова взять его на подённую работу, другому — продать за хорошую цену часть этой плохой земли, которая лежит и будет лежать втуне. Иными словами, доброжелатель заставляет одного обрабатывать землю другого в его, доброжелателя, пользу. Таким образом, лет через двадцать из тридцати колонистов, обладавших первоначально одинаковыми состояниями, пять или шесть сделаются собственниками всего участка земли, остальные же окажутся ограбленными... самым доброжелательным образом.

В наш век буржуазной морали нравственное чувство настолько атрофировалось, что я ничуть не буду удивлён, если многие честные собственники искренно спросят меня, что я во всём этом вижу дурного, несправедливого и незаконного. Грязные душонки! живые мертвецы! можно ли убедить вас, если вы даже, глядя на явное воровство, не понимаете, что это именно воровство! Человек при помощи ласковых и вкрадчивых слов сумел заставить других работать в его пользу; затем, обогащённый их трудами, он отказывается дальше содержать, на продиктованных им же условиях, людей, создавших его благосостояние... и вы спрашиваете, что в его поведении есть дурного? Под предлогом, что он уже уплатил своим рабочим, что он им ничего не должен, что он не может помогать другим, ибо у него есть своя работа, он отказывается, повторяю я, помочь устроиться другим, как они помогали ему. А когда покинутые им работники, беспомощные благодаря своему одиночеству, вынуждены продать своё имущество, этот неблагодарный собственник и хитрый предприниматель извлекает выгоду из их разорения. И вы находите, что это справедливо? Берегитесь! В ваших испуганных взглядах я замечаю не простодушное удивление человека, бессознательно остававшегося в неведении, а скорее упрёки нечистой совести.

Капиталист, говорят, заплатил рабочим *подённую плату*. Для того чтоб быть точным, надо сказать, что капиталист столько раз заплатил рабочим подённую плату, сколько он каждый день занимал рабочих, а это не совсем одно и то же. Дело в том, что капиталист не оплатил громадной силы, возникающей благодаря сотрудничеству рабочих, благодаря одновременности и гармонии их усилий. Двести гренадеров в течение нескольких часов установили луксорский обелиск; можно ли допустить, что человек в течение 200 часов также мог бы сделать это, а ведь, по расчёту капиталистов, вознаграждение как 200 гренадерам, так и этому человеку должно быть одинаково. Между тем пустыня, которую нужно превратить в обработанное поле, дом, который нужно построить, фабрика, которую нужно эксплуатировать, представляют своего рода обелиск, своего рода гору, которую надо сдвинуть с места. Самое маленькое состояние, самое ничтожное предприятие требуют такого количества одновременной работы и такой многосторонности, каких один человек никогда не может проявить. Удивительно, что экономисты до сих пор не замечали этого. Посмотрим же теперь, что капиталист получил и что он дал в обмен.

Работнику нужна плата, которая давала бы ему возможность жить во время процесса труда, ибо производить он может, только потребляя. Тот, кто даёт человеку работу, должен давать ему также пищу и содержание или соответствующее вознаграждение; это первое и необходимое условие всякого производства. Предположим покамест, что капиталист исполнил его.

Необходимо, чтобы рабочий кроме своего нынешнего пропитания нашёл в своём производстве гарантию пропитания в будущем, в противном случае источник продукта иссякнет и его производительность исчезнет. Иными словами, необходимо, чтобы труд предстоящий постоянно возрождался из труда уже выполненного — таков всеобщий закон воспроизводства. Таким образом, собственник-земледелец находит: 1) в своих урожаях средства не только для того, чтобы прожить вместе с семьёю, но также для того, чтобы поддерживать и улучшать своё хозяйство, для того, чтобы разводить животных, одним словом, для того, чтобы продолжать работать и воспроизводить; 2) в собственности на средства производства постоянную гарантию сохранения источника эксплуатации и труда.

Каков источник эксплуатации для того, кто продаёт свой труд? Мы предполагаем, что собственник нуждается в нём и согласен дать ему занятие. Как прежде крестьянин получал свою землю благодаря щедрости и благосклонности сеньора, так в наше время рабочий получает работу потому, что она нужна хозяину и собственнику. Это значит владеть на основании права, которое может быть отменено. Но самое это право является несправедливостью, потому что обуславливает собою неравенство договаривающихся сторон. Вознаграждение рабочего не превышает его постоянных расходов и не обеспечивает ему вознаграждения в будущем, между тем как капиталист находит в орудии, произведённом рабочим, залог независимости и обеспеченности в будущем.

И вот этим-то воспроизводительным ферментом, этим вечным зародышем жизни, подготовлением фонда и средств производства капиталист обязан производителю, которого он никогда вполне не вознаграждает. Именно это мошенническое утаивание ведёт к объединению трудящихся, к роскоши бездельников и к неравенству условий жизни. В нём-то главным образом и заключается то, что так удачно было названо эксплуатацией человека человеком.

Возможно только одно из трёх: либо рабочий будет получать свою долю продукта, произведённого им совместно с хозяином, за вычетом своего жалованья, либо хозяин вернёт рабочему эквивалент производительных услуг, либо же, наконец, он обяжется давать ему работу всегда. Раздел продукта, взаимность услуг или гарантия постоянного труда — вот что представляется на выбор капиталисту; но очевидно, что он не может исполнить второго и третьего из этих условий. Он не может ни отплатить услугой за услугу тысячам рабочих, которые непосредственно или косвенно создали его благосостояние, ни давать им всем и всегда работу. Остаётся, следовательно, раздел продукта. Но если продукт будет разделён, то все условия будут равны и не будет больше ни крупных капиталистов, ни крупных собственников.

И вот когда г. Ш. Конт, продолжая свою гипотезу, показывает нам своего капиталиста приобретающим последовательно собственность на все вещи, за которые он платит, он всё больше и больше запутывается в своём жалком паралогизме, а так как аргументация его не изменяется, то не изменяется также наше опровержение.

“ «Другие рабочие заняты постройкою; одни заготавливают камень в каменоломнях, другие перевозят его, третьи обтёсывают, а четвёртые

укладывают на место. Каждый из них прибавляет к веществу, проходящему через его руки, известную ценность, и эта ценность — продукт его труда и составляет его собственность. По мере того как она образуется, он продаёт её собственнику земли, который платит ему деньгами и пищевыми продуктами».

Divide et impera! (разделяй и властвуй!). Разделяй, и ты сделаешься богатым; разделяй, и ты обманешь людей, ослепишь их разум и насмеёшься над справедливостью. Отделите работников друг от друга, и тогда, быть может, заработная плата каждого превысит ценность каждого индивидуального продукта; но ведь речь идёт вовсе не об этом. Труд тысячи людей, работающих в течение двадцати дней, оплачивается так же, как оплачивался бы труд одного человека, если бы он проработал 55 лет. Но труд этой тысячи людей в течение двадцати дней сделал то, чего усилиями одного человека не удалось бы достигнуть и в миллионы веков. Справедливо ли это? Ещё раз повторяю: нет! Если даже вы оплатили все индивидуальные силы, то вы не оплатили силы коллективной, следовательно, всегда останется коллективное право собственности, которого вы не приобретали и которым вы пользуетесь несправедливо.

Пусть двадцатидневная заработная плата достаточна для того, чтобы эта масса людей могла питаться, одеваться и нанимать себе квартиру в течение двадцати дней. Что делать этим людям, когда, по истечении двадцати дней, работа прекращается и если они, по мере создания продуктов, предоставляют их собственникам, которые вскоре бросят их на произвол судьбы. Между тем как собственник, благодаря помощи всех трудящихся, отлично устраивается, живёт в довольстве и не имеет надобности бояться недостатка работы и хлеба, рабочий может надеяться только на благосклонность этого же самого собственника, которому он продал свою свободу. Если собственник, довольствуясь приобретённым состоянием и правами, откажется дать занятие работнику, что тогда станет с последним? Он подготовил прекрасную почву, но ему не удастся сеять на ней. Он построил удобный и роскошный дом, но жить в нём не будет. Он произвёл всё, но не будет пользоваться ничем.

Труд ведёт нас к равенству; каждый шаг, который мы делаем, всё больше приближает нас к нему. Если бы силы, прилежание и изобретательность рабочих были одинаковы, то, очевидно, были бы одинаковы и их состояния. В самом деле, если бы, как утверждают и как мы допустили выше, работник являлся бы собственником создаваемой им ценности, то отсюда следовало бы:

1. Что трудящийся приобретает за счёт бездеятельного собственника.
2. Что так как производство по необходимости коллективно, то рабочий имеет право на участие в продуктах и в прибыли соразмерно выполненному им труду.
3. Что всякий накопленный капитал, будучи собственностью общественной, отнюдь не может быть объектом собственности частной.

Эти выводы неопровержимы. Их одним было бы достаточно для того, чтобы перевернуть всю нашу политическую экономию, чтобы изменить наши учреждения и законы. Почему же, кто

установил самый принцип, отказываются следовать ему? Почему все эти господа Сэй, Конты, Геннекены и проч., утверждавшие, что собственность создаётся трудом, стараются теперь иммобилизовать её, приписывая её происхождение захвату и давности?

Предоставим, однако, этих софистов их противоречиям и их ослеплению. Здравый смысл народа по достоинству сумеет оценить их увёртки. Постараемся просветить народ и указать ему путь. Равенство приближается. Мы отделены от него уже небольшим промежутком. Завтра он будет пройден.

6. В обществе все вознаграждения за труд равны

Когда сенсимонисты, фурьеристы и вообще все те, кто в настоящее время занимается социальной экономией и реформами, пишут на своём знамени:

«Каждому по его способностям, каждой способности по делам её» (*Сен—Симон*);

«Каждому сообразно его капиталу, труду и таланту» (*Фурье*), они хотя и не говорят этого определённо, но подразумевают, что произведения природы, созданные трудом и искусством, являются вознаграждением, премией, венцом для всякого рода выдающихся и замечательных способностей. Они смотрят на землю как на громадное ристалище, на котором соперничают уже, правда, не при помощи копий и мечей, не при помощи силы и обмана, но при помощи приобретённых богатств, знаний, талантов и даже добродетелей. Одним словом, они и вместе с ними весь свет подразумевают, что наибольшие способности должны получать наибольшее вознаграждение и что — да позволено мне будет воспользоваться коммерческим термином, который по крайней мере не страдает двусмысленностью, — жалованье должно быть пропорционально заслугам и способностям.

Ученики наших двух якобы реформаторов не могут отрицать, что мысль их была именно такова, ибо отрицание это противоречило бы их официальным заявлениям и нарушило бы целостность их систем. Впрочем, такого отрицания с их стороны нечего опасаться: обе эти секты считают делом чести возвести в принцип неравенство условий по аналогии с природой, которая, как они утверждают, сама стремится к неравенству способностей. Эти секты надеются только, что благодаря предлагаемой ими политической организации неравенство социальное всегда будет соответствовать неравенству естественному. Что же касается вопроса об осуществимости неравенства условий, я разумею при этом неравенство жалований, то они заботятся об этом так же мало как и об определении способностей[14].

Каждому по его способностям, каждой способности по делам её.

Каждому сообразно его капиталу, труду и таланту.

С тех пор, как Сен-Симон умер, а Фурье стал противоречить самому себе, никто из их многочисленных сторонников не пытался дать публике научное изложение этого великого

изречения, и я готов прозакладывать сто против одного, что ни один фурьерист даже и не подозревает, что этот двусторонний афоризм поддаётся двум различным толкованиям.

Каждому по его способностям, каждой способности по делам её.

Каждому сообразно его капиталу, труду и таланту.

Это положение понято, как говорится, *in sensu obvio*, т. е. во внешнем, вульгарном смысле, ложно, абсурдно, несправедливо, противоречиво, враждебно свободе, тиранично, антисоциально и возникло безусловно под непосредственным влиянием собственнического предрассудка.

Прежде всего из элементов, получающих вознаграждение, должен быть исключён *капитал*. Судя по некоторым брошюрам фурьеристов, с которыми я успел познакомиться, они отрицают право завладения и не признают иного принципа собственности, кроме труда. При такой предпосылке они если бы вдумались, то поняли бы, что капитал для своего собственника производит только на основе права завладения и, следовательно, такое производство незаконно. В самом деле, если труд есть единственный принцип собственности, я перестаю быть собственником по мере того, как другой, эксплуатируя моё поле, выплачивает мне за него аренду. Мы доказали это при помощи неопровержимых доводов. То же самое можно сказать относительно всех капиталов. Поэтому поместить капитал в какое-нибудь предприятие — значит, согласно строгому смыслу права, обменять этот капитал на эквивалентную сумму продуктов. Я не буду здесь пускаться в бесполезные рассуждения по этому поводу, тем более что я намерен в следующей главе основательно заняться исследованием того, что называют *производством при посредстве капитала*.

Итак, капитал может быть предметом обмена, но не может быть источником дохода.

Остаются *труд и талант* или, по выражению Сен-Симона, *дела и способности*. Их я теперь и рассмотрю последовательно.

Должно ли жалованье быть пропорциональным труду, иными словами, справедливо ли, чтобы тот, кто больше делает, больше и получал? Заклинаю читателя удвоить здесь своё внимание.

Чтобы сразу решить эту проблему, достаточно поставить следующий вопрос: является ли труд *условием* или *борьбою*? Мне кажется, что относительно ответа не может возникнуть никаких сомнений.

Бог сказал человеку: в поте лица своего будешь ты есть хлеб свой, иными словами: ты сам будешь производить твой хлеб; с большим или меньшим удовольствием, смотря по тому, насколько ты сумеешь направлять и регулировать свои силы, ты будешь трудиться. Бог не сказал: ты будешь отнимать хлеб у твоего ближнего, но сказал: ты будешь трудиться рядом со своим ближним и оба вы будете жить в мире. Попытаемся развить дальше смысл этого закона, крайняя простота которого могла бы подать повод к двусмысленным толкованиям.

В труде следует различать две вещи: *ассоциацию* и *подлежащий эксплуатации материал*.

В качестве членов ассоциации, союзников, трудящиеся равны, и было бы противоречием, если бы один получал больше другого. Так как продукт одного работника не может быть оплачен иначе как продуктом другого рабочего, то, раз продукты эти не равны, остаток или разница между продуктами более сильного и более слабого не может быть приобретена обществом, и, следовательно, не вступив в обмен, не может нарушить равенства вознаграждения. Отсюда для более сильного работника может возникнуть, если угодно, неравенство естественное, но отнюдь не социальное, ибо никто не утратит своей силы и своей производительной способности. Одним словом, общество обменивает равные продукты, т. е. оплачивает только работу, сделанную для него. Вследствие этого оно одинаково оплачивает всех трудящихся; то, что они могли бы произвести вне общества, так же мало касается последнего, как различие их голосов или цвета их волос.

Можно подумать, что я сам устанавливаю принцип неравенства. На самом деле происходит обратное: сумма работ, которые могут быть сделаны для общества, т. е. работ, поддающихся обмену при данных средствах эксплуатации, тем больше, чем больше число работников и чем более ограничена задача, поставленная перед каждым из них. Отсюда следует, что естественное неравенство нейтрализуется всё больше по мере того, как расширяется ассоциация, и что большая сумма потребительных ценностей производится сообща. Таким образом, единственной вещью, которая могла бы восстановить в обществе неравенство труда, было бы право захвата, право собственности.

Предположим, что эта ежедневная общественная задача, заключающаяся в обработке земли, прополке, сборании жатвы и т. д., составляет два квадратных декаметра и что в среднем для выполнения её нужно семь часов труда: один рабочий выполнит свой урок за 6 часов, другой за 8, большинство же употребит для выполнения его 7 часов. Но сколько бы каждый из них не затратил на это времени, вознаграждение они получают равное, раз урок выполнен.

Имеет ли право работник, способный выполнить свой урок за 6 часов, отнимать у рабочего менее искусного его работу под предлогом своей большей силы и большей ловкости и лишать его таким образом труда и хлеба; кто осмелился бы утверждать это? Пусть тот, кто кончит свою работу раньше других, отдыхает, если ему угодно, пусть он для поддержания своих сил и развития своего духа, а также для развлечения занимается упражнениями и полезным трудом, он может это делать, не принося никому вреда, но пусть воздерживается от корыстных услуг. Сила, гений, трудолюбие и все вытекающие из них личные преимущества представляют собою творения природы и, до известной степени, индивидуума. Общество оценивает их по достоинству, но платит им не за то, что они могут произвести, но за то, что они производят; и вот сумма произведений каждого ограничивается правами всех.

Если бы протяжение земли было бесконечно, а количество материи, поддающейся эксплуатации неистощимо, всё-таки нельзя было бы следовать положению: *каждому согласно его труду*; а почему? Потому что, повторяю, общество, из какого бы числа людей оно не состояло, может давать им всем только одинаковое вознаграждение, так как оно платит им их собственными продуктами. Впрочем, согласно допущенной нами гипотезе, ничто не может помешать более сильным использовать свои преимущества, и вследствие

этого внутри самого общественного равенства могли бы воскреснуть недостатки естественного неравенства. Но земля, в смысле производительной силы её населения и способности последнего к размножению, весьма ограничена. Кроме того, благодаря громадному разнообразию произведений и крайнему разделению труда, социальный урок легко выполнить. И вот именно этой ограниченностью могущих быть произведёнными вещей и лёгкостью их произведения нам дан закон абсолютного равенства.

Да, жизнь — борьба, но это отнюдь не борьба человека с человеком; это борьба человека с природой; каждый должен принимать в ней личное участие. Если в этой борьбе сильный помогает слабому, он заслуживает похвалы и любви; но помощь его должна быть принята добровольно, а не навязана насильно, за известную плату. Всем предстоит один путь, не слишком продолжительный и не слишком трудный; всякий выполнивший его получает своё вознаграждение, нет никакой надобности быть первым.

В типографиях, где каждый рабочий обыкновенно занят отдельной работой, наборщик получает определённую плату за тысячу набранных букв, печатник — за тысячу отпечатанных листов. Здесь, так же как и повсюду, встречается неравенство таланта, так же как умения. Когда нет оснований опасаться безработицы и застоя в делах, когда нет недостатка в материале для печатания, каждый волен обнаружить своё усердие, развернуть во всю ширь свои способности. Тогда тот, кто сделает больше, зарабатывает больше, кто сделает меньше, меньше и зарабатывает. Когда количество печатного материала уменьшается, наборщики и печатники распределяют между собою работу; всякий желающий заработать больше других считается воров и предателем.

В этом поведении типографских рабочих проявляется философия, до которой никогда не умели возвыситься ни экономисты, ни законоведы. Если бы наши законодатели внесли в свои своды законов принцип распределительной справедливости, господствующий в типографиях, если бы они наблюдали народные инстинкты не для того, чтобы рабски следовать им, а для того, чтобы реформировать и обобщить их, то свобода и равенство давно уже покоились бы на непоколебимой основе, никому уже теперь не приходилось бы спорить о праве собственности и необходимости социальных различий.

Было вычислено, что если бы труд был распределён сообразно числу здоровых людей, то средняя продолжительность рабочего дня во Франции не превышала бы пяти часов. Как можно после этого осмелиться говорить о неравенстве трудящихся?

Принцип *каждому сообразно его труду*, истолкованный в смысле *кто больше работает, тот больше и получает*, предполагает два, очевидно, ложных обстоятельства: одно экономического характера, т. е. что доли отдельных лиц в общественном труде могут быть неодинаковы, другое же физического характера, что количество вещей, могущих быть произведёнными, беспредельно.

Но, скажут мне, быть может, могут найтись люди, которые пожелают выполнить только половину заданного им урока... И это вас смущает? Очевидно, они готовы удовольствоваться лишь половиной своего вознаграждения. Получив вознаграждение, соответствующее их труду, будут ли они иметь причину жаловаться и нанесут ли этим ущерб другим? В этом

смысле будет справедливо применение поговорки: «Каждому по делам его». Это истинный закон справедливости.

Впрочем, здесь можно привести целый ряд возражений, сплошь относящихся к областям полицейской и промышленной организации. На все такие возражения я отвечаю так: все вопросы должны разрешаться согласно принципу равенства. Могут, между прочим, заметить, что есть такие работы, при невыполнении которых всё производство должно остановиться. Должно ли страдать общество от нерадения нескольких лиц; должно ли оно из уважения к праву на труд отказаться от продукта, который ему не был доставлен; не может ли оно создать его своими средствами и кому в таком случае достанется вознаграждение?

Обществу, которое выполнит оставшуюся невыполненной работу либо непосредственно, либо посредством особо назначенных лиц, но во всяком случае так, чтобы всеобщее равенство не пострадало и чтобы только ленивый был наказан за свою лень. К тому же если общество не может проявить чрезвычайную строгость к отсталым, то оно имеет право, в интересах собственного существования, не допускать злоупотреблений.

Могут сказать ещё, что во всякой промышленности нужны руководители, инструкторы, надсмотрщики и проч., будут ли они так же работать? Нет; ибо их задача заключается в руководстве, обучении и присмотре. Но они должны быть избраны из числа рабочих самими рабочими и должны удовлетворять известным условиям выборности. Так же обстоит дело со всякой общественной, административной или учебной функцией.

Итак, первый пункт всеобщего регламента гласит:

Ограниченное количество пригодного для эксплуатации материала обуславливает собой необходимость распределять труд сообразно числу трудящихся. Данная всем способность выполнить общественный, т. е. одинаковый, для всех урок и невозможность платить работнику чем-либо иным, кроме продукта труда другого работника, оправдывают равенство вознаграждений.

7. Неравенство способностей является необходимым условием имущественного равенства

Иногда выставляется следующее возражение, представляющее собой второй пункт сенсимонистского положения и третий пункт положения Фурье:

Работы, подлежащие выполнению, не все одинаково легки; есть такие работы, которые требуют большого превосходства таланта и ума и которые оцениваются именно сообразно этому. Артист, учёный, государственный деятель оцениваются сообразно их превосходству,

и это превосходство уничтожает всякое равенство между ними и другими людьми. Перед этими вершинами знания и гения закон равенства исчезает. И вот если равенство не абсолютно, то оно вообще не существует; от поэта мы спустимся к романисту, от скульптора — к каменотёсу, от химика — к повару и т. д.; способности классифицируются по порядкам, родам, видам; крайности таланта соединяются между собою талантами посредствующими. Человечество представляет собой обширную иерархию, в которой человек оценивается по сравнению с другими и сообразно достоинству своих произведений.

Это возражение во все времена казалось ужасным и служило камнем преткновения как для экономистов, так и для сторонников равенства. Оно внушило одним величайшие заблуждения и заставило других говорить невероятные пошлости. Гракх Бабёф хотел, чтобы всякое превосходство *строго наказывалось и даже подвергалось преследованию как социальное зло*. Для того чтобы упрочить свой коммунизм, он хотел приравнять всех граждан к низшему из них. Были случаи, когда невежественные избиратели отвергали неравенство знаний, и я несколько бы не был удивлён, если бы в один прекрасный день нашлись другие, протестующие против неравенства добродетелей. Аристотель был изгнан, Сократ принял яд, Эпаминонд был привлечён к суду, потому что невежественные и развратные демагоги нашли, что они слишком превосходят их умом и добродетелью. Такие нелепости будут повторяться до тех пор, пока ослеплённое и подавленное богатством население, утращённое неравенством состояний, будет опасаться возвышения нового тирана.

Наиболее чудовищными кажутся предметы, рассматриваемые с чересчур близкого расстояния. Ничто подчас не может казаться менее правдоподобным, чем сама истина. С другой стороны, по словам Ж. - Ж. Руссо, «нужно быть большим философом для того, чтобы заняться наблюдением обыденных явлений», а согласно д'Аламберу, «истина, которая обнаруживается людям со всех сторон, несколько не поражает их, если им не указать на неё пальцем». Патриарх экономистов Сэй, у которого я позаимствовал эти цитаты, мог бы извлечь из них пользу для себя. Воистину тот, кто смеётся над слепыми, должен бы сам носить очки, а замечающий это — близорук.

Странная вещь! То, что так пугало умы, есть не возражение против равенства, но самое условие равенства!..

Естественное неравенство — условие равенства состояний!.. Какой парадокс!.. Я повторяю моё утверждение, чтобы не думали, что я ошибаюсь: неравенство способностей есть *conditio sine qua non* равенства состояний.

В обществе следует различать две вещи: *функции и отношения*.

1. *Функции*. Всякий работник считается способным выполнить возложенную на него задачу или, выражаясь вульгарным языком, всякий ремесленник должен знать своё ремесло. Когда рабочий удовлетворительно выполняет свою работу, то между функцией и её исполнителем существует равновесие.

В обществе людей функции не похожи одна на другую; следовательно, должны существовать различные способности. Кроме того, известная функция требует больших способностей и большей интеллигентности. Существуют, следовательно, личности, обладающие высоким умом и талантом; ибо наличность долженствующей быть выполненной работы влечёт за собой существование работника. Потребность, следовательно, создаёт идею, а идея — производителя. Мы знаем только то, что заставляет нас желать раздражения наших чувств и чего требует наш ум. Мы интенсивно желаем только того, что хорошо себе представляем, и чем лучше мы его себе представляем, тем более способны произвести его.

Так как функции вызываются потребностями, потребности желаниями, а желания самопроизвольными восприятиями, воображением, то тот же самый ум, который воображает, может также производить; следовательно, никакая работа не может превосходить способностей работника. Одним словом, если функция влечёт за собою исполнителя её, то это происходит потому, что в действительности исполнитель существует раньше функции.

Итак, воздадим дань удивления бережливости природы. При множестве различных потребностей, которые она нам дала и которые изолированный человек не мог бы удовлетворить своими единичными усилиями, природа должна была дать роду могущество, в котором она отказала индивиду, — отсюда *принцип разделения труда*, принцип, основанный на *специализации призваний*.

Более того, удовлетворение известных потребностей требует от человека постоянного творчества, между тем как другие могут быть удовлетворены усилиями одного человека для миллионов людей и на целые тысячелетия. Так, напр., потребность в одежде и пище требует постоянного воспроизведения, между тем как знакомство с системой мира может быть приобретено раз навсегда двумя-тремя избранными людьми. Так, постоянное течение рек поддерживает нашу торговлю и приводит в движение наши машины, солнце же, одинокое в пространстве, освещает мир. Природа, которая могла бы создавать Платонов и Вергилиев, Ньютонов и Кювье как же, как она создаёт пастухов и земледельцев, не желает этого, сообразуя редкость гения с долговечностью его созданий и уравнивая число способностей достаточностью каждой из них.

Я не буду здесь рассматривать вопрос, не является ли расстояние, существующее между людьми в смысле таланта и интеллигентности, результатом нашей жалкой цивилизации и не превратилось ли бы то, что теперь называют *неравенством способностей*, при более счастливых условиях, в *различие в способностях*: я допускаю худший случай и для того, чтобы меня не обвинили в увилывании, готов признать какие угодно неравенства талантов[15]. Иные философы, увлечённые любовью к уравнению, утверждают, что все умы равны и что различия между ними зависят от воспитания. Я, признаюсь, далёк от того, чтобы разделять это учение, которое, впрочем, будучи истинным, привело бы к выводам диаметрально противоположным тем, которые из него делают теперь; ибо если способности равны и никто не может быть принуждён к чему бы то ни было, то работы, считающиеся самыми грубыми, унижительными или тяжёлыми, должны оплачиваться лучше всех других, в такой же степени противоречит принципу *каждой способности по делам её*, как и принципу

равенства. Дайте мне, наоборот, общество, в котором каждый род таланта находится в численном соотношении с потребностями и в котором каждый производитель должен производить только то, к чему обязывает его его специальность, — и я, не нарушая иерархии функций, выведу из него равенство состояний.

Перейдём теперь ко второму пункту.

2. *Отношения.* Говоря об элементе труда, я показал, каким образом, при одинакового рода производительных услугах и при условии, что способностью выполнять общественный труд обладают все, неравенство индивидуальных сил не может повлечь за собою никакого неравенства вознаграждения. Между тем справедливость требует признать, что известные способности совершенно непригодны для некоторых услуг, так что если бы человеческая промышленность вдруг была бы ограничена каким-нибудь одним родом произведений, то сразу появилась бы масса людей неспособных и вследствие этого возникло бы величайшее социальное неравенство. Но все и без моих слов знают, что разнообразие отраслей промышленности делает невозможной бесполезность той или иной способности. Истина эта настолько общеизвестна, что я на ней останавливаться не буду. Таким образом, вопрос сводится к доказательству того, что функции равны между собою, подобно тому как равны между собою рабочие, выполняющие одну и ту же функцию.

Иные удивляются тому, что я отказываю гению, знаниям, мужеству — словом, всем достоинствам, пред которыми преклоняется мир, в проявлениях уважения, выражающихся в титуле, власти и роскоши; отказываю в этом не я, но бережливость, справедливость и свобода. Свобода! Впервые в этой борьбе я упомянул её имя. Пусть же она станет в защиту своего собственного дела, пусть завершит свою победу.

Всякий договор, имеющий целью обмен продуктов или услуг, может быть квалифицирован как торговая операция.

Кто говорит «торговля», тот говорит: обмен равных ценностей, ибо если бы ценности не были равны и если бы оставшаяся в убытке сторона заметила это, то она не согласилась бы на обмен и торговая сделка не состоялась бы.

Торговля может происходить только между свободными людьми; во всех других случаях могут совершаться сделки, вынужденные силой или хитростью, но это не будут торговые сделки.

Свободен человек, имеющий возможность пользоваться своим разумом и способностями, не ослеплённый страстью и не находящийся под давлением страха или под влиянием ложных взглядов.

Таким образом, при всяком обмене существует нравственное обязательство, согласно которому ни один из контрагентов не должен выигрывать в ущерб другому. Иными словами, для того чтобы торговля была законной и истинной, в ней не должно быть места неравенству. Это первое условие возможности торговли; вторым условием является её добровольность, т. е., иными словами, контрагенты должны вступать в сношения друг с другом с полным сознанием и вполне свободно.

Итак, я определяю торговлю или обмен как акт социальный.

Негр, продающий свою жену за нож, детей за стеклянные бусы и, наконец, себя самого за бутылку водки, — не свободен. Торговец человеческим мясом, с которым он вступает в сношения, не союзник его, а враг.

Цивилизованный рабочий, продающий свой труд за кусок хлеба, строящий дворцы для того, чтобы жить в хлеву, изготавливающий самые роскошные ткани для того, чтобы одеваться в лохмотья, производящий всё для того, чтобы обходиться безо всего, — не свободен. Хозяин, на которого он работает, не становясь его союзником, посредством обмена заработной платы и услуг, происходящих между ними, становится его врагом.

Солдат, который служит своей родине из страха, а не из любви, не свободен. Его товарищи и начальники, служители или органы военного правосудия — его враги.

Крестьянин, снимающий в аренду землю, промышленник, пользующийся кредитом, плательщик, обязанный платить прямые и косвенные, личные, имущественные и проч. налоги, и депутат, вотирующий эти налоги, не понимают своих действий и не свободны в них. Их врагами являются собственники, капиталисты и правительство.

Возвратите людям свободу, просветите их ум, так чтобы они могли понимать смысл своих договоров, и вы убедитесь, что при обменах они будут руководствоваться совершеннейшим равенством, не признавая никаких преимуществ за талантом и знанием, вы убедитесь, что в области коммерческих понятий, т. е. в области общественной, слово «превосходство» лишено содержания.

Пусть мне поёт Гомер; пусть я слушаю этого великого гения, в сравнении с которым я простой пастух, скромный земледелец, ничто. В самом деле, если сравнить произведение с произведением, то что такое мой сыр или мои бобы в сравнении с «Илиадой»? Но если, в качестве вознаграждения за свою неподражаемую поэму, Гомер захочет взять у меня всё, что я имею, и сделать меня своим рабом, то я откажусь от удовольствия слушать его песни и поблагодарю его. Я могу обойтись без «Илиады» и подождать, в случае надобности, пока явится «Энеида»; Гомер же и дня не может обойтись без моих продуктов, пусть же он удовольствуется тем немногим, что я могу ему дать, и пусть поэзия его поучает, утешает и ободряет меня.

Как! — скажете вы. Таковы условия, в которых должен будет жить тот, кто воспеваает богов и людей! Милостыня с её унижением и страданиями! Какое варварское великодушие!.. Пожалуйста, не волнуйтесь. Собственность делает из поэта Креза или нищего, и одна только свобода может воздать ему должное. Ведь о чём идёт речь? Об установлении прав того, кто поёт, и обязанностей того, кто слушает. Так вот, заметьте себе следующее, весьма важное для разрешения этого вопроса обстоятельство: оба они вольны один продать, другой купить, а в силу этого притязания каждого из них теряют своё значение. Преувеличенное или правильное представление, которое может иметь один из них о своих стихах, другой о своей щедрости, не может влиять на условия договора. Не в оценке таланта, но в оценке произведений мы должны искать мотивы наших суждений.

Для того чтобы певец Ахилла получил должное вознаграждение, нужно прежде всего, чтобы он заставил признать себя, и тогда обмен его стихов на какое бы то ни было вознаграждение, будучи актом свободным, должен быть также и актом справедливым, т. е. необходимо, чтобы гонорар поэта равнялся его произведению. Какова же ценность этого произведения?

Я предполагаю прежде всего, что эта «Илиада», этот шедевр, за который следует уплатить по действительной его ценности, обладает ценностью бесконечной. Уж большего от меня и требовать нельзя. Если публика, которая вольна приобретать это произведение, отказывается от него, то очевидно, что, раз оно не может быть обменено, его внутренняя, присущая ему ценность не уменьшится, но ценность меновая или производительная полезность его будет сведена к нулю. Благодаря тому что все права и все свободы должны быть одинаково неприкосновенными, нам следует искать размер причитающегося поэту вознаграждения между бесконечным, с одной стороны, и ничто — с другой, на равном от обоих расстоянии. Иными словами, установить требуется не внутреннюю стоимость продаваемой вещи, но стоимость относительную. Дело начинает упрощаться: какова же относительная ценность? Какое отношение заслужил автор поэмы, подобной «Илиаде»?

Согласно определениям политической экономии, этот вопрос был первый, который ей следовало бы разрешить, но она не только не разрешила его, но, наоборот, объявила его неразрешимым. По мнению экономистов, относительная, или меновая, стоимость вещей не может быть определена абсолютным образом и по существу своему изменчива.

«Ценность какой-нибудь вещи, — говорит Сэй, — есть величина положительная, но только для данного момента. По природе своей она постоянно изменяется во времени и пространстве. Ничто не может сделать её определённой, ибо она основывается на потребностях и средствах производства, непрерывно меняющихся. Эта изменчивость усложняет явления политической экономии и чрезвычайно затрудняет их наблюдение и разрешение связанных с ними вопросов. Я не вижу средств помочь этому; не в нашей власти изменять природу вещей».

В других местах Сэй говорит и повторяет, что так как ценность основывается на полезности, полезность же всецело зависит от наших потребностей, прихотей, моды и проч., то ценность так же изменчива, как и взгляды людей. Политическая экономия, будучи наукой о ценностях, о их производстве, распределении, обмене и потреблении, невозможна, раз меновая ценность не поддаётся определению. Каким же образом политическая экономия может быть наукой? Каким образом два экономиста могут без смеха взирать друг на друга? Как осмеливаются они наносить оскорбления метафизикам и психологам? Как! Этот безумец Декарт воображал, что философия нуждается в непоколебимой основе, в *aliquid inconcussum*, на котором можно было бы построить здание науки, и даже искал этой основы, а Гермес политической экономии, трижды величайший Сэй, посвятивший целый полутом торжественному доказательству того, что *политическая экономия есть наука*, осмеливается утверждать после этого, что установить объект этой науки невозможно, что, иными словами, наука эта не имеет принципа и основания. Он не знал, знаменитый Сэй, что такое наука, или, точнее, он не знал того, о чём решался говорить.

Пример, данный Сэем, принёс плоды. Политическая экономия в том состоянии, в котором она сейчас находится, похожа на онтологию. Обсуждая следствия и причины, она ничего не знает, ничего не объясняет, не приходит ни к каким выводам. То, что получило название экономических законов, сводится к нескольким тривиальным общим местам, которым думали придать вид глубины, выразив их в замысловатой форме специальными терминами. Что же касается разрешения социальных проблем, которое пытались дать экономисты, то можно сказать, что оно если не было наивным, то было абсурдным. Двадцать пять лет уже политическая экономия, подобно густому туману, нависла над Францией, задерживая всякое движение духа и подавляя всякую свободу.

Имеет ли всякое создание промышленности продажную, абсолютную, неизменную, а следовательно, законную и истинную ценность? — Да.

Всякое произведение человека может ли обмениваться на произведение другого человека? — Да.

Сколько гвоздей стоит пара башмаков?

Если бы мы могли разрешить эту столь трудную проблему, мы имели бы ключ к социальной системе, которого человечество ищет уже в течение шести тысяч лет. Перед этой проблемой экономисты приходят в смущение, крестьяне же, не умеющие ни читать, ни писать, не колеблясь отвечают: столько же, сколько можно сделать в одинаковое время и с одинаковыми затратами.

Итак, абсолютная ценность вещи определяется временем, затраченным на её изготовление, и затратами; какова ценность алмаза, который стоило только поднять с земли? — Ценность его равна нулю, ибо он не есть произведение человека. — Какова будет его ценность, когда его отшлифуют и вставят в оправу? — Она определится временем и расходами, которые потратит работник. — Почему же алмаз продаётся за такую дорогую цену? — Потому что люди не свободны; общество должно урегулировать обмен и распределение как самых обыкновенных, так и самых редких вещей, чтобы каждый мог воспользоваться ими. — Что же такое ценность оценки? — Это ложь, несправедливость, кража.

Таким образом, легко примирить всех. Если средняя между ценностью бесконечной и ценностью нулевой, искомая нами величина ценности определяется для каждого продукта суммой затраченных на него времени и издержек, то поэма, стоившая своему автору тридцатилетнего труда и расхода в 10 000 франков на путешествия, книги и проч., должна быть оплачена тридцатилетним обычным вознаграждением работника плюс 10 000 франков в возмещение расходов. Предположим, что вся сумма составляет 50 000 франков. Если общество, приобретающее поэму, состоит из миллиона людей, то каждый из них должен заплатить 5 сантимов.

Это может дать повод к некоторым возражениям.

1. Один и тот же продукт в различные эпохи и в различных местах может стоить больше или меньше времени, больших или меньших расходов. В этом отношении верно, что ценность есть величина изменчивая, но эта изменчивость иная, чем предполагаемая

экономистами, которые, в качестве причин её, кроме издержек производства приводят вкусы, капризы, моду, взгляды и т. д.; одним словом, истинная ценность какой-либо вещи неизменна в своём алгебраическом выражении, хотя денежное выражение её и может меняться.

2. Всякий потребованный продукт должен быть оплачен сообразно тому, сколько он отнял времени и расходов, не выше и не ниже. Всякий непотребованный продукт представляет собою потерю для производителя, нуль в коммерческом отношении.

3. Незнание принципа оценки и во многих случаях трудность его приложения являются причиной обмана в торговле и одною из важнейших причин неравенства состояний.

4. Для того чтобы оплачивать известные отрасли промышленности, известные продукты, необходимо общество тем более многочисленное, чем реже таланты и чем дороже продукты, чем разнообразнее науки и искусства. Если, напр., общество, состоящее из 50 земледельцев, может содержать школьного учителя, то для содержания сапожника оно должно состоять уже из ста членов, для содержания кузнеца — из 150, портного — 200 и т. д. Если число земледельцев возрастает до 1000, 10 000, 100 000 и т. д., то по мере роста их числа необходимо, чтобы возрастало в таком же отношении число работников, производящих предметы первой необходимости, таким образом, чтобы наиболее высокие функции были возможны только в наиболее могущественных обществах[16]. Различие способностей заключается только в одном: характерной особенностью гения, печатью его славы является тот факт, что он не может родиться и развиваться иначе как в лоне великой национальности. Но это физиологическое условие возникновения гения не увеличивает его социальных прав; наоборот, запоздалость его появления доказывает, что в экономической и гражданской области наиболее высокий ум подчиняется равенству благ, равенству, предшествующему ему и которое он как бы венчает собой.

Это оскорбительно для нашей гордости, но тем не менее это истина, не подлежащая сомнению; и в этом случае психология приходит на помощь социальной экономии, показывая нам, что материальное вознаграждение и талант несоизмеримы, что в этом отношении положение всех производителей равно, что, следовательно, всякое сравнение между ними, всякое различие состояний невозможно.

В самом деле: всякое произведение, выходящее из рук человека, в сравнении с грубой материей, из которой оно сделано, представляет собою огромную ценность. В этом отношении расстояние между парой деревянных башмаков и обрубком орехового дерева так же велико, как между статуей Скопаса и куском мрамора. Изобретательность самого простого ремесленника настолько же превосходит обрабатываемые им вещества, насколько гений Ньютона превосходит инертные небесные тела, размеры, расстояние и движение которых он вычислил. Вы требуете для таланта и для гения соответственных почестей и соответственных благ; так вот, оцените мне талант дровосека, и я оценю вам талант Гомера. Если вообще что-нибудь может служить вознаграждением разума, то только разум. Это происходит, когда производители различных вещей воздают друг другу должные похвалы и удивление. Но идёт ли при этом речь об обмене произведениями с целью удовлетворить взаимные потребности? Такой обмен может происходить только при условии

хозяйственного распределения, не принимающего во внимание таланта и гения, распределения, законы которого выводятся не из неопределённого и не имеющего значения чувства удивления, но из справедливого сравнения между должным и *имеющимся налицо*, одним словом, из коммерческой арифметики.

Однако для того, чтобы не воображали, будто свобода покупать и продавать — единственное условие равенства вознаграждений и будто общество может найти защиту против превосходства таланта только в известной силе инерции, не имеющей ничего общего с правом, я объясню, почему одинаковое вознаграждение может оплачивать все способности, почему различие в вознаграждении несправедливо; я докажу вменяемую таланту обязанность не возвышаться над социальным уровнем; я подчиню самое превосходство гения равенству состояний. Выше я привёл отрицательные условия равенства вознаграждений всех способностей; теперь я изложу его положительные условия.

Послушаем прежде всего экономиста; всегда приятно посмотреть, как он рассуждает и как умеет быть справедливым; к тому же без него, без его забавных выходов и изумительных аргументов мы ничего не поймём. Равенство, столь ненавистное экономисту, всем обязано политической экономии.

«Когда семья врача (в тексте сказано адвоката, но этот пример не так удобен) затратила на его образование 40 000 франков, то эту сумму можно рассматривать как пожизненную ренту, помещённую в его голову. Благодаря этому позволительно рассматривать её, как должествующую приносить ежегодно 4000 франков. Если врач зарабатывает ежегодно 30 000 франков, то ему, за вычетом этих четырёх тысяч, останется 26 000 в качестве дохода с его личного таланта, данного ему природой. При таком расчёте если капитализировать из 10% этот природный капитал, то он будет равен 26 000 франков плюс капитал в 40 000 франков, который израсходовали родители на его обучение. Сумма этих капиталов составляет его состояние» (Сэй, Cours complet, etc.).

Сэй делит состояние врача на две части. Одна представляет капитал, затраченный на его образование, другая — его личный талант. Такое разделение справедливо, оно соответствует природе вещей, оно общепринято, оно служит подкреплением к великому аргументу неравенства способностей. Я без всяких оговорок принимаю это разделение; посмотрим же, к чему оно нас приводит.

1. Сэй относит к *имеющимся* у врача 40 000 франков, затраченных на его образование. Эти 40 000 франков должны быть отнесены ему в *дебет*, ибо если этот расход был сделан для него, то он не был сделан им; поэтому, отнюдь не имея права присвоить себе эти 40 000 франков, врач должен возместить их из своего продукта, должен вернуть их тому, кому он их должен. Заметим, впрочем, что Сэй говорит о *доходе*, вместо того чтобы говорить о *возмещении*, потому что он придерживается ложного принципа, будто капиталы производительны. Таким образом, расход на образование какого-нибудь таланта есть заём, заключённый этим самым талантом; в силу одного того, что он существует, он оказывается должником в сумме, равной сумме, затраченной на его образование. Это настолько верно, настолько далеко от всякой надуманности, что если в какой-нибудь семье воспитание

одного ребёнка стоило вдвое или втрое дороже, чем воспитание его братьев, то последние, при разделе наследства, могут удержать в свою пользу часть его, равную затратам. Это не представляет также никаких затруднений при опеке, когда имуществом, от имени несовершеннолетних, распоряжаются опекуны.

2. То, что я сейчас говорил о заключённом талантом обязательстве возратить расходы, несколько не смущает экономиста. Человек, обладающий талантом, получает наследство от своей семьи, а вместе с тем и долг в 40 000 франков, лежащий на нём. Эти 40 000 он себе в конце концов присваивает и таким образом становится собственником их. Оказывается, что мы оставили в стороне право таланта и вернулись к праву завладения. Тотчас же вновь возникают все вопросы, поставленные нами во второй главе. Что такое право захвата, что такое наследство? Есть ли право наследования, право совместительства или только право выбора? Откуда отец врача получил своё состояние? Был ли он собственником или только usufructуарием? Если он был богат, пусть объяснят нам его богатство, если он был беден, то как он мог сделать подобную затрату? Если он получал помощь, то как эта помощь могла создать привилегию обязанного лица перед его благодетелями и т. д.

3. «Остаются 260 000 франков в качестве дохода личного таланта, данного природой» (Сэй, там же). Отсюда Сэй заключает, что талант нашего врача был эквивалентен капиталу в 260 000 франков. Наш ловкий математик принимает вывод за принцип, а между тем не заработок должен определять ценность таланта, но, наоборот, талант должен определять размеры заработка. Ведь может случиться, что при всех своих заслугах данный врач ничего не зарабатывает; можно ли сделать отсюда вывод, что талант или состояние этого врача равняются нулю? Таков между тем вывод из рассуждения Сэя, вывод, очевидно, абсурдный.

Итак, оценка таланта в денежных единицах вещь невозможная, так как талант и монета вещи несоизмеримые. При помощи какого разумного аргумента можно бы доказать, что врач должен зарабатывать вдвое, втрое или во сто раз больше, чем крестьянин? Это затруднение неразрешимое, которое до сих пор разрешалось только скупостью, необходимостью и гнётом. Право таланта должно получить не такое определение, но как же сделать последнее?

4. Прежде всего я утверждаю, что врач не может быть поставлен в худшее положение, чем остальные производители, что он не может очутиться вне пределов равенства; доказывать этого я не стану, но я прибавлю, что врач не может также возвыситься над этим равенством, ибо талант его есть собственность коллективная, за которую он не платил и за которую он вечно останется в долгу.

Подобно тому как создание всякого орудия производства есть результат коллективной силы, и талант, так же как и знания человека, является продуктом мирового разума и общечеловеческого знания, медленно накапливавшегося при посредстве множества учителей и при помощи целого ряда более низких отраслей промышленности. Заплатив своим профессорам, уплатив за свои книги, за свои дипломы и все свои издержки, врач так же мало оплатил свой талант, как капиталист оплатил своё имение и свой замок, выдав жалованье рабочим. Человек талантливый помогал воспитывать в себе самом полезное орудие, поэтому он является его совладельцем, но не его собственником. Таким образом, в

нём одновременно заключаются и свободный работник, и накопленный социальный капитал. В качестве работника он призван к употреблению орудия, к управлению механизмом, каковым являются его собственные способности; в качестве капитала он себе не принадлежит и эксплуатирует себя не для себя, но для других.

Талант скорее мог бы дать повод понизить ему вознаграждение, но не повесить его над обычной нормой, если бы со своей стороны талант не нашёл в своём превосходстве защиту против упрека за жертвы, которые он вызвал. Всякий производитель получает воспитание, всякий работник представляет собою талант, способность, т. е. коллективную собственность, создание которой обходится, однако, не всегда одинаково дорого. Меньше учителей, меньше времени, меньше традиций необходимо для того, чтобы воспитать земледельца и ремесленника; созидательные усилия или, если можно так выразиться, продолжительность социального созревания соответствуют уровню способностей, но между тем как врач, поэт, художник, учёный производят мало и поздно, производство земледельца менее прибыльно и приступает он к нему рано. Какова бы ни была способность человека, раз эта способность создана, он себе более не принадлежит. Подобный материалу, который обрабатывает искусная рука, он имел способность *сделаться*, а общество *сделало* его. Может ли горшок сказать горшечнику: я есмь то, что я есмь, и тебе я не обязан ничем?

Художник, учёный, поэт получают справедливую награду уже в виде полученного от общества разрешения посвятить себя наукам и искусству. Таким образом, они на самом деле работают не для себя, но для общества, которое создало их и освободило их от всяких других обязанностей. Общество в крайнем случае может обойтись без прозы и стихов, без музыки и живописи, без того, чтоб «...была ему звёздная книга ясна...», но ни одного дня не может обойтись без крова и пищи.

Несомненно, человек живёт не одним хлебом; он должен также, согласно Евангелию, *жить словом Божиим*, т. е. любить добро и осуществлять его, познавать прекрасное, удивляться ему и изучать чудеса природы. Но для того чтобы иметь возможность культивировать дух, он должен прежде всего поддерживать своё тело. Эта последняя обязанность так же настоятельна в силу необходимости, как другая в силу благородства. Если очаровывать и поучать людей похвально, то похвально также и кормить их. Когда общество, верное принципу разделения труда, доверяет одному из своих членов выполнение какой-нибудь научной или художественной миссии, побуждая его покинуть обычное занятие, оно должно вознаградить его за тот его труд, который мог бы быть направлен на производство необходимых ему вещей, но больше оно ничем ему не обязано. Если бы он потребовал большего, то общество, отказываясь от его услуг, свело бы также на нет его притязания, и тогда, принуждённый для того, чтобы жить, заниматься трудом, для которого природа его не предназначила, человек гениальный почувствовал бы свою слабость и влачил бы самое жалкое существование.

Рассказывают, что одна знаменитая певица запросила с императрицы Екатерины II 20 000 рублей. Екатерина ответила ей: «Но ведь это больше, чем я даю моим фельдмаршалам!» — «Вашему величеству, — возразила певица, — остаётся только заставить петь своих фельдмаршалов».

Если бы Франция, более могущественная, чем императрица Екатерина, сказала г-же Рашель: «Вы будете играть за 100 луи или пойдёте прясть пряжу», а господину Дюпре: «Вы будете петь за 2400 франков или отправитесь работать в виноградниках», то неужели артистка Рашель и певец Дюпре покинули бы театр? Если бы даже они это и сделали, то первые и раскаялись бы.

Говорят, что г-жа Рашель получает от Comédie Française 60 000 франков в год. Для такого таланта, каким обладает она, гонорар этот невелик; почему бы не платить 100–200 тысяч франков? Почему бы не назначить ей гражданский лист? Что за мещанство! Разве можно торговаться с артисткой, подобной г-же Рашель?

Возражают, что администрация не могла без убытка дать больше, что, конечно, талант артистки велик, но что, устанавливая её жалованье, пришлось также принять в соображение бюджет компании.

Всё это справедливо, но всё это также подтверждает сказанное мною выше, т. е. то, что талант артиста может быть бесконечен, но что его денежные потребности, по необходимости, должны быть ограничены, с одной стороны, полезностью услуг, оказываемых им обществу, которое ему платит, с другой стороны, средствами этого общества; иными словами, требование продавца уравнивается предложением покупателя.

Г-жа Рашель, говорят, даёт французскому театру больше шестидесяти тысяч франков дохода; я согласен с этим, но в таком случае я призываю к ответу французский театр: с кого он получает этот доход? — С совершенно свободных любопытных. — Да, но рабочие, квартиронаниматели, арендаторы и проч., у которых эти любопытные берут всё, что потом несут в театр, разве они свободны? А когда лучшая часть продуктов их труда тратится помимо их на зрелища, то можно ли сказать с уверенностью, что семьи их в это самое время ни в чём не терпят недостатка? До тех пор, пока французский народ не выскажет вполне определённо и с полным знанием дела своей воли относительно вознаграждения, какое должны получать художники, учёные и общественные деятели, жалованье, получаемое г-жою Рашель и всеми ей подобными, будет принудительным налогом, взятым силою для того, чтобы вознаградить тщеславие и поддерживать разврат.

Только благодаря тому, что мы несвободны и недостаточно просвещены, мы терпим такое надувательство, и работник допускает, что авторитет власти и эгоизм таланта извлекают выгоды из любопытства праздных людей; только благодаря тому, что мы несвободны и невежественны, мы переносим вечные, чудовищные неравенства, поддерживаемые и одобряемые общественным мнением.

Вся нация, и только нация платит учёным, артистам, писателям и должностным лицам, из чьих бы рук они ни получали своё вознаграждение. Чем должно руководствоваться общество, уплачивая им вознаграждение? Принципом равенства. Я доказал это, когда давал оценку таланта, и подтверждаю это в следующей главе невозможностью всякого социального неравенства.

Что же мы доказали всем предыдущим? Вещи настолько простые, что они кажутся прямо-таки глупыми.

Подобно тому как путешественник не может присвоить себе в собственность большой дороги, по которой он проходит, так и земледелец не может сделать своей собственностью землю, которую он засеивает.

Если тем не менее, благодаря своему труду, работник может присвоить себе вещество, которое он эксплуатирует, то и всякий эксплуатирующий последнее может сделаться собственником с таким же правом.

Всякий капитал, как материальный, так и духовный, будучи созданием коллективным, представляет собою, следовательно, и собственность коллективную.

Сильный не имеет права препятствовать своим вторжением труду слабого, человек ловкий не вправе злоупотреблять доверчивостью простака.

И наконец, никто не может быть принуждён купить то, чего он не желает, и тем более заплатить за то, чего он не покупал. Следовательно, так как меновая ценность продукта определяется не мнением продавца или покупателя, но суммой времени и расходов, затраченных на него, то собственность каждого всегда остаётся одинаковой.

Разве все эти истины не просты до чрезвычайности? Да, читатель, но какими бы они ни казались вам наивными, вы узнаете истины ещё более наивные и ещё более пошлые. Мы идём путём, противоположным тому, каким идут математики. По мере того как они подвигаются вперёд, задачи их становятся всё труднее и сложнее. Мы же, наоборот, начав с вопросов самых запутанных, приходим к аксиомам.

Однако для того, чтобы закончить эту главу, мне надо ещё изложить одну из тех необыкновенных истин, которые никогда ещё не были открыты ни правоведами, ни экономистами.

8. При господстве справедливости труд разрушает собственность

Это положение есть вывод из двух предыдущих параграфов, которые мы здесь прежде всего резюмируем. Изолированный человек может удовлетворить только незначительную часть своих потребностей; вся сила человека в обществе и в разумной комбинации всех человеческих сил; разделение труда и кооперация увеличивают количество и разнообразие продуктов; благодаря специализации приёмов, качество предметов потребления повышается.

Нет, следовательно, ни одного человека, который не жил бы произведениями многих тысяч различных рабочих, нет ни одного рабочего, который не получал бы от общества всё, что

нужно для потребления, а вместе с тем и средства воспроизводства. Кто в самом деле может сказать: я один произвожу то, что потребляю, я ни в ком не нуждаюсь. Может ли земледелец, которого старые экономисты считали единственным истинным производителем, земледелец, получающий жилище, мебель, одежду, пищу благодаря помощи каменщика, плотника, портного, мельника, булочника, мясника, лавочника, кузнеца и проч., может ли, говорю я, земледелец похвастаться тем, что производит всё сам?

Предметы потребления даются каждому всеми; на этом же основании производство каждого предполагает производство всех. Один продукт не может существовать без других продуктов, изолированная отрасль промышленности вещь невозможная. Что сделал бы земледелец со своим урожаем, если бы другие не приготовили для него сараев, плугов, повозок, одежды и т. д. Что мог бы сделать учёный без книгопродавца, типограф без словолитчика и механика, а эти последние без целого ряда других работников... Мы не будем продолжать этого перечисления, чтобы нас не обвинили в пристрастии к общим местам. Все отрасли промышленности, благодаря своим взаимоотношениям, соединяются в одно целое, все продукты служат друг другу целью и средством, все роды таланта представляют собой только ряд метаморфоз от низшего к высшему.

И вот этот неоспоримый и не опровергнутый факт, что в изготовлении каждого продукта участвуют многие, ведёт к тому, что все частные произведения делаются общими. Таким образом, каждый продукт, выходя из рук своего творца, оказывается обременённым ипотекой общества. Сам производитель имеет на свой продукт право, выражающееся дробью, знаменатель которой равен числу индивидов, составляющих общество. Правда, что взамен этого производитель имеет право на все продукты других людей. Но разве не очевидно, что эта взаимность, отнюдь не допуская собственности, уничтожает даже владение? Работник не является даже владельцем своего продукта; как только он заканчивает последний, общество забирает его.

Мне, однако, могут возразить, что если даже будет так, если продукт не будет принадлежать производителю, то эквивалент, который даёт общество каждому рабочему за его продукт, жалованье, вознаграждение, заработная плата, делается его собственностью. Неужели вы станете отрицать, что эта-то уж собственность законна? Если работник, вместо того чтобы целиком израсходовать своё вознаграждение, сделает какие-либо сбережения, то неужели же можно лишить его их?

Работник не является даже собственником платы за свой труд. Он не может безусловно распоряжаться ею. Не будем ослепляться ложной справедливостью: то, что даётся рабочему в обмен на его продукт, даётся ему не как вознаграждение за выполненный труд, но как средство к жизни и аванс под работу, которую ещё надо выполнить. Мы потребляем прежде, чем производим; работник в конце дня может сказать: я уплатил мои вчерашние расходы, завтра я уплачу расходы сегодняшние. В каждый момент своей жизни член общества выходит из границ своего текущего счёта; он умирает, не имея возможности свести концы с концами; может ли он при таких условиях накопить сокровища?

Говорят о сбережениях: это выражение, созданное собственником. При господстве равенства всякое сбережение, не имеющее целью дальнейшего производства или

наслаждения, невозможно. Почему? Потому что эти сбережения не могут быть капитализированы, теряют смысл и *конечную причину*. Это выяснится лучше при чтении следующей главы.

Вывод:

Работник по отношению к обществу является должником, неизбежно умирающим, не выплатив своего долга. Собственник является недобросовестным поверенным, отрицающим, что ему что-либо дали, и требующим платы за дни, месяцы и годы, в течение которых он считался поверенным.

Принципы, которые мы здесь изложили, могут показаться иным читателям чересчур отвлечёнными, поэтому я воспроизведу их в более конкретной форме, доступной самым ограниченным умам и чреватой чрезвычайно интересными выводами.

Глава IV. Собственность НЕВОЗМОЖНА

Собственность физически и математически невозможна

Последним доводом собственников, неотразимым, по их мнению, аргументом является утверждение, что равенство условий невозможно. «Равенство условий — химера! — восклицают они с торжествующим видом. — Разделите сегодня все блага поровну, завтра это равенство исчезнет!»

К этому банальному утверждению, которое они повсюду повторяют с невероятной уверенностью, они всегда прибавляют следующее, сделавшееся обычным их припевом замечание: если бы все люди были равны, никто не захотел бы работать.

Припев этот поётся на разные лады:

Если бы все были хозяевами, никто не захотел бы слушаться.

Если бы не было богатых, то кто давал бы работу беднякам?..

Если бы не было бедных, то кто работал бы на богатых?.. Впрочем, обвинять мы никого не будем. Попытаемся лучше дать ответ на эти рассуждения.

Если я докажу, что именно сама собственность невозможна; что именно собственность — противоречие, химера, утопия; если я докажу это не метафизическими и юридическими соображениями, но при помощи чисел, при помощи уравнений и вычислений; если я докажу это, каков тогда будет ужас изумлённого собственника? И что скажете вы, читатель, если я обращу аргументацию собственников против них самих?

Миром управляют числа, *mundum regunt numeri*; этот афоризм относится настолько же к области нравственной и политической, насколько и к области небесных тел и молекул. Элементы права те же, что и элементы алгебры. Законодательство и правление не что иное, как искусство классификации и уравнивания сил: вся юриспруденция заключается в арифметических правилах. Эта глава и следующая должны обосновать это невероятное учение. Тогда перед взором читателя раскроется громадная и новая область, тогда мы уразумеем в форме численных отношений синтетическое единство философии и наук, тогда, преисполненные восторгом и изумлением перед глубокой и величественной

простотой природы, мы воскликнем вместе с апостолом: «Да, Вечный всё сотворил при помощи числа, веса и меры». Мы тогда поймём, что равенство условий не только возможно, но представляет собою единственно возможное; что кажущаяся невозможность такого равенства происходит оттого, что мы всегда представляем его себе либо в связи с собственностью, либо в связи с общностью, между тем как и первая и вторая одинаково противны природе человека. Мы поймём, наконец, что ежедневно и ежечасно, в то время как мы говорим с уверенностью о неосуществимости равенства отношений, оно осуществляется на самом деле; что приближается момент, когда мы, не искавшие и даже не желавшие его, установим его повсюду; что с ним, в нём и через него должен обнаруживаться политический строй, соответствующий природе и истине.

Говоря об ослеплении и упорстве, вызываемых страстями, кто-то сказал, что если бы человеку понадобилось отрицать арифметические истины, то он нашёл бы возможность подвергнуть сомнению их достоверность. Здесь представляется случай проделать этот любопытный опыт. Я теперь поведу атаку на собственность уже не при помощи её собственных афоризмов, но при помощи вычислений. Пусть же собственники готовятся наблюдать за точностью моих вычислений, ибо, если, к несчастью для собственников, последние окажутся правильными, собственники погибнут.

Доказывая невозможность собственности, я доказываю её несправедливость; в самом деле:

То, что *справедливо*, тем более *полезно*.

То, что *полезно*, тем более *истинно*.

То, что *истинно*, тем более *возможно*.

Следовательно, всё, что выходит за пределы возможного, выходит также и из пределов истины, полезности и справедливости. Следовательно, уже a priori можно судить о справедливости какой-либо вещи по её невозможности, так что вещь абсолютно невозможная будет в то же время и абсолютно несправедливой.

Собственность физически и математически невозможна Доказательство

Аксиома. Собственность есть присвоенное собственником ни на чём не основанное право (droit d'aubaine)[17] собственника на вещь, отмеченную им его печатью.

Это положение есть истинная аксиома, ибо:

1. Это не есть определение, так как не выражает всего того, что заключает в себе право собственности, т. е. право продавать, обменивать, дарить; право изменять, преобразовывать, потреблять, уничтожать, употреблять и злоупотреблять и т. д. Эти права представляют собою различные действия собственности, которые можно рассматривать отдельно, но о которых мы здесь говорить не станем, имея в виду заняться одним из них, именно правом получать что-либо без достаточных на то оснований (droit d'aubaine).

2. Это положение общепризнанное; никто не может отрицать его, не отрицая фактов, не будучи тотчас же опровергнутым опытом всего света.

3. Это положение непосредственно очевидное, так как факт, который оно выражает, всегда либо на самом деле, либо, так сказать, в потенции сопровождает собственность и так как последняя обнаруживается главным образом в нём и состоит также именно из него.

4. Отрицание этого положения, наконец, заключает в себе противоречие: право получать доход (*droit d'aubaine*) действительно присуще собственности, тесно связано с нею, и там, где оно не существует, нет также и собственности.

Примечание. Доход (*aubaine*) имеет различные названия сообразно с теми вещами, которые его создают: *аренда* для земли, *наёмная плата* для домов и недвижимостей, *рента* для вечных вкладов, *процент* для денег, *доход*, *прибыль*, *барыш* (не следует смешивать их с заработной платой или справедливой платой за труд) для обмена.

Доход (*aubaine*) представляет собою своего рода регалию, осязаемое и могущее быть потреблённым проявление почтения, принадлежит собственнику в силу его номинальной и, так сказать, метафизической оккупации: он наложил свою печать на данную вещь и этого достаточно для того, чтобы никто не мог завладеть этой вещью без его разрешения.

Это разрешение завладеть его вещью собственник может дать даром, но обыкновенно он его продаёт. Фактически эта продажа есть мошенничество и растрата общественного имущества, но благодаря фикции легальности самой собственности эта мошенническая продажа, неизвестно почему строго караемая в других случаях, становится для собственника источником прибыли и почёта.

Признательность, которую собственник требует за уступку своего права, выражается либо в денежных знаках, либо в доходе натурою с данного произведения. Таким образом, благодаря праву получать доходы (*droit d'aubaine*), собственность пожинает, но не сеет, собирает, но не обрабатывает, потребляет, но не производит, наслаждается и ничего не делает. Боги собственности очень не похожи на кумиров псалмопевца, последние имели руки, но не прикасались, первые же *manus habent et palpabunt*.

Всё таинственно и сверхъестественно в пожаловании права получения доходов (*droit d'aubaine*). Ужасные обряды сопровождают инаугурацию собственника, подобно тому как некогда обрядами же сопровождалось посвящение новых членов орденов. Прежде всего происходит *посвящение* вещи, посвящение, посредством которого доводится до сведения всех, что они должны платить определённый взнос собственнику всякий раз и сколько раз они пожелают в обмен на данное и подписанное им разрешение пользоваться его вещью.

Затем произносится *анафема*, которая, раз за вещь не заплачено, воспрещает касаться вещи даже в отсутствие собственника и объявляет святотатцем, преступником и злодеем, достойным кары светской власти, всякого, кто посягнёт на собственность.

Наконец, следует *освящение*, благодаря которому собственник или предполагаемый святой, бог-покровитель данной вещи, обитает в ней духовно, подобно божеству, витающему в

святилище. Благодаря действию этого освящения, субстанция вещи, так сказать, обращена в личность собственника, всегда присутствующего во всех видах или видоизменениях данной вещи.

Таково учение юристов в его чистом виде. «Собственность, — говорит Тулье, — есть нравственное качество, присущее вещи, реальная связь, соединяющая её с собственником и не могущая быть нарушенной без согласия последнего». Локк почтительно предполагал, что Бог, пожалуй, мог создать материю *мыслящую*; Тулье утверждает, что собственник делает её *нравственной*. Много ли нужно ещё для того, чтобы обожествить собственника? Почести и теперь уже ему воздаются божеские.

Собственность есть право получать доходы (droit d'aubaine), т. е. власть производить без труда, а производить без труда — значит из ничего создать нечто, одним словом, творить. Это, конечно, нетрудно для того, кто может сделать нравственной материю. Поэтому юристы правы, прилагая к собственникам слова Писания: Ego dixi: Dii estis et filii Excelsi omnes{29} (Я говорю: вы боги и все вы сыны Всевышнего).

Собственность есть право получения доходов (droit d'aubaine) — эта аксиома будет для нас как бы именем апокалипсического зверя, именем, заключающим в себе всю тайну этого зверя. Известно, что тот, кто раскрыл бы тайну этого имени, уразумел бы все пророчества и победил бы зверя. И мы также убьём сфинкса собственности, разъяснив нашу аксиому. Исходя из *права*, из этого в высшей степени характерного факта, мы проследим все изгибы древнего змия, мы перечислим все человекоубийственные извивы этого ужасного солитёра, голова которого, вооружённая тысячами присосков, всегда избегала ударов самых злейших своих врагов и оставляла в их руках только громадные куски своего тела. Для победы над этим чудовищем нужно было не мужество; ему суждено погибнуть лишь тогда, когда вооружённый волшебным жезлом пролетарий измерит его.

Выводы. 1. *Величина дохода (aubaine)* пропорциональна вещи. Каков бы ни был размер процента — 3, 5, 10 или $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{10}$, всё равно закон его роста остаётся неизменным и заключается в следующем:

Всякий капитал, выражающийся в деньгах, может быть рассматриваем как член арифметической прогрессии, арифметическое отношение которой равняется 100, и доход от этого капитала равняется соответственному члену другой арифметической прогрессии, отношение которой равно величине процента. Таким образом, если капитал в 500 франков будет пятым членом арифметической прогрессии, отношение которой равно 100, то доход с него в 3% будет равен пятому члену арифметической прогрессии, отношение которой равняется 3:

100 | 200 | 300 | 400 | 500 3 | 6 | 9 | 12 | 15

Знакомство с *логарифмами* этого рода, таблицы которых, в высшей степени разработанные, имеются у каждого собственника, даст нам ключ к пониманию самых любопытных загадок и поведёт нас от одной неожиданности к другой.

Согласно этой *логарифмической* теории права получения дохода (*droit d'aubaine*) всякая собственность, с даваемым ею доходом, может быть определена как число, логарифм которого равен сумме его единиц, делённой на сто и умноженной на величину процента. Так, напр., дом, оценённый в 100 000 франков и сданный внаём из 5%, согласно формуле $(100\ 000 \times 5)/100 = 5000$, даёт 5000 франков дохода. И наоборот, имение, дающее 3000 франков дохода капитализированных из $2\frac{1}{2}\%$, согласно другой формуле $(3000 \times 100)/2\frac{1}{2} = 120\ 000$, стоит 120 000 франков.

В первом случае отношение прогрессии, показывающей увеличение суммы %, равно 5, во втором случае — $2\frac{1}{2}$.

Примечание. Доход (*aubaine*), известный под названиями арендной платы, ренты, процента, уплачивается ежегодно; плата за наём вносится еженедельно, ежемесячно, ежегодно; прибыль и барыш получают при каждом обмене. Таким образом, доход пропорционален в одно и то же время и времени и предмету; поэтому-то было сказано: *foenus serpit sicut cancer* (ростовщичество растёт подобно язве рака).

2. Доход (*aubaine*), уплачиваемый собственнику держателем данной вещи, потерян для последнего. Ибо если бы собственник, в обмен за получаемый им доход, должен был давать нечто большее, чем разрешение пользоваться вещью, то его право собственности не было бы совершенным, он не владел бы *jure optimo, jure perfecto*{30}, т. е. не был бы действительным собственником. Итак, всё, что переходит из рук владельца в руки собственника в качестве налога, уплаты за разрешение владеть, становится собственностью второго и утрачивается безвозвратно первым, который ничего не может получить обратно иначе как в виде подарка, милостыни, вознаграждения за услугу или платы за доставленный им товар. Словом, находка (*aubaine*) утрачивается заёмщиком; *res perit solventi*, сказал бы энергичный римлянин.

3. Право получать доходы (*droit d'aubaine*) осуществляется по отношению к собственнику так же, как по отношению к иностранцу. Хозяин вещи, различая в своём лице владельца и собственника, назначает самому себе, за пользование своей собственностью, такое же вознаграждение, какое он мог бы получать от третьего лица; таким образом, капитал в руках капиталиста приносит доход, так же как в руках заёмщика или ответственного члена командитного общества. В самом деле, если я, вместо того чтобы брать 500 франков за наём моей квартиры, предпочту сам пользоваться ею, то я, очевидно, остаюсь должен самому себе столько, сколько я отказываюсь брать у другого; принцип этот повсюду проводится в торговле, и экономисты считают его аксиомой. Поэтому промышленники, являющиеся собственниками своего оборотного капитала, хотя и не должны никому платить проценты, всегда вычисляют свою прибыль, вычтя предварительно свои расходы, жалованье и процент на капитал. По этой же причине ростовщики стараются иметь как можно меньше свободных денег: всякий капитал по необходимости приносит проценты, если же этот процент никем не вносится, то его надо брать из капитала, который тогда уменьшится сообразно величине процента.

Таким образом, благодаря праву получения доходов (*droit d'aubaine*) капитал сам себя разрушает; Папиниан, несомненно, выразил бы эту мысль в следующей настолько же

энергичной, насколько и изящной формуле: *Foenus mordet solidum*{31}. Я извиняюсь, что так часто прибегаю здесь к латыни; я таким образом воздаю должное народу, который в большей степени, чем все другие народы, был народом-ростовщиком.

1-е предложение. Собственность невозможна, потому что от ничего она требует нечто

Рассмотрение этого предложения ведёт к тому же, к чему привело рассмотрение происхождения аренды (*fermage*), по поводу которого так много спорили экономисты. Когда я читаю то, что большинство из них писали по этому поводу, я не могу воздержаться от смешанного чувства досады и презрения при виде этого нагромождения пошлостей, где глупость соперничает с низостью. Если бы не ужасные выводы, то эти теории можно было бы назвать сказкой про белого бычка. Искать рационального и законного источника того, что в действительности является только кражей, мошенничеством и грабежом, — это верх безумия, высшая степень гипноза, до которой мог довести даже просвещённые умы извращённый эгоизм.

“ «Земледелец, — говорит Сэй, — является фабрикантом хлеба, и в числе орудий, которые служат ему для изменения вещества, он употребляет большое орудие, названное нами полем. Когда он является не собственником поля, а только арендатором его, то это поле также является орудием, за наём которого он платит собственнику. Арендатор заставляет возместить свои расходы покупателя, последний — ещё какое-нибудь третье лицо, пока наконец продукт доходит до потребителя, возмещающего первый расход плюс все остальные, последующие расходы на продукт».

Оставим в стороне все последовательные расходы, благодаря которым продукт доходит до потребителя, и займёмся теперь только первым из этих расходов-авансов, уплачиваемых собственнику арендатором. Спрашивается, на каком основании собственник заставляет платить себе эту ренту?

Согласно Рикардо, Мак-Куллоху и Миллю, арендная плата в собственном смысле слова есть не что иное, как *излишек продукта более плодородной земли над продуктом земель низшего качества*. Таким образом, арендная плата начинает поступать с земли первого рода лишь с того момента, когда, благодаря увеличению населения, является необходимость прибегнуть к землям второй категории.

Трудно найти в этом какой-нибудь смысл. Каким образом из различия в качестве почвы может возникнуть право на неё? Каким образом различие качеств гумуса может породить законодательно-политический принцип? Для меня эта метафизика так тонка или, быть

может, настолько густа, что я, чем больше вникаю в неё, тем меньше понимаю. — Пусть земля *a*, способная пропитать 10 000 человек, и земля *b*, способная пропитать 9000, по площади равны. Когда, благодаря приросту населения, люди, живущие на земле *a*, будут вынуждены обрабатывать землю *b*, собственники земли *a* заставят платить арендаторов этой земли ренту, рассчитанную в отношении 10 к 9. Вот, по-моему, смысл того, что говорят Рикардо, Мак-Куллох и Милль. Но если земля *a* прокармливает столько людей, сколько она вообще в состоянии прокормить, т. е. если обитатели земли *a* имеют ровно столько, сколько необходимо для их жизни, то как же могут они платить арендную плату?

Если бы они ограничились утверждением, что различие в качестве земли было случайным поводом возникновения ренты, но не его причиной, то мы могли бы извлечь из этого простого замечания весьма драгоценные сведения, а именно уяснение того, что принципом установления ренты было стремление к равенству. В самом деле, если право всех людей на владение хорошей землёй равно, то никто не может быть вынужден без вознаграждения обрабатывать земли худшие. Таким образом, согласно Рикардо, Мак-Куллоху и Миллю, арендная плата представляла бы собою вознаграждение, имеющее целью уравнивать прибыль и труд. Эта система практического равенства, надо признаться, дурна, но намерения были добрые; какой же вывод могли бы сделать из своей теории в пользу собственности Рикардо, Мак-Куллох и Милль? Их теория обращается против них самих и разбивает их.

Мальтус полагает, что источником аренды является способность земли давать больше средств к жизни, чем нужно для содержания обрабатывающих её людей. Я спрашиваю теперь Мальтуса, почему успешность труда даёт людям праздно право участвовать в пользовании произведениями этого труда?

Но почтенный г. Мальтус ошибается относительно значения факта, о котором он говорит. Да, земля имеет способность давать больше средств к жизни, чем нужно для тех, кто её обрабатывает, если под обрабатывающими её подразумевать только арендаторов. Портной также prepares больше одежды, чем ему нужно самому, столяр — больше мебели, чем нужно для его хозяйства. Но так как различные профессии находятся во взаимоотношении и поддерживают друг друга, то *обрабатывающими* землю следует считать не только земледельцев, но представителей всех искусств и ремёсел, вплоть до врача и учителя. Принцип, который Мальтус приписывает аренде, есть принцип торговли, но так как основным законом торговли является эквивалентность обмениваемых продуктов, то всё нарушающее эквивалентность нарушает также этот закон. Здесь налицо ошибка в оценке, которую надо исправить.

Буханан, комментатор Смита, видел в арендной плате результат монополии и утверждал, что один только труд обладает производительностью. Придерживаясь такого взгляда, он полагал, что без этой монополии продукты стоили бы дешевле, и причиной существования арендной платы считал гражданский закон. Этот взгляд представляет собой вывод из взгляда, признающего гражданский закон основой собственности. Но почему же гражданский закон, долженствующий быть писанным разумом, санкционировал эту монополию? Ведь тот, кто говорит о монополии, неизбежно исключает при этом справедливость. Итак, говорить, что арендная плата есть монополия, санкционированная законом, — это значит говорить, что несправедливость имеет своим принципом

справедливость, а такое утверждение — очевидный абсурд.

Сэй отвечает Буханану, что собственник вовсе не является монополистом, потому что монополист «есть тот, кто не прибавляет товару ни на йоту полезности».

Какую же полезность вещи, произведённые арендатором, приобретают от собственника? Разве он пахал, сеял, косил, жал, полон, веял? Ведь при помощи этих действий арендатор и его семья увеличивают полезность веществ, которые они потребляют для того, чтобы воспроизвести их.

«Землевладелец-собственник увеличивает полезность товаров при помощи своего орудия, каковым является земля; это орудие получает вещество, из которого состоит хлеб, в одном виде и возвращает его в другом. Действие земли представляет собой химическую операцию, благодаря которой вещество зерна изменяется таким образом, что оно, уничтожаясь, размножается. Итак, земля есть производитель полезности; когда она заставляет платить за эту полезность в виде аренды или заработной платы своему собственнику, то она даёт в то же время потребителю, в обмен за то, что он платит, некоторую долю ценности. Она даёт ему произведённую полезность, и именно, производя эту полезность, земля является производительной, так же как и труд».

Поясним всё это.

Кузнец, приготовляющий для земледельца орудия обработки почвы, плотник, делающий для него телегу, каменщик, строящий для него сарай, и проч., — все они содействуют сельскохозяйственному производству, изготовляя необходимые для него предметы. Все они производители полезности. В силу этого все они имеют право на долю продукта.

«Несомненно, — говорит Сэй, — но земля есть также орудие, услуги которого должны быть оплачены, следовательно...»

Я согласен с тем, что земля орудие, но кто работает этим орудием? Не собственник ли? Не он ли, в силу права собственности, в силу этого нравственного качества, проникшего в землю, сообщает ей силу и плодородие? В том-то именно и заключается монополия собственника, что он, не создав орудия, заставляет платить себе за пользование им. Пусть явится Создатель и сам потребует арендной платы за землю — мы посчитаемся с ним, или пусть собственник, его якобы поверенный, покажет нам свою доверенность.

«Услуга собственника, — добавляет Сэй, — удобна для него; с этим согласен и я».

Наивное признание!

«Но мы не можем обойтись без неё. Не будь собственности, земледельцы дрались бы друг с другом из-за земли, не имеющей собственника, и земля оставалась бы необработанной...»

Итак, роль собственника сводится к тому, чтобы примирить земледельцев, отнимая у них всё... О справедливость, о разум! О чудесная наука экономистов! Собственник, по мнению последних, подобен тому прохожему, которого два путешественника, поспорившие из-за

устрицы, позвали рассудить их и который, вскрыв устрицу и проглотив её, сказал им:

“ «Присуждаю вам по раковине».

Можно ли сказать о собственности что-либо худшее?

Объяснит ли нам Сэй, почему земледельцы, которые без собственника дрались бы между собою из-за обладания землёй, не дерутся теперь из-за того же с собственниками? По-видимому, потому, что они считают последних законными владельцами, и потому, что уважение к фиктивному праву в них сильнее, чем жадность. Я доказал во второй главе, что владения без собственности достаточно для сохранения порядка в обществе. Неужели было бы труднее привести к соглашению владельцев, не имеющих хозяина, чем арендаторов, имеющих над собою собственников? Люди труда, уважающие в ущерб себе фиктивное право праздных людей, вряд ли решились бы нарушить естественное право производителя. Как! Разве колонист сделался бы более жадным к земле, если бы, перестав пользоваться ею, утратил на неё право? Неужели невозможность требовать дохода, взимать налог в свою пользу с труда другого могла бы сделаться источником раздоров и судебных процессов? Странная логика у господ экономистов! Мы, однако, ещё не кончили. Допустим, что собственник является законным хозяином земли.

«Земля есть орудие производства», — говорят экономисты. Это верно. Но когда они, превращая существительное в прилагательное, говорят, что «земля есть орудие производительное», они впадают в постыдное заблуждение.

Согласно Кенэ и старым экономистам, всякое производство исходит от земли. Смит, Рикардо, Дестют-де-Траси, наоборот, считают источником производства труд. Сэй и большинство тех, которые явились после него, учат, что и земля, и труд, и капиталы производительны. Это называется эклектизмом в политической экономии. Истина заключается в том, что *ни* земля, *ни* труд, *ни* капиталы непроизводительны. Производство является результатом этих трёх одинаково необходимых элементов, которые, взятые порознь, одинаково бесплодны.

В самом деле, политическая экономия трактует о производстве, распределении и потреблении богатств или ценностей, но каких ценностей? Ценностей, произведённых человеческой промышленностью, т. е. результатов превращений, которые человек заставил претерпеть вещество, чтобы сделать его пригодным для употребления, а вовсе не естественных произведений природы. Если бы даже труд человека заключался только в простом движении рукою, то всё-таки без этого движения для него не может быть произведённой ценности; без этого движения соль, заключающаяся в морях, вода источников, полевая трава, лесное дерево как бы не существуют; море без рыбака и его сетей не даёт рыбы, лес без дровосека и его топора не дал бы ни дров, ни материала для постройки; поле без косца не даёт ни сена, ни отавы; природа представляет собой как бы громадную массу материи, которую можно эксплуатировать в целях производства; но сама природа производит только для природы. С точки зрения экономической её производства, по отношению к человеку, не являются ещё произведениями.

Капиталы, орудия, машины также непроизводительны; молот и наковальня без кузнеца и железа ковать не могут; мельница без мельника и зёрна не может молотить и т. д. Сложите вместе орудия и первоначальные материалы, бросьте плуг и семена на плодородную землю, оборудуйте кузницу, зажгите огонь и затем бросьте всё это, и вы также ничего не произведёте. Факт этот был замечен экономистом, у которого больше здравого смысла, чем у остальных его товарищей: «Сэй заставляет капиталы играть активную роль, не соответствующую их природе: капиталы — это орудия сами по себе инертные» (Ж. Дроз. Политическая экономия).

Если, наконец, даже соединить труд и капиталы, но плохо комбинировать их, то они также ничего не произведут. Обработайте песчаную пустыню, обмолотите воду рек, просейте через решето типографский шрифт — всё это не даст вам ни хлеба, ни рыбы, ни книг. Ваш труд будет настолько же непроизводителен, как труд армии Ксеркса, который, по словам Геродота, заставил три миллиона своих солдат в течение суток сечь розгами Геллеспонт в наказание за то, что он разрушил и унёс понтонный мост, построенный по приказу великого царя{32}.

Орудия и капиталы, земля и труд, рассматриваемые отдельно и отвлечённо, могут считаться производительными только в переносном смысле слова. Поэтому собственник, требующий налога в свою пользу в виде платы за услугу своего орудия, за производительную силу земли, делает совершенно ложное предположение, а именно что капиталы производят сами по себе. Заставляя оплачивать этот воображаемый продукт, собственник в буквальном смысле слова ни за что получает нечто.

Возражение. Если, однако, кузнец, плотник, одним словом, всякий занятый в промышленности человек имеет право на продукт благодаря доставленным им орудиям и если земля есть орудие производства, то почему же это орудие не может доставить своему истинному или предполагаемому собственнику известную долю продукта, какую получает, напр., кузнец?

Ответ. Здесь мы наталкиваемся на самую сущность загадки, которую следует распутать для того, чтобы разобраться в странных последствиях права получать доход (*droit d'aubaine*).

Работник, изготовляющий или починяющий орудия земледельца, получает за это плату *один раз*: либо в момент сдачи работы, либо в определённые сроки. Раз эта плата выдана рабочему, то орудия, доставленные им, уже не принадлежат ему более. Никогда он не требует двойной платы за одно и то же орудие, за одну и ту же починку; если он ежегодно получает известную долю продуктов фермера, то это происходит потому, что ежегодно же он что-нибудь делает для него.

Собственник, наоборот, ничего не уступает из своего орудия. Он вечно заставляет платить себе за него и вечно сохраняет его за собою.

В самом деле наёмная плата, которую получает собственник, не включает в себя расходов на содержание и починку орудия; расходы эти ложатся на нанимателя и лишь постольку касаются собственника, поскольку он заинтересован в сохранении вещи. Если даже он

берётся сам позаботиться об этом, то он заставляет платить себе за свою услугу.

Наёмная плата не представляет собою также произведения орудия, так как орудие само по себе ничего не производит. В этом мы уже убедились выше и ещё раз будем иметь случай убедиться при дальнейшем изложении.

Наконец, наёмная плата не выражает собою также участия собственника в производстве, ибо участие это, так же как участие кузнеца или плотника, могло бы заключаться только в уступке всего орудия или части его, но в таком случае собственник перестал бы быть собственником, а это заключало бы противоречие понятию собственности.

Итак, между собственником и арендатором не происходит ни обмена ценностей, ни обмена услуг. Следовательно, как мы уже говорили в нашей аксиоме, арендная плата есть настоящая находка (*aubaine*), вымогательство, основанное исключительно на хитрости и насилии, с одной стороны, на слабости и невежестве — с другой. *Произведения*, говорят экономисты, *могут быть куплены только за произведения*. Этот афоризм есть приговор над собственностью. Собственник, сам ничего не производящий и не производящий также ничего посредством своего орудия, но получающий продукты ни за что, является либо паразитом, либо мошенником. Следовательно, если собственность может существовать только как право, то она невозможна.

Выводы.

1. Республиканская конституция 1793 года, определившая собственность как «право пользоваться плодами своего труда», впала в грубую ошибку. Ей следовало сказать: собственность есть право пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению имуществом другого, плодами труда и прилежания другого.

2. Всякий владелец земель, домов, орудий, машин, денег и т. д., отдающий свою вещь внаём за плату, превышающую расходы на ремонт, которые лежат на нанимателе и представляют собою продукты, обмениваемые им на другие продукты, — всякий такой владелец повинен в обмане и мошенничестве. Одним словом, всякая наёмная плата, взимаемая под видом возмещения проторей и убытков с процентами, но на самом деле представляющая собою плату за наём, есть акт собственности, кража.

Историческая справка. Дань, которую победоносная нация заставляет платить нацию побеждённую, есть настоящая арендная плата (*fermage*, подразумевается не аренда в современном смысле слова, но подать, которую в средневековой Франции сеньор взимал с зависимого от него крестьянина. — *Примеч. пер.*). Сеньориальные права, уничтоженные революцией 1789 года, десятина, неотчуждаемое имущество (*mains mortes*), барщины и проч. представляли собой различные формы права собственности; и те, что под именем сеньоров, духовных сановников и проч. пользовались этими правами, были только собственниками. Защищать в настоящее время собственность — значит осуждать революцию.

2-е предложение. Собственность невозможна, ибо там, где она признана, производство обходится дороже, чем оно стоит

Предыдущее предложение относилось к области права, настоящее же относится к области экономики. Оно служит доказательством, что собственность, имеющая своим источником насилие, даёт в результате отрицательную ценность.

“ «Производство, — говорит Сэй, — есть большой обмен. Для того чтобы обмен был производителен, необходимо, чтобы ценность всех услуг уравнивалась ценностью произведённой вещи. Если это условие не было выполнено, обмен был неравным, производитель дал больше, чем получил».

Так как ценность имеет своим условием необходимость полезности, то, следовательно, всякий бесполезный продукт, по необходимости, не имеет ценности, не может быть обмениваем и не может служить для *уплаты* за услуги производства.

Итак, если производство может уравновесить потребление, то оно всё-таки не может превзойти его, ибо истинное производство возможно только там, где существует производство полезности, а полезность только там, где имеется возможность потребления. Таким образом, всякий продукт, который, благодаря избыточности своей, не идёт в потребление, становится, поскольку он не потреблён, бесполезным, непригодным к обмену, теряет ценность и вместе с тем способность оплачивать что бы то ни было, одним словом, перестаёт быть продуктом.

Потребление, в свою очередь, для того, чтобы быть законным, для того, чтобы быть истинным потреблением, должно воспроизводить полезности, ибо если оно непроизводително, то продукты, уничтоженные им, являются уничтоженными ценностями, вещами, произведёнными в убыток, и это обстоятельство понижает цену продуктов ниже их ценности. Человек имеет власть уничтожать, но потребляет он только то, что воспроизводит; следовательно, в правильном хозяйстве между производством и потреблением существует равновесие.

Установив всё это, я допускаю, что существует племя, состоящее из тысячи семей, населяющее определённую замкнутую территорию и совершенно не занимающееся внешней торговлей. Это племя представит для нас в миниатюре всё человечество, которое, населяя весь земной шар, точно так же изолировано. В самом деле, так как различие между племенем и целым родом человеческим заключается лишь в численности, то экономические

результаты должны быть безусловно те же самые.

Итак, я предполагаю, что эта тысяча семей занимается исключительно производством хлеба и должна платить ежегодно натурой 10% со своего продукта сотне отдельных лиц из своей среды. Как видно, здесь право получения дохода (*droit d'aubaine*) было бы похоже на предварительное взимание части продукта общественного производства. Куда же пойдёт эта часть?

Она не может пойти на продовольствие племени, ибо снабжение его продовольствием не имеет ничего общего с арендой; она не может пойти на уплату за услуги и продукты, ибо собственники, работая, подобно всем другим, работают только для себя. Она, наконец, не принесёт пользы получающим её, ибо они, собрав хлеб в достаточном для их потребления количестве и не имея возможности приобрести что-либо другое в обществе, не знающем торговли и промышленности, не будут иметь возможности воспользоваться преимуществами своих доходов.

В таком обществе десятая часть продукта не будет потребляема, десятая часть труда не будет оплачена и, следовательно, производство будет обходиться дороже, чем оно стоит.

Превратим теперь триста наших производителей хлеба в разного рода ремесленников. Пусть тогда будет 100 садовников и виноделов, 60 сапожников и портных, 50 плотников и кузнецов, 80 человек, занимающихся различными профессиями, и для полноты картины 7 школьных учителей, 1 мэр, 1 судья, 1 священник. Каждая отрасль ремесла обслуживает всё племя. Если всё производство выразить тысячей, то потребление каждого работника будет равняться единице, т. е. на долю мяса и хлебных продуктов придётся 0,700, вина и овощей — 0,100, одежды и обуви — 0,060, железных и деревянных изделий — 0,050, различных продуктов — 0,080, образования — 0,007, администрации — 0,002, богослужения — 0,001. А всего 1.

Но общество должно уплачивать ренту в 10%; следует заметить, что всё равно, будут ли платить её одни земледельцы или все вообще трудящиеся, результат будет один и тот же. Фермер повышает цену своих продуктов сообразно с тем, что он должен уплатить. Ремесленники делают то же самое; затем, после некоторых колебаний, равновесие устанавливается и каждый платит приблизительно равную часть. Было бы серьёзной ошибкой предполагать, что в нации одни только арендаторы платят арендную плату, — в этом участвует вся нация.

Таким образом, благодаря вычету в 10%, потребление каждого работника принимает следующий вид: хлеб и мясо — 0,630, вино и овощи — 0,090, обувь и одежда — 0,054, железные и деревянные изделия — 0,045, разные продукты — 0,072, образование — 0,0063, администрация — 0,0018, богослужение 0,0009, — всего 0,9.

Работник произвёл 1, а потребляет только 0,9, следовательно, он теряет десятую часть цены своего труда: производство всё-таки обходится дороже, чем оно стоит. С другой стороны, десятая, собранная собственниками, также не представляет собою ценности, ибо, будучи сами работниками, они могут прожить девятью десятыми своего продукта и,

подобно всем остальным, ни в чём не нуждаются. Зачем им удвоение их порции хлеба, вина, мяса, одежды и проч., если они не могут ни потребить их, ни обменять? Следовательно, арендная плата для них, как и для всех других работников, не представляет ценности и погибает в их руках. Если вы расширите гипотезу и увеличите разнообразие продуктов, то результат не изменится.

До сих пор я рассматривал собственника, как принимающего участие в производстве, не только, как говорит Сэй, посредством услуг своего орудия, но фактически трудом своих рук. Однако легко понять, что при подобных условиях собственность никогда не будет существовать. Что же происходит?

Собственник — животное по существу своему похотливое, лишённое стыда и совести — не приспособлен к упорядоченной, дисциплинированной жизни. Если он любит собственность, то лишь ради того, чтобы поступать с нею по своему произволу когда и как ему вздумается. Уверенный в средствах к жизни, он предаётся легкомыслию и изнеженности; он играет, занимается глупостями, ищет новых впечатлений. Для того чтобы наслаждаться сама собою, собственность должна отказаться от общих условий жизни, предаваться роскоши и нечистым удовольствиям.

Вместо того чтобы отказаться от арендной платы, погибающей в их руках, и облегчить таким образом общественный труд, наши сто собственников отдыхают. Благодаря их отказу от работы, абсолютное производство уменьшается на 100, между тем как потребление остаётся неизменным. Производство и потребление, по-видимому, уравниваются. Однако, раз собственники перестали работать, их потребление, согласно экономическим принципам, непроизводительно. Следовательно, в обществе теперь уже не сто долей услуг остаются неоплаченными продуктом, как прежде, но сто долей продуктов потребляются без эквивалентных услуг. Дефицит всегда один и тот же, какая бы статья бюджета его ни выражала. Либо афоризмы политической экономии ложны, либо собственность, противоречащая им, невозможна.

Экономисты, рассматривающие всякое непроизводительное потребление как зло, как кражу, совершённую у человеческого рода, непрестанно увещевают собственников трудиться и быть умеренными, бережливыми. Они проповедуют им необходимость быть полезными, возвращать производству то, что от него получают; они усердно громят роскошь и лень; мораль эта, конечно, прекрасна, жаль только, что она лишена здравого смысла. Собственник, который трудится или, как говорят экономисты, приносит пользу, заставляет платить себе за этот труд и за эту пользу. Но разве он, благодаря этому, менее празден по отношению к собственностям, которых он не эксплуатирует, но с которых получает доход? Что бы он ни делал, условием его существования всегда является непроизводительность и мошенничество; он не может перестать растрачивать и уничтожать, иначе как перестав быть собственником.

Но это ещё далеко не худшее из зол, к которым ведёт собственность. Понятно, что общество может поддерживать праздных людей. В нём всегда будут существовать слепые, безрукие, слабоумные, нетрудно ему будет также пропитать нескольких лентяев. Здесь только затруднения начинают увеличиваться и усложняться.

3-е предложение. Собственность невозможна, потому что при данном капитале производство пропорционально труду, но не собственности

Для того чтобы вносить арендную плату, равную 100, считая по 10% с продукта, нужно, чтобы продукт равнялся 1000, а для этого нужна сила 1000 работников. Отсюда следует, что, освободив от работы наших 100 работников-собственников, имевших одинаковое право вести жизнь раньше, мы сделали невозможным для себя выплачивать им их доходы. В самом деле, если производительная сила, равнявшаяся раньше 1000, уменьшилась до 900, то производство также уменьшилось до 900 и десятая часть от него будет равняться 90. Таким образом, десяти собственникам из ста не придётся платить ничего, если остальные 90 захотят получить свою арендную плату полностью, или же всем им придётся согласиться на уменьшение арендной платы на 10%, ибо не работнику, исполнившему все свои обязанности и производившему по-прежнему, придётся страдать от ухода собственника. Последнему самому придётся страдать от последствий своей бездеятельности. Тогда собственник окажется более бедным, благодаря именно тому, что захочет наслаждаться; пользуясь своим правом, он теряет его, так что собственность как будто уменьшается и улетучивается, по мере того как мы стараемся схватить её. Чем больше мы за нею гоняемся, тем неуловимее она становится. Что же это за право, которое изменяется пропорционально численным отношениям и которое может быть уничтожено арифметической комбинацией?

Собственник-работник получал: 1) как работник 0,9 жалованья, 2) как собственник 1,0 арендной платы. Он сказал себе: моей аренды достаточно; мне не нужно работать, чтобы иметь всё в изобилии; и вот расход, на который он рассчитывал, оказывается, уменьшился на 10%, и он даже не понимает, как это произошло. Принимая участие в производстве, он сам именно производил те 10%, которых он не получает более; и, думая, что он работает только для себя, он, сам того не замечая, при обмене своих продуктов, нёс потерю, в результате которой сам себе платил 10% своей собственной арендной платы. Подобно всем другим, он производил 1, а получал только 0,9.

Если бы вместо 900 работников было только 500, то сумма арендной платы уменьшилась бы до 50; если бы их было только 100, она упала бы до 10. Итак, мы можем, в качестве закона экономии собственников, установить следующую аксиому: *доход (aubaine) должен уменьшаться по мере того, как число праздных людей возрастает.*

Этот первый результат приведёт нас к другому, ещё гораздо более неожиданному: мы одним ударом освободимся от всех тягот собственности, не уничтожая её, не причиняя несправедливости собственникам, посредством в высшей степени консервативного приёма.

Мы видели, что, если арендная плата общества, состоящего из 1000 работников, равна 100, арендная плата 900 будет равняться 90, 800 — 80, 100 — 10 и т. д. Если бы общество состояло из одного только работника, арендная плата составляла бы 0,10, независимо от размеров и ценности составляющей собственности земли. Следовательно, *при данном земельном капитале производство будет пропорционально труду, но не пропорционально собственности.*

Постараемся же теперь, согласно этому принципу, найти максимум дохода (aubaine) для всякой собственности.

Что такое представляет собой, по существу, арендный договор? Это договор, посредством которого собственник уступает арендатору пользование своею землёю в обмен на часть того, что он, собственник, получал от неё. Если, благодаря увеличению своей семьи, арендатор окажется в десять раз работоспособнее своего собственника, он будет производить в десять раз больше. Может ли это послужить причиной для того, чтобы собственник увеличил арендную плату? Его право не гласит: чем больше ты производишь, тем больше я требую, но, чем больше я даю, тем больше я требую. Увеличение семьи фермера, число рук, которыми он располагает, размеры его прилежания, причины увеличения производства — всё это не касается собственника; его притязания должны измеряться производительной силой, заключающейся в нём самом, но не производительными силами других людей. Собственность есть право получать доход (droit d'aubaine), но не право взимать подушную подать. Каким образом человек, едва способный обрабатывать один несколько сажень, в силу того что у него есть 10 000 гектаров собственной земли, может потребовать от общества в 10 000 раз больше, чем он мог бы произвести сам? Каким образом цена займа увеличивалась бы пропорционально таланту и силе заёмщика, вместо того чтобы увеличиваться пропорционально полезности, которую может извлечь из него собственник? Итак, мы вынуждены признать следующий второй экономический закон: *мерилом дохода (aubaine) является дробь производства собственника.*

Что же такое это производство? Иными словами: о каком убытке может говорить господин и хозяин земли, уступая её в пользование фермеру?

Так как производительная сила собственника, подобно производительной силе каждого другого рабочего, равна единице, то продукт, которого он лишает себя, уступая свою землю, также равняется единице. Если, следовательно, норма дохода (aubaine) равна 10%, то максимум всякого дохода (aubaine) будет равняться 0,1.

Но мы видели, что каждый раз, когда один из собственников покидает производство, сумма продуктов уменьшается на одну единицу; таким образом, приходящийся на его долю доход, равнявшийся 0,1, пока он оставался работником, после его ухода, согласно закону уменьшения арендной платы, будет равняться 0,09. Это приводит нас к следующей, последней формуле: *максимум дохода собственника равняется квадратному корню из продукта одного работника* (если продукт этот выражается в каком-нибудь определённом числе); *уменьшение, претерпеваемое этим доходом, когда собственник остаётся праздным, равняется дроби, числителем которой будет единица, а знаменателем — число, выражающее собою продукт.*

Таким образом, максимум дохода собственника, остающегося праздным или работающего за свой собственный счёт, вне общества, исчисленный из 10% на среднее производство в 1000 франков на рабочего, будет 90 франков. Если, следовательно, во Франции насчитывается 1 миллион собственников, получающих в среднем 1000 франков дохода и тратящих его непроизводительно, то, вместо 1 миллиарда, который они заставляют платить себе каждый год, им, согласно точному смыслу права и согласно самому точному расчёту, следует только 90 миллионов.

Уменьшение налогового бремени, лежащего главным образом на трудящихся классах, на 910 миллионов представляет собою весьма значительное облегчение. Счёты наши, однако, ещё не покончены, и работник ещё не знает всех размеров своих прав.

Что такое право на получение дохода (*droit d'aubaine*), сведённое, как мы сейчас только это сделали, к справедливым размерам? Это есть признание права завладения; но так как право завладения равно для всех, то все с одинаковым правом будут собственниками. Всякий человек будет иметь право на доход, равный известной дроби его продукта. Если, следовательно, рабочий, в силу права собственности, обязан платить собственнику ренту, то собственник, в силу того же права, обязан платить такую же ренту работнику, а так как права их взаимно уравниваются, то разность между ними равна нулю.

Примечание. Если арендная плата, согласно закону, может быть только дробью предполагаемого продукта собственника, каковы бы ни были размеры и значение собственности, то то же самое имеет место для большего числа отдельных мелких собственников, ибо хотя один человек может эксплуатировать отдельно каждую из их собственности, но он не может эксплуатировать их одновременно все.

Сделаем теперь вывод: право на получение дохода (*droit d'aubaine*), могущее существовать лишь в весьма узких пределах, ограниченных законами производства, уничтожается правом завладения; но без этого права нет собственности, следовательно, собственность невозможна.

4-е предложение. Собственность невозможна потому, что она смертоносна

Если бы право на получение дохода (*droit d'aubaine*) могло быть подчинено законам разума и справедливости, то оно свелось бы к вознаграждению или возмещению расходов, максимум которого для отдельного человека никогда не превышал бы известной дроби того, что он сам способен произвести; мы это доказали выше. Но зачем право получать доход, назовём его, впрочем, настоящим его именем — право кражи, стало бы подчиняться разуму, с которым не имеет ничего общего? Собственник не довольствуется доходом, предоставленным ему природою и здравым смыслом: он заставляет платить себе в десять,

сто, тысячу, миллион раз больше. Один он извлёк бы из принадлежащей ему вещи только 1 единицу продукта, но от общества, созданного вовсе не им, он требует уже не вознаграждения, пропорционального его, собственника, производительной способности, но подушной подати; он оценивает своих братьев сообразно их силе, численности и прилежанию. У земледельца родится сын. Отлично, говорит собственник, это лишний доход. Как совершилось это превращение арендной платы в подушный налог? Как могли допустить наши юристы и богословы, эти изворотливые учёные, что право на получение дохода (*droit d'aubaine*) приобрело такое распространительное толкование?

Рассчитав, на основании производительности своей собственности, сколько рабочих она может занять, собственник делит её на части и говорит: каждый будет мне платить доход (*aubaine*). Таким образом, ему стоит только разделить свою собственность, чтобы увеличить свои доходы. Вместо того чтобы исчислять следуемые ему проценты на основании собственного своего труда, собственник исчисляет их соответственно своему капиталу. Благодаря этому, собственность, дающая в руках хозяина всего только единицу продукта, даст ему в руках других людей десять, сто, тысячу, миллион единиц. Ему остаётся только записывать имена приходящих к нему работников, задача его сводится к выдаче разрешений и расписок.

Не довольствуясь выгодами своего положения, собственник не желает также нести дефицит, вытекающий из его собственной бездеятельности: он его также возлагает на работника, от которого требует всегда одной и той же платы. Повысив арендную плату до крайних пределов возможного, собственник никогда не понижает её; дороговизна средств к жизни, недостаток рабочих рук, неблагоприятная погода и даже смертность его не касаются. Зачем ему страдать от бедствий данного момента, раз он сам не работает?

Здесь начинается новый ряд явлений.

Сэй, рассуждающий удивительно верно, когда он нападает на налоги, но не желающий понять, что собственник в такой же мере грабит арендатора, как и сборщик податей, говорит, поддерживая Мальтуса:

«Если сборщик податей, его помощники и пр. берут шестую часть продукта, то они тем самым заставляют производителей питаться, одеваться и вообще жить, пользуясь пятью шестыми своего продукта. С этим соглашаются, но в то же время говорят, что каждый может жить и на пять шестых своего продукта. Я, если угодно, тоже согласен с этим; но я в свою очередь спрошу, мог ли бы производитель жить так же хорошо, если бы у него вместо одной шестой отнимали две шестых или треть его продукта? — Нет, но он всё-таки мог бы жить. — Тогда, спрашивается, был ли бы он в состоянии жить, если бы его лишили двух третей, трёх четвертей его продукта? Я замечаю, что мне на это ничего не отвечают».

Если бы вдохновитель французских экономистов был менее ослеплён собственническими предрассудками, то он увидел бы, что аренда ведёт к таким же результатам.

Пусть семья крестьянина состоит из шести человек: отца, матери и четырёх детей; все они живут в деревне, эксплуатируя небольшое имение. Я предполагаю, что они, работая

усердно, могут, что называется, свести концы с концами; удовлетворяя все свои потребности, они не делают долгов, но не делают и сбережений. Каков бы ни был год, прожить они могут; когда урожай хорош, отец пьёт немного больше вина, дочери покупают себе платья, сыновья — новую шляпу; они едят пшеничный хлеб, иногда немного мяса. И вот я утверждаю, что эти люди гибнут, разоряются.

Ибо, согласно третьему выводу из нашей аксиомы, они сами себе должны выплачивать ежегодно известный процент на принадлежащий им капитал; пусть он будет равен 8000 франков по 2 ½% годовых, это составит 200 франков в год. Если эти 200 франков не вычитаются из валового дохода и не капитализируются как сбережение, но поступают в потребление, то в активе нашей семьи получается ежегодный дефицит в 200 франков, так что через сорок лет эти добрые люди, не подозревающие ничего подобного, съедят своё имение и будут разорены.

Такой вывод кажется смешным, но на самом деле это печальная истина.

Наступает время призыва... Что такое призыв? Это акт насилия, который правительство совершает над семьями, насильственное отнятие людей и денег. Крестьяне очень не любят отпускать своих детей, и я полагаю, что они правы. Трудно допустить, чтобы двадцатилетний мужчина извлёк для себя пользу из пребывания в казарме. Если он, живя в ней, не разворачивается, то учится презирать себя. О нравственности солдата в общем можно судить по его ненависти к мундиру; француз, находящийся на военной службе, либо несчастный, либо негодяй. Этого не должно бы быть, но тем не менее это так. Спросите сто тысяч людей — ни один из них не опровергнет моих слов.

Для того чтобы избавить своих сыновей от рекрутчины, наш крестьянин платит 4000 франков, которые он занял из 5%, что и составит упомянутые нами выше 200 франков. Если до сих пор производство семьи, регулярно уравнивавшееся потреблением, равнялось 1200 франков, т. е. 200 франков на каждого члена семьи, то теперь для уплаты процентов либо шести работникам нужно произвести столько, сколько производят семь, либо же им нужно потреблять столько, сколько потребляют пять. Потребление урезать нельзя, ведь нельзя же урезать необходимое. Производить больше также невозможно, нельзя работать ни больше, ни лучше. Может быть, избрать средний путь, потреблять за пятерых с половиной и производить за шестерых с половиной? Тогда вскоре обнаружится, что с желудком немислимо вступать в соглашения; что известного предела воздержности перейти нельзя и что, не подвергая опасности здоровье, из необходимого можно сберечь очень мало; что же касается излишка продуктов, то достаточно сильного утренника, засухи, падежа скота, для того чтобы все надежды земледельца рушились. Одним словом, проценты платить будет не из чего, недоимки накопятся, именьице будет отобрано, а прежний владелец изгнан из него.

Таким образом, семья, жившая счастливо, пока она не пользовалась правом собственности, тотчас же впадает в нищету, как только необходимость заставила её воспользоваться этим правом. Для того чтобы удовлетворить собственности, колонист должен бы обладать одновременно и способностью увеличивать площадь земли, и умением увеличивать её плодородие словами. Будучи только владельцем земли, человек находит на ней пропитание,

но, становясь собственником, он уже не может довольствоваться тем, что она даёт. Человек может производить не больше, чем он потребляет, плод его труда является и наградой за труд, для уплаты за пользование орудием ничего не остаётся.

Выплачивать то, чего он не в состоянии произвести, — такова судьба арендатора с тех пор, как собственник отказался от участия в производстве, для того чтобы эксплуатировать работника при помощи новых приёмов.

Вернёмся теперь к нашему первоначальному предположению.

Девятьсот работников, уверенные в том, что они произвели столько же, как и прежде, изумлены, когда после взноса арендной платы они оказываются на одну десятую часть беднее, чем в предыдущем году. В самом деле, прежде эта десятая часть производилась собственником-рабочим, принимавшим участие и в производстве и в платежах; теперь же эта десятая часть не была произведена, но уплатить её нужно. Таким образом, потребление производителей должно уменьшиться. Чтобы пополнить непонятный дефицит, работник делает заём, уверенный в возможности погасить его; но на следующий год оказывается необходимым новый заём и проценты возрастают. У кого занимает работник? У собственника. Собственник даёт займы рабочему полученный от него же излишек, и этот излишек, который он должен бы вернуть, тоже даёт ему прибыль в форме процентов. Долг возрастает бесконечно, собственнику надоедает давать займы производителю, никогда не возвращающему взятое, а производитель, постоянно подвергающийся грабежу и постоянно занимающий то, что у него же было взято, в конце концов разоряется.

Предположим, что собственник, нуждающийся для получения доходов в арендаторе, прощает ему долг. Тогда окажется, что он совершил подвиг благотворительности, и господин кюре в своей проповеди рекомендует прихожанам помолиться за него, между тем как бедный арендатор, сконфуженный неистощимым милосердием хозяина и наученный катехизисом молиться за благодетелей, обещает себе удвоить усердие и лишения, для того чтобы отблагодарить такого достойного хозяина.

На этот раз арендатор старается принять меры, он повышает цены на хлеб. Ремесленник также повышает цену на свои продукты, происходит реакция, и после некоторых колебаний арендная плата, часть которой крестьянин пытался переложить на ремесленника, оказывается в прежнем положении. Между тем как арендатор радуется успеху своих мероприятий, он на самом деле стал ещё беднее, чем прежде, но бедность его увеличилась в несколько меньшей против прежнего пропорции. Дело в том, что при общем повышении цен пострадал и собственник, и, таким образом, работники обеднели не на одну десятую, а только на девять сотых. Но долг остаётся долгом, и для уплаты его надо снова занимать, платить проценты, откладывать сбережения и голодать. Голодать приходится из-за девяти сотых, которые работнику не следовало бы платить и которые он всё-таки платит, из-за погашения долга и ради уплаты процентов на этот долг; а когда урожай плохой, голод ведёт к полному истощению. Говорят: надо больше работать. Но ведь прежде всего чрезмерный труд действует на человека так же убийственно, как и недоедание, что будет, если практиковать и то и другое одновременно? *Надо больше работать* — этим, по-видимому, хотят сказать, что *надо больше производить*. При каких же условиях происходит

производство? При условии комбинированного действия труда, капитала и земли. Труд даёт арендатор; капиталы же образуются только благодаря сбережениям, и если бы арендатор мог сберечь что-нибудь, он уплатил бы свои долги. Допустим даже, что капитал у фермера есть, но что он с ним будет делать, если площадь обрабатываемой им земли не увеличится? Именно площадь земли надо бы увеличить.

Быть может, скажут наконец, что надо работать лучше и плодотворнее? Но ведь арендная плата рассчитана на среднюю производительность, превзойти которую нельзя; в противном случае собственник повысил бы эту плату. Разве крупные землевладельцы не увеличивали постепенно арендную плату, по мере того как рост народонаселения и развитие промышленности показывали им, что общество может извлечь из их земель. Собственник остаётся чуждым социальным интересам. Подобно коршуну, он, впившись глазами в свою жертву, готов накинуться на неё и пожрать её.

Факты, которые мы видели, наблюдая общество из тысячи людей, совершаются, в больших только размерах, внутри каждой нации и внутри всего человечества, конечно, они при этом значительно усложняются и видоизменяются, но описывать эти усложнения и видоизменения в мою задачу не входит.

Собственность, ограбившая рабочего при помощи ростовщичества, теперь медленно убивает его изнурением. Без грабежа и убийства собственность не может существовать. Но даже при их помощи она быстро погибает за отсутствием поддержки: следовательно, собственность невозможна.

5-е предложение. Собственность невозможна, потому что разлагает общество

Когда на осла наваливают чрезмерную тяжесть, он падает; человек непрестанно идёт вперёд. Это непоколебимое мужество хорошо известно собственнику, и на нём он основывает свои расчёты. Свободный рабочий производит 10 единиц; для меня, думает собственник, он произведёт 12.

В самом деле, прежде чем допустить конфискацию своего поля, прежде чем распрощаться с отеческой кровлей, крестьянин, историю которого мы рассказали, делает отчаянную попытку — снимает в аренду новый участок земли. Он будет сеять на одну треть больше, а так как половина нового продукта будет принадлежать ему, то он получит излишек в одну шестую и уплатит ренту. Какого это будет стоить труда! Для того чтобы увеличить свой продукт на одну шестую, крестьянину придётся усилить свой труд не на одну, а на две шестых. Только такую цену может он собрать урожаем и внести арендную плату, которую он вносить бы не должен.

Ремесленник в свою очередь старается сделать то же самое, что и крестьянин: последний работает больше и обездоливает своих соседей; первый же понижает цену своего продукта, старается захватить в свои руки производство и продажу и вытеснить своих конкурентов. Чтобы насытить собственность, нужно, прежде всего, чтобы рабочий производил сверх своих потребностей; затем, чтобы он работал сверх сил, ибо, благодаря уходу рабочих, сделавшихся собственниками, второе всегда является следствием первого. Но для того чтобы производить сверх сил и потребностей, нужно завладеть производством другого и, следовательно, уменьшить число производителей: таким образом собственник, понизивший производство своим уходом, понижает его ещё более, поддерживая барышничанье трудом. Посмотрим, что из этого выходит.

Так как после уплаты ренты работник заметил дефицит в одну десятую, то он именно на эту сумму старается увеличить своё производство. Единственное средство для достижения этой цели — усиленный труд, и работник прибегает к нему. Недовольство собственников, не получивших сполна всей платы, выгодные предложения, какие им делают другие арендаторы, которые кажутся собственникам более прилежными, трудолюбивыми и достойными доверия, скрытые махинации и интриги — всё это вызывает перемену в распределении работ и удаление известного числа производителей. Из 900 — 90 будут изгнаны для того, чтобы производство остальных увеличилось на одну десятую. Но увеличится ли от этого общая сумма произведений? Вовсе нет; мы будем иметь 810 работников, производящих столько же, сколько производили 900, а между тем они должны были бы производить столько, сколько производили 1000. Но так как арендная плата устанавливалась не сообразно труду, но сообразно заключающемуся в земле капиталу, и к тому же она не уменьшается, то долги, как и прежде, увеличиваются. Итак, мы видим общество, которое всё более и более уменьшается; оно погребло бы, если б разорения, банкротства, политические и экономические катастрофы не устанавливали периодически равновесия и не отвлекали бы внимания людей от истинных причин всех бедствий.

После захвата капиталов и земель начинается ряд экономических мероприятий, благодаря которым снова известное число работников оказывается выброшенным из производства. Преследуя повсюду только выгоду, арендатор и предприниматель каждый говорит самому себе: я имел бы средства уплатить арендную плату и проценты, если бы мне приходилось платить меньше за рабочие руки. Тогда возникают изумительные изобретения, предназначенные для того, чтобы облегчить и ускорить работу, но на самом деле являющиеся адскими машинами, убивающими рабочих тысячами.

“ «Несколько лет тому назад графиня Страффорд выселила со своих земель 15 000 человек, арендовавших эти земли. Такой же акт частного административного произвола был совершён в 1820 году другим крупным шотландским помещиком по отношению к 600 семьям арендаторов» (*Тиссо. Du Suicide et de la Révolte*).

Цитированный мною автор, написавший весьма красноречивые страницы о революционном духе, волнующем современные общества, не говорит, одобрил ли бы он изгнанников, если бы они восстали. Я со своей стороны открыто заявляю, что, на мой взгляд, восстание было

первым их правом и священнейшею обязанностью, и теперь у меня одно только желание, чтобы это моё убеждение было понято.

Общество разлагается: 1) благодаря периодическим, насильственным актам устранения рабочих, что мы уже видели и ещё увидим ниже; 2) благодаря тому, что собственность ограничивает потребление рабочих. Оба эти вида самоубийства сначала происходят одновременно, вскоре, однако, первый приобретает новую силу благодаря второму; голод присоединяется к эксплуатации и делает труд в одно и то же время и более необходимым, и более редким.

Согласно принципам торговли и политической экономии, для того чтобы промышленное предприятие имело успех, нужно чтобы продукт его был равен: 1) процентам на капитал; 2) расходам на содержание этого капитала; 3) сумме вознаграждения, получаемого всеми рабочими и предпринимателями; кроме того, нужно, чтобы предприятие давало ещё известный чистый доход.

Можно удивляться хищническому и стяжательному гению собственности: сколько бы названий ни носил доход (*aubaine*), собственник требует уплаты его под всеми этими названиями одновременно. Он получает её: 1) в форме процентов, 2) в форме прибыли. Ибо, говорит он, проценты на капитал составляют часть авансируемой на производство суммы. Если вложить в какую-нибудь фабрику 100 000 и получать с неё, за вычетом расходов, только 5000 франков в год, то это значит получать только проценты на капитал, но не прибыль. Но собственник не такой человек, чтобы согласиться работать даром. Подобно льву в басне, он заставляет платить себе за все свои преимущества, так что в конце концов, когда он удовлетворён, для союзников его ничего не остаётся.

“ Ego primam tollo, nominor quia leo: Secundam quia sum fortis tribuetis mihi: Cum quia plus valeo, me sequetur tertia: Malo adficietur, si quis quartam tetigerit{33}.”

Я не знаю ничего лучше этой басни:

“ Я предприниматель и беру себе первую часть:
Я работник и беру вторую:
Я капиталист и беру третью:
Я собственник и беру себе всё.”

В четырёх строках Фейербах перечислил все формы собственности.

Я говорю, что эти проценты и тем более эта прибыль невозможны.

Что такое представляют собою работники по отношению друг к другу? Они являются различными членами большого промышленного общества, и на каждого из них в отдельности возложена известная доля всего вообще производства, согласно принципу разделения труда и функций. Допустим, что общество состоит только из трёх членов: одного скотовода, одного дубильщика и одного сапожника. Всё общественное производство

сводится к изготовлению сапог. Если я спрошу, какую долю продукта общества должен получать каждый производитель, то первый попавшийся школьник ответит мне, что, согласно правилу товарищества, каждый должен получить одну треть. Но для нас вовсе не важно установить равенство прав работников, вступивших в союз на основании договора; нам нужно доказать, что наши три работника, будут ли они объединены договором или нет, должны действовать так, как будто договор существует, что, добровольно или против воли, они, в силу всего хода вещей, в силу математической необходимости, должны составлять общество.

Для изготовления сапог нужно проделать три операции: выкормить скот, выделывать шкуры, скроить и сшить сапоги. Если кожа, выходя из хлева фермера, стоит 1, то, выходя из мастерской скорняка, она стоит 2, а при выходе из лавки сапожника 3. Каждый работник произвёл известную сумму полезности; сложив все эти суммы полезности, мы получим ценность произведённой вещи. Для того чтобы получить какое-либо количество данной вещи, производитель должен заплатить сначала за свой собственный труд, а затем за труд других производителей. Таким образом, для того чтобы получить 10 единиц кожи, превращённой в башмаки, фермер должен дать 30 единиц сырой, а скорняк 20 единиц выделанной кожи. Ибо 10 единиц кожи, переработанной в башмаки, стоят столько же, как и 30 единиц невыделанной кожи, ибо на первые истрачено столько же труда тремя производителями, как на вторые одним, а 20 единиц выделанной кожи, благодаря труду, затраченному на них скорняком, стоят столько же, как и 30 единиц сырой кожи. Но если сапожник потребует от фермера 33, а от скорняка 22 единицы в обмен на 10 единиц своих изделий, то обмен не состоится, так как фермер и скорняк, платившие за труд сапожника 10 единиц, будут вынуждены заплатить 11 за то, за что они получили 10, а это невозможно.

Однако именно это и происходит каждый раз, когда промышленник получает прибыль, как бы эта прибыль ни называлась: рентой ли или арендной платой, процентами, барышом. Если бы в маленьком обществе, о котором мы говорили, сапожнику пришлось занять деньги для того, чтобы купить инструменты, кожу и средства к жизни, нужные ему, пока он не получит своего заработка, то очевидно, что для уплаты процентов по займу он должен получать прибыль с фермера и скорняка. Но получение прибыли без обмана невозможно, и поэтому проценты всею тяжестью лягут на злосчастного сапожника и разорят его.

Я взял примером случай фантастический и неестественно простой: нет человеческого общества, в котором функции сводятся к трём. Наименее цивилизованное общество немислимо без целого ряда ремёсел. В настоящее время число промышленных функций (я подразумеваю при этом всякую полезную функцию), быть может, превышает тысячу. Но каково бы ни было число занятых исполнением этих функций людей, экономический закон от этого не изменяется: *для того чтобы производитель мог жить, необходимо, чтобы заработная плата его выкупала его продукт.*

Экономисты не могут не знать этого основного принципа их якобы науки; почему же они упорно поддерживают собственность, неравенство вознаграждения, законность ростовщичества, честность барыша, если все эти вещи противоречат экономическому закону и делают невозможными всякие сделки? Предприниматель покупает на 100 000 франков сырого материала, он уплачивает 50 000 франков заработной платы и хочет

получить на 200 000 франков продуктов, т. е. хочет получить прибыль с сырого материала, и с труда своих рабочих. В состоянии ли, однако, просуществовать поставщики сырья и работники, если заработной платы их недостаточно для того, чтобы выкупить произведённые ими для предпринимателя продукты? Я ниже разовью мой вопрос, ибо для разрешения его необходимо войти в подробности.

Если работник в среднем получает за свой труд по 3 франка в день, то для того, чтобы капиталист, дающий ему работу, получал сверх собственного своего жалованья ещё хотя бы проценты на капитал, вложенный в сырьё, необходимо, чтобы он, продавая дневной труд рабочего, принявший форму товара, получал за него больше 3 франков. Поэтому рабочий не может выкупить то, что он произвёл для хозяина. Это верно относительно работников всех профессий: портных, шапочников, столяров, кузнецов, скорняков, каменщиков, типографов, приказчиков и пр. и пр.; все они, вплоть до земледельца и винодела, не могут выкупить своих продуктов, ибо, работая на хозяина, получающего прибыль в той или иной форме, они, для выкупа своих продуктов, должны были бы уплатить за свой собственный труд больше, чем получают сами.

Во Франции 20 миллионов работников, трудящихся во всех отраслях науки, искусства и промышленности, производят все вещи, необходимые для существования человека. Допустим, что сумма их рабочих дней ежегодно равняется 20 миллиардам. Благодаря существованию права собственности и целого ряда видов дохода: десятины, процентов, прибыли, арендной платы, платы за наём, ренты и всякого рода барыша — собственники и хозяева оценивают свои продукты в 25 миллиардов. Что же это значит? Это значит, что работники, вынужденные покупать произведённые ими же продукты, должны либо платить 5 единиц за то, за что сами они получили 4, либо из пяти дней один проводить в посте.

Если во Франции найдётся экономист, способный доказать, что расчёт мой неверен, то я прошу его назвать себя и обязуюсь формально взять назад всё то, что я по злобе и несправедливости ставил в упрёк собственности.

Посмотрим теперь, к каким последствиям ведёт существование прибыли?

Если бы заработная плата рабочих была одинакова во всех профессиях, то дефицит, вызванный начётом собственника, ощущался бы в одинаковой степени всеми, но и причина зла была бы настолько очевидной, что её давно заметили и устранили бы. Но так как между заработной платой людей, начиная с подметальщика и кончая министром, существуют такие же различия, как и между собственностями, то современная система социального грабежа сильнее отражается на слабых, чем на сильных: чем ниже стоит рабочий на социальной лестнице, тем больше терпит он лишений, а низший класс общества в буквальном смысле слова гол и поедается остальными.

Рабочий народ не может купить ни материи, которые он ткёт, ни мебель, которую он изготавливает, ни металлы, которые он выковывает, ни драгоценные камни, которые шлифует, ни гравюры, которые вырезает. Он не может приобрести ни посеянный им хлеб, ни приготовленное им вино, ни мясо воспитанных им животных; ему нельзя жить в построенных им домах, присутствовать на оплаченных им спектаклях, воспользоваться

отдыхом, нужным его телу. Почему? Потому что, желая воспользоваться всем этим, он должен бы заплатить за него цену стоимости и потому что право на получение дохода (*droit d'aubaine*) не допускает этого. На вывесках роскошных магазинов, вызывающих у него удивление, рабочий читает написанные большими буквами слова: *это дело твоих рук, и ты его не получишь*: Sic vos non vobis!{34}

Всякий хозяин мануфактуры, в которой работает 1000 человек, получающий с каждого из них по одному су прибыли в день, готовит бедствия для этой тысячи работников; всякий собственник, получающий прибыль, — участник заговора против народа. Народ, однако, не имеет даже работы, при помощи которой собственность заставляет его голодать; почему? Потому что недостаточность заработной платы вынуждает рабочих набирать как можно больше работы и потому что, прежде чем погибнуть от истощения, рабочие губят друг друга конкуренцией. Никогда не следует упускать из виду эту истину.

Если заработной платы рабочего недостаточно, чтобы он мог купить свой продукт, то последний, очевидно, предназначен не для него. Для кого же он предназначен? Для богатого потребителя, т. е. только для известной части общества. Но если всё общество работает, то оно и производит для всего общества; если, следовательно, только часть общества потребляет, то рано или поздно часть его должна отдыхать. Отдыхать, однако, значит погибнуть как для работника, так и для собственника. Из этого заколдованного круга выхода нет.

Нет более печального и жалкого зрелища, нежели то, которое представляют собою работники, борющиеся против этой математической необходимости, против этого могущества цифр, потому что работа мешает им заметить их.

Если 100 000 типографских рабочих могут удовлетворить потребности в книгах 34 миллионов человек и если книги, благодаря своей стоимости, доступны только третьей части потребителей, то, очевидно, 100 000 рабочих произведут втрое больше, чем смогут продать книгопродавцы. Для того чтобы производство книг никогда не превышало спрос потребителей, необходимо, чтобы рабочие два дня из трёх не работали или чтобы они сменяли друг друга в работе еженедельно, ежемесячно или по четвертям года — словом, чтобы они две трети своей жизни не жили. Но, благодаря воздействию собственников, такой порядок в промышленности не существует: промышленность по самому существу своему стремится произвести много в короткое время, ибо, чем больше количество продуктов, чем быстрее идёт производство, тем дешевле обходится каждый отдельный продукт. При первых признаках истощения запасы мастерские наполняются, все принимаются за работу; торговля процветает, и хозяева, и рабочие — все довольны своей судьбой. Но чем оживлённее работа, тем ближе безработица; чем больше человек смеётся, тем больше ему предстоит плакать. При господстве собственности цветы промышленности служат только для сплетения надгробных венков: рабочий, который трудится, сам себе копает могилу,

Когда мастерская не работает, капитал начинает сам себя пожирать, поэтому хозяин-производитель, естественно, старается продолжать производство и уменьшить его издержки. Тогда начинается сокращение заработной платы, замена рабочих машинами, мужского труда женским и детским, обесценивание труда, понижение качества продукта.

Производство ещё существует, потому что уменьшение стоимости производства даёт возможность расширить сферу сбыта, но оно может просуществовать недолго, ибо, благодаря зависимости стоимости производства от быстроты и количества его, производство более чем когда-либо имеет тенденцию превысить потребление. И вот когда останавливается производство, которое давало рабочим заработок, едва хватавший для жизни изо дня в день, тогда последствия принципа собственности принимают ужасную форму: никакие сбережения, никакое скопидомство не может здесь помочь. Сегодня закрывается мастерская, завтра рабочему предстоит пост под открытым небом, а послезавтра голодная смерть в госпитале или ужин в тюрьме.

Ужасное положение усложняется новыми обстоятельствами.

Вследствие застоя в торговле и крайнего падения цен, предприниматель не в состоянии платить проценты на капитал, вложенный в его предприятие; испуганные акционеры поспешно продают свои акции, производство останавливается. А потом публика удивляется, почему капиталы покидают промышленность и наводняют биржу; я слышал однажды, как г. Бланки горько жаловался на невежество и неразумие капиталистов. Причина мобилизации капиталов очень проста; но именно поэтому экономист не мог её заметить или, вернее, не должен был говорить о ней; причиной этого является исключительно одна только *конкуренция*.

Я называю конкуренцией не только соперничество между предприятиями одной и той же отрасли промышленности, но общие и одновременные усилия, которые делают все отрасли промышленности для того, чтобы превзойти друг друга. В этом отношении дело дошло до того, что цена товаров едва покрывает издержки производства и продажи; за вычетом заработной платы рабочих капиталистам не остаётся ничего, даже не остаётся процентов на капитал.

Следовательно, первой причиной промышленного и коммерческого застоя являются проценты на капитал, проценты, взимание которых весь античный мир заклеил названием *ростовщичества*, когда они служат для оплаты денег, но которых никто ещё не осмеливался осуждать, когда они носили название прибыли, арендной или наёмной платы, как будто качество отданной внаём вещи может оправдать плату за наём, кражу!

Таков доход (*aubaine*), получаемый капиталистом, такова частота и интенсивность торговых кризисов; раз первый известен, то всегда можно определить две остальные, и наоборот. Желаете вы знать, каков регулятор данного общества? Так установите массу активных, т. е. приносящих проценты, капиталов и законную норму этих процентов. Ход событий тогда представится вам в виде целого ряда кризисов, численность и интенсивность которых будут соответствовать активности капиталов.

В 1839 году число банкротств в одном Париже дошло до 1064; в первые месяцы 1840 года они случались также часто, и теперь, когда я пишу эти строки, кризис, по-видимому, ещё не кончился. Кроме того, говорят, что число фирм, прекращающих дела, гораздо больше числа фирм, объявивших свою несостоятельность; по размерам этих бедствий можно судить о силе промышленного урагана.

Разложение общества совершается то медленно и незаметно, то быстро и скачками, это зависит от различных способов действия собственности. В стране мелкой собственности и мелкого производства права и притязания отдельных лиц уравнивают друг друга, попытки захватов взаимно уничтожаются; здесь, в сущности, собственности нет, ибо право на получение дохода (*droit d'aubaine*) развито слабо. Положение рабочих, в смысле обеспеченности существования, почти такое же, как и при полном равенстве; они лишены удобств полной и открытой ассоциации, но по крайней мере самое существование их не подвергается опасности. За исключением нескольких отдельных жертв права собственности, причину гибели которых никто не замечает, общество, по-видимому, пользуется покоем в объятиях этого подобия равенства. Но берегитесь, равновесие его покоится на острие шпаги; при малейшем толчке оно рухнет и погибает.

Обыкновенно вихрь, смерч собственности носит местный характер: с одной стороны, арендная плата устанавливается на определённом уровне; с другой стороны, благодаря конкуренции и перепроизводству, цена товаров не повышается; таким образом, положение крестьянина остаётся прежним и зависит только от времени года. Оказывается, что разрушительное действие собственности отражается главным образом на промышленности. Поэтому-то мы и говорим обыкновенно *коммерческие*, а не *земледельческие кризисы*; между тем как арендатор лишь постепенно пожирается правом на получение доходов (*droit d'aubaine*), промышленный рабочий сразу погибает под его воздействием. Отсюда же безработица, гибель целых состояний, отсюда бедственное положение рабочего класса, часть которого периодически погибает на больших дорогах, в госпиталях, тюрьмах и на каторге.

Резюмируем сказанное:

Собственность продаёт рабочему продукт дороже, чем она его оплачивает; следовательно, она невозможна.

Приложение к 5-му предложению

I. Некоторые сторонники реформ и даже большинство публицистов, хотя и не принадлежащих ни к какой школе, но заботящихся об улучшении участи самого многочисленного и бедного класса населения, возлагают теперь большие надежды на лучшую организацию труда. Особенно ученики Фурье непрестанно призывают: *в фаланстер!* И в то же время яростно изобличают глупость и прямо смехотворность других сект. Нашлось с полдюжины несравненных гениев, открывших, что *пять плюс четыре равняется десяти и если отнять отсюда два, останется девять*, и оплакивающих ослепление Франции, которая не хочет признать эту изумительную арифметику[18].

В самом деле, с одной стороны, фурьеристы заявляют себя защитниками собственности, права на получение дохода (*droit d'aubaine*), которое они выразили в формуле: *каждому согласно его капиталу, труду и таланту*, а с другой стороны, они хотят, чтобы рабочий мог пользоваться всеми благами общества, т. е., иными словами, полным продуктом своего труда. Выходит то же самое, как если б они сказали этому рабочему: *трудись, ты будешь получать по 3 франка в день; ты будешь жить на 55 су, остальное будешь отдавать*

собственнику, и потребление твоё будет равняться 3 франкам.

Если такое рассуждение не соответствует сущности системы Шарля Фурье, то я готов кровью своею подписать все фаланстерские благоглупости.

Зачем преобразовывать промышленность и земледелие, зачем вообще трудиться, раз собственность будет сохранена, а труд никогда не будет в состоянии покрыть расходов? Без уничтожения собственности организация труда принесёт только лишнее разочарование. Если бы производство учетверилось, что я, впрочем, не считаю возможным, то это был бы только потерянный труд: если излишек продукта для потребления не нужен, то он не представляет собою ценности и собственник отказывается принять его; если же этот излишек и потребляется, то все неудобства собственности обнаруживаются вновь. Надо признаться, что здесь теория притяжения страстей оказывается несостоятельной и что, желая гармонизировать *страсть* к собственности, страсть, что бы там Фурье ни говорил, дурную, он сам сунул палку в колесо своей телеги.

Абсурдность всей экономии фаланстера так очевидна, что многие, несмотря на всё уважение, выказываемое Фурье по отношению к собственникам, подозревают в нём тайного противника собственности. Взгляд этот можно, конечно, подтвердить некоторыми, якобы справедливыми доводами, но я его не разделяю. Тогда оказалась бы у Фурье громадная доля шарлатанства и лишь весьма незначительная доля добросовестности. Я охотнее поверю доказанному, впрочем, невежеству Фурье, нежели его недобросовестности. Что же касается его учеников, то о них можно будет составить определённое мнение лишь тогда, когда они прямо и категорически выскажут свой взгляд на собственность и объяснят значение своего пресловутого девиза: *каждому сообразно его капиталу, труду и таланту*.

II. Быть может, иной, наполовину обращённый собственник спросит, нельзя ли, уничтожив банки, ренту, аренду, наём, все виды ростовщичества и даже собственность, распределять продукты сообразно способностям? Такова была мысль Сен-Симона и Фурье, таково желание человеческой совести; ведь нельзя же заставить министра жить так, как живут крестьяне!

О Мидас, Мидас! Какие у тебя длинные уши! Неужели ты не в состоянии понять, что преимущества в вознаграждении и право на получение дохода (*droit d'aubaine*) одно и то же! Ведь одною из величайших ошибок со стороны Сен-Симона, Фурье и их паствы было то, что один из них хотел соединить неравенство с коммунизмом, другой — неравенство с собственностью. Но ты, человек расчёта и бережливости, знающий наизусть свои таблицы логарифмов, как мог ты впасть в такую грубую ошибку? Разве ты забыл, что с точки зрения политической экономии продукт каждого человека, каковы бы ни были его индивидуальные способности, всегда равноценен труду одного человека, а труд одного человека — также потреблению одного человека. Ты мне напоминаешь великого творца конституций бедного Пиньейру Феррейра, Сийеса 19 столетия, который, разделяя всю нацию на двадцать классов или, если тебе угодно, степеней, ассигновал одним 100 000, другим 80 000, затем 25 000 и т. д. до 1000 франков содержания, причём 1000 должны были представлять собою минимум. Феррейра любил различия, он не мог себе представить государство без высших сановников, также как и армии без барабанщиков. Любя или воображая, что он любит свободу, равенство и братство, Феррейра составлял смесь из благ и зол нашего старого общества и

называл её конституцией. О, достойный удивления Феррейра! Свобода до пассивного повиновения, братство вплоть до тожества языка, равенство вплоть до суда и гильотины — таков был его идеал республики. Он был непризнанным гением, которого наш век не был достоин и за которого потомство отомстит.

Послушай, собственник. Фактически неравенство способностей существует, но юридически оно не признаётся, не считается и не предполагается. Для 30 миллионов людей достаточно одного Ньютона на каждые сто лет; психолог восхищается редкостью такого великого гения, законодатель же видит только редкость функций. Но редкость функций не создаёт никакой привилегии в пользу выполняющего её; происходит это по нескольким, одинаково действительным причинам.

1. В намерения Создателя вовсе не входило сделать редкость гения поводом для того, чтобы общество преклонялось перед человеком, одарённым выдающимися способностями, Создатель видел в ней лишь средство для того, чтобы все функции выполнялись с наибольшею для всех выгодой.
2. Талант в большей степени является продуктом общества, нежели даром природы; это накопленный капитал, и тот, кто его получает, является только хранителем его. Без общества, без его помощи и даваемого им воспитания самая возвышенная натура, даже в области, в которой она могла бы достигнуть славы, отстаёт от людей со средними способностями. Чем обширнее знания смертного, чем богаче его воображение, чем плодотворнее его талант, тем дороже обошлось и его воспитание; чем многочисленнее и чем славнее были его предшественники, тем больше его долг. Земледелец производит с младенческого возраста до самой могилы. Плоды наук и искусства появляются поздно и редко, часто дерево погибает прежде, нежели они созреют. Воспитывая талант, общество приносит жертву надежде.
3. Нет мерила для сравнения способностей: самое неравенство талантов, при одинаковых условиях развития, представляет собою лишь различие талантов.
4. Неравенство вознаграждений, так же как и собственность, экономически невозможно. Допустим, самый благоприятный случай: все работники произвели максимум продуктов. Для того чтобы распределение последних между рабочими было справедливо, необходимо, чтобы доля каждого равнялась сумме всего производства, делённой на число рабочих. Раз это сделано, то может ли остаться что-нибудь для уплаты увеличенных вознаграждений? Безусловно нет.

Быть может, кто-нибудь найдёт нужным установить налог со всех работников? Но в таком случае их потребление не будет равняться их производству, жалованье не оплатит производительной услуги, работник не в состоянии будет выкупить свой продукт, и мы снова подвергнемся всем бедствиям, сопряжённым с собственностью. Я уж не говорю о несправедливости, причинённой ограбленному рабочему, о соперничестве, о разгоревшейся ненависти и раздражённом самолюбии; все эти соображения могут иметь значение, но они не приводят нас непосредственно к нашей цели.

С одной стороны, раз урок каждого работника непродолжителен и нетруден, раз средства к его выполнению равны у всех, то каким образом могут явиться хорошие и дурные производители? А с другой стороны, может ли человек, выполняющий какую-либо функцию, ссылаясь на превосходство своего гения, требовать соответственного вознаграждения, раз функции, либо в силу реальной эквивалентности талантов и способностей, либо благодаря общественной кооперации, равны?

Впрочем, что я говорю? При равенстве вознаграждений последние всегда соответствуют способностям. Что такое вознаграждение с экономической точки зрения? Это то, что составляет средства производительного потребления работника. Следовательно, самый акт, посредством которого работник производит, есть потребление, равное требуемому производству. Когда астроном производит наблюдения, поэт — стихи, учёный — опыты, все они потребляют инструменты, книги, путешествия и пр. Если же это потребление поддерживается обществом, то могут ли астроном, поэт и учёный требовать иной пропорциональности вознаграждения? Мы можем сделать отсюда вывод, что в равенстве, и только в равенстве положение Сен-Симона: *каждому по его способностям, каждой способности по делам её*, может найти полное своё приложение.

III. Великой, ужасной и всегда зияющей язвой собственности является тот факт, что при существовании собственности народонаселение, как бы его ни уменьшали, всегда и неизбежно бывает избыточным. Во все времена раздавались жалобы на перенаселение; во все времена наличность пауперизма стесняла собственность, которая и не подозревала даже, что является единственной его причиной. Поэтому чрезвычайно любопытно проследить, к каким разнообразным средствам прибегала собственность для того, чтобы избавиться от пауперизма. Рассматривая эти средства, не знаешь, чему больше удивляться, глупости ли, или жестокости их.

Выбрасывание детей в древности практиковалось постоянно. Удобным средством являлись также массовое и частичное истребление рабов, гражданские войны и войны международные. В Риме, где собственность была могущественной и неумолимой, эти три средства употреблялись так долго и так успешно, что в конце концов империя превратилась в пустыню. Когда явились варвары, они никого не застали, земля оставалась необработанной; улицы итальянских городов заросли травой.

В Китае с незапамятных времён уничтожение бедных предоставлено голоду. Так как рис является почти единственным средством пропитания низших слоёв народа, то жители, при неурожае риса, умирают с голоду массами. И тогда мандарин—историограф пишет в летописях срединного царства, что в таком-то году царствования такого-то императора голод унёс 20, 30, 40, 100 тысяч жителей. Мёртвых хоронят, а затем снова принимаются за деторождение, пока новая голодовка не приведёт опять к тому же результату. Такова, по-видимому, была искони политическая экономия Конфуция.

Нижеследующие факты я заимствую у одного современного экономиста.

Начиная с четырнадцатого и пятнадцатого столетия Англия страдает от пауперизма; против нищих издаются чрезвычайно жестокие законы (между тем народонаселение в то время

составляло меньше четверти современного народонаселения Англии).

Эдуард под страхом тюремного заключения запрещает нищенство... Ордонансы 1547 и 1656 годов представляют собою аналогичные распоряжения на случай рецидива. Елизавета повелела, чтобы каждый приход кормил своих бедных. Но что такое бедный? Карл II постановляет, что сорокадневное *неоспоримое* пребывание в общине достаточно для того, чтобы данное лицо было признано членом её. Но факт пребывания в общине оспаривается, и пришелец вынужден уйти. Это постановление изменяется сначала Яковом II, а потом Вильгельмом. Но пока тянутся все эти рассмотрения, доклады, изменения и пр., пауперизм растёт, рабочий голодает и гибнет.

Налог в пользу бедных в 1774 году превысил 40 миллионов франков; 1783, 1784 и 1785 годы стоили в среднем каждый 53 миллиона; 1813-й — более 187,5 миллиона; 1816-й — 250 миллионов, а в 1817 году предполагается 317 миллионов.

В 1821 году число бедных, приписанных к приходам, достигало 4 миллионов, т. е. составляло около четверти или трети всего населения.

Франция. В 1544 году Франциск I установил таксу вспомоществования для бедных, причём взнос её был принудительный. В 1566 и 1586 годах этот закон был возобновлён и распространён на всё королевство.

При Людовике XIV 40 000 бедных заражали столицу (относительно их было столько же, как и теперь). Были изданы строгие ордонансы против нищенства. В 1740 году парижский парламент возобновил принудительную раскладку в подведомственной ему области.

Учредительное собрание, испуганное размерами бедствия и трудностью его устранения, установило status quo.

Конвент провозгласил помощь бедным *национальным долгом*. Изданный им закон не был осуществлён.

Наполеон также стремится помочь злу при помощи тюремного заключения. «Таким образом, — говорил он, — я избавляю богатых от назойливости нищих и от отвратительного зрелища язв нищеты». О великий человек!

Из этих фактов, число которых я легко мог бы увеличить, вытекает следующее: во-первых, что пауперизм не зависит от количества народонаселения, во-вторых, что все средства устранить его остались безуспешными.

Католицизм основывал госпитали, монастыри, повелевал творить милостыню, т. е. поощрял нищенство; дальше этого он не сумел пойти.

Светская власть христианских государств то устанавливала в пользу бедных налог на богатых, то предписывала изгнание и заключение в тюрьму бедных, т. е., с одной стороны, нарушала право собственности, а с другой — предавала гражданской и естественной смерти.

Современные экономисты, воображающие, что причиной пауперизма является всецело перенаселение, сосредоточили всё своё внимание на сокращении последнего. Одни хотят, чтобы беднякам было запрещено вступать в брак; таким образом, те самые люди, которые восставали против безбрачия духовенства, теперь предполагают принудительное безбрачие, которое неизбежно должно повести к разврату.

Другие не одобряют этого чересчур насильственного средства; оно, говорят они, лишит бедняков *единственного доступного им в мире удовольствия*. Они только рекомендуют бедняку *осторожность* — таков взгляд гг. Мальтуса, Сисмонди, Сэя, Дроза, Дюшателя и др. Но если они хотят, чтобы бедный был *осторожен*, так пусть богатый подаст ему пример; на каком основании второму будет разрешено вступать в брак в 18 лет, а первому только в 30?

Здесь кстати будет категорически высказаться по поводу матримониальной осторожности, которую так усердно проповедуют рабочим, ибо здесь можно опасаться самых неприятных двусмысленностей, и я боюсь, что экономисты не вполне столкнулись друг с другом. «Непросвещённые священники негодуют, когда слышат разговор о том, что в брак следует внести осторожность; они боятся, что это будет противоречить божественному велению: *плодитесь и размножайтесь*. Чтобы быть последовательными, они должны бы предать анафеме всех безбрачных» (Ж. Дроз. *Economie politique*).

Г-н Дроз слишком порядочный человек и слишком несведущ в богословии, для того чтобы понять причину переполоха среди казуистов, и это целомудренное неведение — лучшее доказательство чистоты его сердца. Религия никогда не одобряла ранних браков, и вид осторожности, против которого она восстаёт, выражен в следующем латинском вопросе Санчеса: *An licet ob metum liberorum semen extra vas ejicere?*

Дестют-де-Траси, по-видимому, не нравится ни тот ни другой вид осторожности. «Я, — говорит он, — признаюсь, что не разделяю ни стремления моралистов уменьшить и ограничить наши наслаждения, ни стремления политиков увеличить нашу плодовитость и ускорить наше размножение». Следовательно, по его мнению, надо любить и вступать в брак при всякой возможности. Однако последствия любви и брака поддерживают нищету; это не беспокоит нашего философа. Верный догмату неизбежности зла, он от зла же и ждёт разрешения всех проблем. Поэтому он добавляет: «Когда размножение происходит среди всех классов людей, излишек высших последовательно выбрасывается в низшие слои, а излишек низших классов неизбежно погибает». Эта философия имеет немного открытых сторонников, но зато она имеет одно неоспоримое преимущество — она подтверждается практикой. Эта именно философия проповедовалась когда-то Франции в палате депутатов, во время обсуждения избирательной реформы. *Бедные всегда будут существовать* {35} — таков политический афоризм, при помощи которого министр разбил аргументацию Араго. *Бедные всегда будут существовать! Да, пока будет существовать собственность.*

Фурьеристы, *открывшие* столько чудес, и в этом случае не изменили себе. Поэтому они изобрели четыре средства для произвольного сокращения прироста народонаселения:

1. *Силу женщин*. Опыт опровергает действительность этого средства. Хотя сильные женщины не всегда быстро зачинают, но зато они рожают наиболее жизнеспособных детей

и таким образом сохраняют преимущество материнства.

2. *Всестороннее упражнение*, или полное развитие всех физических способностей. Если это развитие полно, то может ли оно повести к уменьшению воспроизводительной способности?

3. *Гастрософический режим* или, говоря общечеловеческим языком, философия чревоугодия. Фурьеристы утверждают что обильная растительная пища делает женщин бесплодными, подобно тому как роскошное питание вызывает обильное и роскошное цветение растений, делая их бесплодными. Но аналогия эта ложная: бесплодие цветов происходит оттого, что тычинки, или мужские органы, превращаются в лепестки (в этом можно убедиться, если внимательно рассмотреть розу), и оттого, что оплодотворяющая пыль, благодаря избытку влаги, утрачивает свои плодотворящие свойства. Для того чтобы гастрософический режим достиг желанных результатов, надо, следовательно, не только откормить самок, но также сделать бессильными самцов.

4. *Фанерогамные обычаи*, или публичный конкубинат. Я не понимаю, почему фаланстерцы употребляют греческие слова для изложения понятий, которые отлично можно выразить и на французском языке. Это средство, так же как и предыдущее, есть подражание опыту цивилизованных народов. Сам Фурье приводит в качестве доказательства пример публичных женщин. Но относительно приводимых им фактов ничего ещё достоверно не известно, о чём свидетельствует формальное заявление Парана-Дюшатле в его книге о проституции.

Насколько мне удалось выяснить, все средства против пауперизма и плодовитости, выработанные обычаями народов, философией, политической экономией и новейшими реформаторами, сводятся к следующим: мастурбации, онанизму[19], педерастии, трибадии, полиандрии, проституции, кастрации, изгнанию плода, детоубийству[20].

Так как неуспешность всех этих средств уже доказана, остаётся прибегнуть к проскрипции.

Но, к несчастью, проскрипция бедняков, уменьшение их абсолютного числа, поведёт лишь к относительному увеличению его. Если собственник получает в виде дохода только двадцатую часть продукта (согласно закону доход равен двадцатой части капитала), то 20 работников производят только для 19 человек, ибо среди них есть один, называющийся собственником и присваивающий себе две доли. Допустим, что 20-й рабочий, нищий, убит; тогда производство следующего года уменьшится на одну двадцатую; следовательно, уступить свою долю и погибнуть придётся уже девятнадцатому. Дело вот в чём: так как собственнику должна быть уплачена не 20-я часть продукта 19, но 20-я часть продукта 20 (см. 3-е предложение), то каждый работник должен лишать себя $\frac{1}{20} + \frac{1}{400}$ своего продукта, иными словами, нужно убить одного из девятнадцати работников. Таким образом, при существовании собственности относительное количество бедняков, по мере убиения их, будет только возрастать.

Мальтус, который так умело доказал, что население возрастает в геометрической прогрессии, между тем как производство увеличивается лишь в арифметической прогрессии, не заметил этой «пауперифицирующей» способности собственности. Не сделай

он этой ошибки, то он понял бы, что, прежде чем искать средств к уменьшению нашей плодовитости, необходимо уничтожить право на доход (droit d'aubaine), ибо там, где это право существует, всегда чувствуется излишек населения, как бы ни была велика и плодородна земля.

Быть может, меня спросят, какое средство я предложу для уравнивания населения, так как рано или поздно вопрос этот придётся разрешить. Да позволит мне читатель не называть здесь этого средства. По моему мнению, не стоит говорить о том, что нельзя сейчас же доказать, а для того чтобы доказать верность предполагаемого мною средства, понадобилась бы целая книга. Средство моё так просто и величественно, так обыкновенно и благородно, так верно и так мало понято, так свято и обыденно, что если бы я назвал его без пояснений и доказательств, то вызвал бы лишь насмешки и презрение. Удовлетворимся установлением равенства, тогда мы увидим, что средство моё вытекает из него, ибо одна истина влечёт за собою другую, подобно тому как одна ошибка или одно преступление влечёт за собою другие ошибки и преступления.

6-е предложение. Собственность невозможна, ибо она порождает тиранию

Что такое правительство? Власть? Правительство есть общественная экономия, высшее управление трудом и благами всей нации.

Но нация представляет собою как бы большое общество, акционерами которого являются все граждане: каждый имеет право совещательного голоса в собрании и все они, если только акции равны, обладают избирательным правом. Однако при господстве собственности паи акционеров чрезвычайно неравны, таким образом, один обладает сотней избирательных голосов, а у другого нет ни одного. Если, напр., я получаю один миллион дохода, иными словами, если я обладаю состоянием в 30–40 миллионов, заключающимся в землях, и если это состояние составляет $\frac{1}{30\,000}$ всего национального капитала, то ясно, что управление моим имением потребует $\frac{1}{30\,000}$ расходов правительства и что при народонаселении в 34 миллиона я один имею столько же голосов, как 1,133 обыкновенных акционера.

Поэтому г. Араго безусловно прав, когда он требует избирательного права для всех членов национальной гвардии, ибо всякий гражданин является владельцем по крайней мере одной национальной акции, дающей ему право на один голос; но знаменитому оратору следовало бы в то же время требовать, чтобы каждый избиратель получил столько голосов, сколько он имеет акций, что практикуется в коммерческих обществах. В противном случае нация получила бы право распоряжаться имуществом частных лиц помимо их ведома, а это противоречило бы праву собственности. В стране, где господствует собственность, равенство избирательных прав есть нарушение права собственности.

Если, однако, каждый гражданин обладает суверенитетом лишь сообразно с размерами принадлежащей ему собственности, то отсюда следует, что мелкие акционеры находятся во власти крупных. Последние, если им вздумается, могут превратить первых в своих рабов, могут женить их на ком и когда им будет угодно, могут отнять у них жён, оскотить их сыновей, обесчестить дочерей, отдать стариков на съедение рыбам. Крупные акционеры даже будут вынуждены сделать это, если не захотят сами обложить себя налогом в пользу своих рабов. В таком положении находится в настоящее время Великобритания: Джон Булль мало интересуется свободой, равенством и человеческим достоинством, он предпочитает служить и нищенствовать. Но что думаешь об этом ты, Жак Боном?

Собственность несовместима с политическим и гражданским равенством, следовательно, она невозможна.

Историческая справка.

1. Когда генеральные штаты в 1789 году декретировали удвоение числа депутатов третьего сословия, они совершили величайшее насилие над собственностью. Дворянство и духовенство владели тремя четвертями французской территории, дворянство и духовенство должны были составлять три четверти национального представительства. Удвоение числа депутатов третьего сословия было, говорят, справедливо, потому что один только народ почти исключительно платил налоги. Этот довод был бы неопровержим, если бы речь шла только об установлении налогов; но ведь говорилось тогда о реформе правительства и конституции, и поэтому удвоение числа депутатов третьего сословия было узурпацией и нарушением собственности.

2. Если бы представители нашей современной радикальной оппозиции достигли власти, то они провели бы реформу, благодаря которой каждый национальный гвардеец получил бы избирательное право, а всякий избиратель — право быть избранным, и это было бы нарушением права собственности.

Они устроили бы конверсию ренты — это тоже нарушение права собственности.

Они провели бы в интересах общества законы, нормирующие вывоз скота и хлеба, — ещё одно нарушение права собственности.

Они изменили бы распределение налогов, т. е. нарушили бы то же право.

Они ввели бы бесплатное обучение народа — а это заговор против собственности.

Они организовали бы труд, т. е. они обеспечили бы рабочему работу и допустили бы его к участию в прибылях, и это уничтожило бы собственность.

А между тем эти же самые радикалы — ярые защитники собственности; это доказывает, что они сами не понимают, чего хотят и что делают.

3. Так как собственность является главной причиной существования привилегий и деспотизма, то формула республиканских стремлений должна быть изменена. Клятва

вступающего в тайное общество должна теперь гласить не *клянусь ненавидеть королевскую власть, но клянусь ненавидеть собственность.*

7—е предложение. Собственность невозможна, ибо, потребляя то, что она получает, она уничтожает его, сберегая его, она его утрачивает, а капитализируя его, она делает это во вред производству

I. Если мы, вместе с экономистами, будем рассматривать работника как живую машину, то выдаваемое ему жалованье будет представляться в виде необходимых расходов на содержание и ремонт этой машины. Владелец фабрики, уплачивающий своим рабочим и служащим 3, 5, 10 и 15 франков в день, а самому себе назначающий по 20 франков ежедневно за высший надзор, не считает свои расходы потерянными, ибо он знает, что они будут возвращены ему в виде продуктов. Итак, *труд и воспроизводительное потребление* одно и то же.

Что такое собственник? Это машина, которая не функционирует или же функционирует для собственного удовольствия и ничего не производит.

Что значит потреблять по-собственнически? Это значит потреблять и не трудиться, потреблять и не воспроизводить. Ибо, повторяю, собственник заставляет себе платить за то, что он потребляет как работник; он не даёт своего труда в обмен за свою собственность, ибо таким образом он перестал бы быть собственником. Потребляя как работник, собственник зарабатывает или, по крайней мере, ничего не теряет; потребляя как собственник, он беднеет. Следовательно, для того чтобы наслаждаться собственностью, надо уничтожать, а для того чтобы действительно быть собственником, надо перестать быть таковым.

Работник, потребляющий свою заработную плату, есть машина, которая починается и воспроизводит.

Собственник, потребляющий свой доход, является бездонной пропастью, это орошаемый песок, камень, на котором сеют. Всё это настолько истинно, что собственник, не умея или не желая производить и зная, что по мере того, как он потребляет свою собственность, последняя разрушается, решил заставить производить вместо себя кого-нибудь другого. Политическая экономия, отличающаяся неизменной справедливостью, называет это

производить посредством своего капитала, производить посредством своего орудия!.. Но следовало бы сказать, что это значит *производить посредством своего раба, производить мошенническим и тираническим образом.* Скажите, собственник производит!.. С таким же правом и вор может сказать: я произвожу.

Потребление собственника, в противоположность потреблению *полезному*, получило название *роскоши*. После всего изложенного выше нетрудно понять, что внутри нации может царить величайшая роскошь, но нация от этого не будет богатой; что, чем больше будет роскошь, тем беднее нация, и наоборот. Надо отдать справедливость экономистам: они внушили всем такую боязнь роскоши, что в настоящее время значительное число капиталистов, если не все почти, устыдившись своей праздности, работают, сберегают и накапливают капиталы. Это называется попасть из огня да в полымя.

Я ещё раз повторяю: собственник, воображающий, что он заработал свои доходы трудом, и получающий за свой труд вознаграждение, является просто должностным лицом, получающим жалованье вдвойне, — вот вся разница между праздным собственником и собственником, который работает. Своим трудом собственник создаёт только своё жалованье, но не доходы. А так как сверх того его положение даёт ему возможность захватывать самые доходные должности, то можно сказать, что труд собственника скорее вреден, нежели полезен обществу. Что бы ни делал собственник, но, потребляя свои доходы, он наносит обществу действительную потерю, которую его оплаченные услуги не могут ни оправдать, ни возместить и которая уничтожила бы собственность, если бы последняя не восстанавливалась непрерывно производством других людей.

II. Итак, собственник, потребляющий продукт, уничтожает его. Но ещё хуже, когда он его сберегает. Вещи, сберегаемые собственником, переходят в иной мир; от них не остаётся ничего, даже *sepulchrum*, даже навоза. Если бы существовала возможность путешествовать на луну и если бы собственники вздумали увозить туда свои сбережения, то через некоторое время они перетащили бы всю нашу планету на её спутник.

Собственник, делающий сбережения, мешает другим наслаждаться, хотя и сам тоже не наслаждается; для него нет ни владения, ни собственности. Подобно скупцу, он только охраняет своё сокровище, но не пользуется им. Пусть он радуется свой взор, глядя на золото, пусть он спит с ним, пусть засыпает, обнимая его, всё равно золото не создаст нового золота. Нет собственности, когда нет пользования ею, нет пользования ею без потребления, и нет потребления без разрушения собственности: такова неизбежная судьба её, предназначенная ей Богом. Да будет проклята собственность!

III. Собственник, капитализирующий свой доход, вместо того чтобы потребить его, делает это во вред производству и таким образом лишает себя возможности пользоваться своим правом. Увеличивая сумму процентов, которые надо платить, он вынужден уменьшать заработную плату; но чем больше он уменьшает заработную плату, т. е. урезывает средства, предназначенные на ремонт и содержание машин, тем более он понижает количество труда, а вместе с тем и количество продуктов, иными словами, самый источник своих доходов. Это наглядно докажет следующий пример.

Пусть имение, заключающее в себе пахотную землю, луга, виноградники, дом хозяина и фермера, вместе со всеми орудиями обработки земли стоит 100 000 франков, капитализированных из 3 %. Если бы собственник, вместо того чтобы потратить свой доход, истратил его не на расширение своего имения, но на украшение его, то мог ли бы он требовать от своего фермера 90 франков лишних на те 3000 франков, которые он капитализировал бы таким образом? Очевидно, нет, ибо при таких условиях арендатор, не имея возможности производить больше, скоро был бы вынужден работать даром и даже, более того, приплачивать, чтобы не нарушить контракта.

В самом деле, доход может увеличиться только при увеличении производительного капитала; если б собственник вздумал огораживать свои земли мраморными стенами и обрабатывать их золотыми плугами, то это несколько не увеличило бы доходности земель. Но так как невозможно непрестанно приобретать, присоединять имение к имению, *продолжать свои владения*, как выражались римляне, и так как в то же время у собственника всегда остаётся известная сумма, подлежащая капитализации, то пользование правом собственности становится в конце концов, по необходимости, невозможным.

И вот, вопреки этой невозможности, собственность накапливает капиталы и, накапливая их, увеличивает сумму процентов. Я не стану останавливаться на множестве примеров, которые даёт торговля, промышленность, банковское дело, а остановлюсь на более важном факте, представляющем интерес для всех граждан, а именно на бесконечном росте бюджета.

Налоги увеличиваются с каждым годом. Было бы трудно в точности определить, какая именно часть налогового бремени возрастает; вряд ли найдётся смельчак, готовый утверждать, что он понимает что-нибудь в бюджете. Мы ежедневно слышим о разногласиях среди самых опытных финансистов; какого мнения можно держаться о науке управления, если сами жрецы этой науки не могут сойтись во взглядах на значение цифр? Каковы бы ни были непосредственные причины роста государственного бюджета, во всяком случае налоги непрестанно увеличиваются. Все это видят, все об этом говорят, но, по-видимому, никто не понимает первоначальной причины этого явления[21]. Я утверждаю, что явление это неизбежно и необходимо.

Народ представляет собою как бы арендатора крупного собственника, именуемого *правительством*, которому он за пользование землёю уплачивает арендную плату, известную под именем *налога*. Каждый раз, когда правительство начинает войну, теряет или выигрывает сражение, перевооружает армию, воздвигает памятник, проводит канал или железную дорогу, оно делает денежный заём, проценты на который уплачивают плательщики налогов; иными словами, правительство, не увеличивая своего производительного капитала, увеличивает капитал оборотный, т. е. поступает точно так же, как капиталист, о котором я говорил выше.

Раз, однако, правительство заключило заём, раз процент установлен, то бюджет не может быть освобождён от него, ибо для этого нужно было бы, чтобы держатели ренты отказались от получения процентов, но это невозможно без отказа от собственности; или чтобы государство объявило себя банкротом, а это было бы мошенническим отрицанием

политического принципа; или чтобы оно вернуло долг, что немыслимо без заключения нового займа; или чтобы оно сократило свои расходы, но это невозможно, потому что и заём был заключён из-за недостаточности доходов; или чтобы деньги, истраченные правительством, были истрачены производительно, однако и это имело бы место лишь при увеличении производительного капитала, а это увеличение противоречило бы нашей гипотезе; или, наконец, чтобы плательщики налогов были обременены новым налогом для погашения займа, но и это невозможно, ибо если б этот налог был разложен поровну на всех граждан, то половина, а может быть и больше, не была бы в состоянии уплатить его, если же его возложили бы только на богатых, то он был бы налогом принудительным, нарушающим право собственности. Давно уже практика финансистов показала, что путь займов, несмотря на чрезвычайную опасность его, всё-таки самый удобный, верный и дешёвый. Поэтому правительства постоянно заключают займы, т. е. постоянно увеличивают бюджет.

Итак, бюджет не только не может быть никогда уменьшен, но, наоборот, неизбежно должен увеличиваться. Факт этот настолько простой и осязательный, что прямо удивительно, как экономисты, при всей своей учёности, не заметили его. Если же они его заметили, то почему они молчали о нём?

Историческая справка. В настоящее время все очень заняты финансовой операцией, от которой ожидают, что она значительно облегчит бюджет: речь идёт о конверсии 5% ренты. Оставив в стороне вопрос о законности этой операции, мы рассмотрим её только с точки зрения финансовой. Если теперь при конверсии процент понизится с 5 до 4, то впоследствии по тем же причинам и в силу той же необходимости придётся понизить его с 4 до 3, с 3 до 2, затем с 2 до 1 и, наконец, совершенно уничтожить всякую ренту. Но это значило бы фактически декретировать равенство условий и упразднение собственности. Мне кажется, что было бы более достойно разумной нации предупредить неизбежную революцию, нежели позволить необходимости натолкнуть себя на неё.

8-е предложение. Собственность невозможна, ибо её способность к накоплению безгранична, между тем как материал для этого накопления ограничен

Если бы люди, объединённые принципом равенства, предоставили одному из своей среды исключительное право собственности и если бы этот единственный собственник дал человечеству, на сложные проценты, 100 франков, подлежащих возвращению через 600 лет двадцать четвёртому поколению потомков этого собственника, то через 600 лет эти 100

франков, при 5%, составили бы 107 854 010 777 600 франков, т. е. сумму в 2696 $\frac{1}{3}$ раза большую, чем капитал Франции, который я оцениваю в 40 миллиардов. Весь земной шар, всё движимое и недвижимое, вместе взятое, стоит в 20 раз меньше этой суммы.

Если бы какой-нибудь человек в царствование Людовика Святого занял такую же сумму в 100 франков, если бы он и его наследники отказались уплатить эту сумму, если бы было признано то, что эти наследники все были недобросовестными владельцами и что действие давности всегда нарушалось в законный срок, то, согласно нашим законам, последний наследник мог бы быть осуждён на возвращение этих 100 франков с процентами и с процентами на проценты, а это составило бы, как мы видели выше, около 108 000 миллиардов.

Мы ежедневно можем убедиться, что состояния возрастают несравненно быстрее. В нашем примере доход равен одной двадцатой капитала, но случается нередко, что он составляет одну десятую, одну пятую, половину капитала и даже равен последнему.

Фурьеристы, непримиримые враги равенства, сторонников которого они называют *акулами*, берутся удовлетворить все требования капитала, труда и таланта, учетверив производство. Но если производство учетверится, удесятерится и даже увеличится в сто раз, то собственность, в силу своей тенденции к накоплению и в силу последствий этого накопления, быстро поглотит и продукты, и капиталы, и земли, и все вплоть до рабочих включительно. Или, быть может, фаланстеру будет воспрещено накапливать и отдавать деньги под проценты? Что же в таком случае разумеется под словом собственность?

Я не буду продолжать эти вычисления, их можно варьировать до бесконечности, и с моей стороны было бы смешно останавливаться на них, я спрашиваю только, на каком основании судьи, рассматривающие иск о праве владения, присуждают к уплате процентов? Я расширяю свой вопрос и спрашиваю:

взвесил ли законодатель все могущие произойти последствия, когда он вводил в республике принцип собственности? Знал ли он закон возможного? А если он его знал, то почему о нём нет речи в кодексе, почему собственнику дан такой простор для увеличения собственности и для охранения своих интересов, почему судье дано такое широкое право признавать и устанавливать границы собственности? Почему государству дана власть устанавливать всё новые и новые налоги? Вне каких пределов народ может отвергнуть бюджет, арендатор отказаться от арендной платы, промышленник — от уплаты процентов? До каких пределов может доходить эксплуатация работника бездельником? Где начинается право грабить и где оно кончается? Когда производитель может сказать собственнику: я тебе больше ничего не должен? Когда собственность бывает удовлетворена? Когда не дозволяется больше красть?

Если законодатель знал закон возможного, но не нашёл нужным считаться с ним, то где же его справедливость? Если он его не знал, то где же его мудрость? Можем ли мы признать его авторитет, раз он либо несправедлив, либо непредусмотрителен?

Если наши хартии и своды законов имеют основой свою бессмысленную гипотезу, то чему же обучают в наших школах правоведения? Какое тогда значение может иметь постановление кассационной палаты? Что обсуждают наши палаты депутатов? Что такое *политика*? Кого мы называем *государственным деятелем*? Что значит слово *правоведение*? И не следовало бы говорить вместо него *правоневедение*?

Если в основе всех наших учреждений лежит математическая ошибка, то не являются ли все наши учреждения ложными? Если всё социальное здание наше целиком построено на абсолютно невозможной собственности, то не является ли наше правительство химерой, а всё современное общество утопией?

9-е предложение. Собственность невозможна, потому что она бессильна против собственности

I. Согласно третьему выводу из нашей аксиомы собственник получает проценты так же, как и иностранец; этот принцип политической экономии общепризнан. С первого взгляда он кажется чрезвычайно простым, но на самом деле нет ничего более нелепого, более противоречивого и более невозможного.

Промышленник, говорят, сам уплачивает себе за наём своего дома и за свои капиталы; *он уплачивает себе*, т. е. заставляет платить себе публику, покупающую его продукты, ибо допустим, что промышленник захочет получать такую же прибыль, какую он якобы получает со своей собственности и со своих товаров: может ли он заплатить себе 1 франк за то, что стоит ему 90 сантимов, и, кроме того, получить ещё прибыль на рынке? Нет; при такой операции деньги купца переходили бы из правой его руки в левую без всякой прибыли для него.

И вот то, что верно относительно одного лица, ведущего торг с самим собою, верно также относительно целого торгового общества. Составим цепь из 10, 15, 20 или скольких угодно производителей, но если производитель А получит прибыль с производителя В, то согласно экономическим принципам В должен взыскать эту прибыль с С, С с D и т. д. до Z.

Но кто же уплатит Z прибыль, полученную вначале А? *Потребитель*, отвечает Сэй. Жалкий лицемер! Кто же этот потребитель, как не А, В, С, D и т. д.? Кто уплатит Z? Если это сделает первый получивший прибыль А, то прибыли не получит уже никто, не будет уже, следовательно, и собственности. Если же Z возьмёт на себя уплату этой прибыли, то он тем самым перестаёт быть членом общества, так как последнее отказывает ему в праве собственности и в праве на доход, каковые права оно даёт всем остальным своим членам.

Раз только нация, так же как и всё человечество, представляет собою большое промышленное общество, которое не может развить какую-либо деятельность вне

собственных пределов, то ясно, что никто не может разбогатеть без того, чтобы кто-нибудь другой не обеднел. Для того чтобы право собственности, право получать доход (*droit d'aubaine*) могло осуществляться для А, необходимо, чтобы Z был лишён его; отсюда ясно, что равенство прав без равенства условий существовать не может. Несправедливость политической экономии в этом отношении можно назвать прямо вопиющей. «Когда я, промышленный предприниматель, покупаю услуги рабочего, я не включаю его заработной платы в чистый продукт моего предприятия, наоборот, я исключаю её из него; но рабочий считает её своим чистым доходом» (Сэй. *Economie politique*).

Это значит, что всё заработанное рабочим есть *чистый продукт*, но что *чистым продуктом* предпринимателя является только та часть полученного им дохода, которая остаётся за вычетом его жалованья. Но почему же один предприниматель имеет право получать прибыль? Почему это право, в сущности тождественное с правом собственности, не дано рабочему? С точки зрения экономической науки каждый рабочий представляет собою капитал; но с точки зрения той же науки всякий капитал, кроме расходов на его содержание и изнашивание, должен давать процент; собственник и взимает этот процент как со своего капитала, так и с самого себя; почему же рабочему не позволено также взимать процент со своего капитала, т. е. с самого себя?

Собственность есть, следовательно, неравенство прав, ибо не будь она неравенством прав, то она была бы равенством благ, т. е. исчезла бы совсем. Так как конституционная хартия гарантирует всем равенство прав, то, следовательно, при существовании этой хартии собственность невозможна.

II. Может ли собственник имения А в силу одного того, что он собственник этого имения, завладеть полем своего соседа В? Нет, отвечают собственники; да и что это имеет общего с правом собственности? Это вы увидите из нижеследующих предложений.

Имеет ли право промышленник С, торговец шляпами, заставить своего соседа D, также торговца шляпами, закрыть свою лавку и прекратить торговлю? — Ни в каком случае!

Но С желает заработать на каждой шляпе 1 франк, между тем как D довольствуется 50 сантимами; очевидно, умеренность D препятствует осуществлению притязаний С; имеет ли последний право препятствовать сбыту товаров D? Конечно нет.

Раз D властен продавать свои шляпы на 50 сантимов дешевле, чем их продаёт С, то и последний в свою очередь волен понизить цену своих шляп на 1 франк. Но D беден, а С богат; вследствие этого D через год или два разоряется непосильной ему конкуренцией, а С оказывается хозяином положения. Может ли собственник D предпринять что-либо против собственника С? Может ли он требовать от последнего возвращения своей торговли, своей собственности? Нет, ибо D имел право сделать то же самое, что сделал С, если бы D был богаче С.

На том же основании крупный собственник А может сказать мелкому собственнику В: продай мне твоё поле или ты не продашь своего хлеба. И при этом А не причинит В никакой несправедливости и последний не будет иметь права жаловаться на него. Таким образом,

при желании А поглотит В просто потому, что он больше последнего. И не на основании права собственности А и С ограбят В и D, но на основании права сильного. При помощи права собственности два соседа землевладельца, А и В, так же как и торговцы С и D, не могли ничего сделать друг против друга; они не могли ни ограбить, ни уничтожить друг друга, ни обогатиться один в ущерб другого; ограбление было произведено на основании права сильного.

Но именно на основании того же права сильного фабрикант может понизить заработную плату своих рабочих, богатый торговец и обладающий большими запасами собственник продавать свои продукты за такую цену, какую они захотят получить. Предприниматель говорит рабочему: «Вы вольны предложить свои услуги кому-нибудь другому, так же как я волен принять их; я предлагаю вам столько-то». Торговец говорит своему клиенту: «Вы можете брать или не брать; ваши деньги, мой товар, я требую столько-то». Кто же уступит в этом случае? Более слабый, конечно.

Таким образом, без насилия собственность беспомощна перед собственностью; без насилия собственность не может увеличиваться посредством дохода (*aubaine*), следовательно, без насилия собственность невозможна.

Историческая справка. Вопрос о сахарном производстве колонистов и туземцев даёт нам яркий пример этой невозможности собственности. Предоставьте их самим себе, и туземец будет разорён колонистом. Для того чтобы поддержать свеклосахарное производство, надо обложить налогом сахарный тростник; для того чтобы оградить собственность одного, надо нарушить собственность другого. Самой замечательной особенностью всего этого дела и особенностью, на которую меньше всего обратили внимания, является тот факт, что так или иначе принцип собственности должен быть нарушен. Дайте каждой отрасли промышленности пропорциональное право, так чтобы они уравнивали друг друга на рынке, и вы создадите *taximum*, нанесёте собственности двойной удар: с одной стороны, ваша такса нарушает свободу торговли, с другой стороны, она отрицает равенство собственников. Возместите потери на свекловице, и вы нарушите собственность плательщика налогов. Эксплуатируйте за счёт нации оба сорта сахара, подобно тому как теперь эксплуатируются различные сорта табака, и вы уничтожите известный вид собственности. Осуществление последнего предложения было бы проще и лучше всего; но для этого понадобилась бы совместная деятельность знающих и великодушных людей, а это в настоящее время вещь недостижимая.

Конкуренция или, как её называют иначе, свобода торговли, одним словом, собственность в сфере обмена долго ещё будет служить основой нашего торгового законодательства, которое с экономической точки зрения охватывает собою все гражданские законы и всё правительство. Что же такое конкуренция? Дуэль, происходящая на ограниченном пространстве, при которой правота борющихся устанавливается при помощи оружия.

Кто лжёт, обвиняемый или свидетель? — спрашивали наши жестокие предки. — Пусть они борются друг с другом, — решал судья, ещё более жестокий, — прав будет более сильный.

Кто из нас двух будет продавать соседям пряности? — Пусть они откроют лавочки, — восклицает экономист, — наиболее хитрый или наиболее жуликоватый окажется более честным человеком и наилучшим торговцем!

В этом заключается весь дух Наполеонова Кодекса.

10-е предложение. Собственность невозможна, ибо она является отрицанием равенства

Развитие этого предложения послужит резюме всех предыдущих предложений.

. Принципом политической экономии является положение, что *продукты покупаются только за продукты*. Собственность можно защищать лишь постольку, поскольку она производит полезности; раз она не производит ничего, она осуждена на гибель.

2. Экономический закон гласит, что *труд должен уравниваться продуктом*; между тем не подлежит сомнению факт, что при существовании собственности производство стоит дороже, чем оно обходится.

3. Другой экономический закон гласит, что *при данном капитале производство измеряется уже не размерами капитала, но производительною силою*. Собственность, требующая, чтобы доход всегда соответствовал капиталу, не принимая во внимание труд, не понимает соответствия между причиною и действием.

4 и 5. Подобно гусенице, прядущей свою нитку, работник производит всегда только для себя; собственность, требующая двойного продукта, но не могущая добиться его, грабит и убивает работника.

6. Природа дала каждому человеку только один разум, один дух, одну волю; собственность же, даруя одной личности множественность вотумов, предполагает у неё множественность душ.

7. Всякое потребление, не производящее полезности, есть уничтожение; собственность, всё равно, потребляет ли она, или сберегает, или, наконец, капитализирует, всегда является производящей *бесполезность*, причиной бесплодия и смерти.

8. Удовлетворение всякого естественного права представляет собою уравнение, иными словами, право на какую-либо вещь неизбежно осуществляется обладанием этой вещью.

Таким образом, между правом на свободу и положением свободного человека существует равновесие — уравнение; между правом быть отцом и отцовством — уравнение; между правом на безопасность и общественной гарантией — тоже уравнение. Но между правом на получение доходов (*droit d'aubaine*) и получением этих доходов равновесия не бывает никогда; ибо, по мере того как доход (*aubaine*) получается, он даёт право на получение другого, другой на получение третьего и т. д. без конца. Не будучи никогда адекватной своему объекту, собственность есть право, противоречащее природе и разуму.

9. Наконец, собственность сама по себе не может существовать; для того чтобы обнаруживаться и действовать, она нуждается в посторонней причине, и таковою является *насилие* или *обман*. Иными словами, собственность вовсе не равняется собственности, она является отрицанием, ложью, она ничто.

Глава V-I. Психологическое объяснение идеи справедливого и несправедливого и определение принципа власти и права

Собственность невозможна; равенство не существует. Первая нам ненавистна, и мы её желаем, второе владеет всеми нашими помыслами, но мы не умеем его осуществить. Кто объяснит нам этот глубокий антагонизм между нашим сознанием и нашей волей? Кто выяснит причины этого рокового заблуждения, сделавшегося священнейшим принципом справедливости и общества?

Я решил сделать это и надеюсь достигнуть успеха.

Но прежде чем объяснить, как человек совершил насилие над справедливостью, необходимо определить самое понятие последней.

1. О нравственном чувстве у человека и ЖИВОТНЫХ

Философы не раз поднимали вопрос о том, где начинается точная граница, отделяющая ум животного от ума человека; и по обыкновению они наговорили и наделали массу глупостей, прежде чем решились сделать то, что только и нужно было делать, — прибегнуть к наблюдениям. Скромному учёному, который, быть может, никогда не вообразал себя философом, предназначено было положить конец этим бесконечным препирательствам простым определением, но одним из тех определений, которые важнее целых систем. Фредерик Кювье установил различие между *инстинктом* и *умом*.

Но никто ещё не поднимал вопроса:

Имеет ли различие между нравственным чувством человека и животных только количественный или же качественный характер?

Если бы в прежнее время кто-нибудь вздумал утверждать первое, то его утверждение сочли бы безумием, святотатством, оскорблением нравственности и религии; светские и духовные суды единогласно осудили бы его. А каким высоким слогом бичевали бы этот безнравственный парадокс! «Совесть, — раздались бы восклицания, — совесть, эта гордость человека, дана только ему одному; понятие справедливого и несправедливого, добродетели и порока является его благороднейшей привилегией; одному лишь человеку, царю природы, венцу творения, дана возвышенная способность противостоять суетным склонностям, выбирать между добром и злом и всё более уподобляться Богу, благодаря свободе и справедливости... Нет, священная печать добродетели запечатлена только в сердце человека». Это слова, полные чувства, но лишённые смысла.

Человек есть животное, имеющее дар речи и общественное — $\zeta\acute{o}\nu\ \text{logikon}\ \text{kai}\ \text{politikon}$ {37}, говорит Аристотель. Это определение более верное, чем все последующие, не исключая даже знаменитого определения г. де Бональда: *человек — это ум, которому служат органы*. Последнее имеет два недостатка: оно объясняет известное неизвестным, т. е. живое существо умом, и умалчивает о животном происхождении человека.

Итак, человек есть животное, живущее в обществе. Кто говорит «общество», тот понимает совокупность отношений — словом, систему. Всякая система может существовать лишь при известных условиях. Каковы же условия, каковы *законы* человеческого общества?

Что такое *право*, что такое *справедливость*?

Было бы бесполезно повторять вместе с философами различных школ: это божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос, руководитель, данный природою, свет, озаряющий всякого человека, когда он является на свет, закон, запечатлённый в наших сердцах, это крик совести, внушение ума, вдохновение чувства, склонность чувствительности; это любовь к себе в других, разумно понятая выгода; или же: это понятие врождённое, это категорический императив практического разума, источником которого являются идеи чистого разума; это страстное влечение и т. д. и т. д. Всё это может быть настолько же верно, насколько и прекрасно, однако всё это не имеет абсолютно никакого значения. Если б эту канитель тянуть на протяжении хотя бы и десяти страниц (ею наполнены тысячи томов), то разрешение нашего вопроса всё-таки ни на шаг не подвинулось бы вперёд.

Справедливость есть общее благо, говорит Аристотель{38}. Это верно, но это тавтология. «Принцип, что общее благо должно быть целью законодателя, — говорит г. Ш. Конт в своём *Traité de législation*, — не может быть ничем опровергнут; но, провозгласив и доказав его, мы для прогресса законодательства сделали столько же, сколько сделали бы для успеха медицины, установив, что лечение больных должно быть делом врачей».

Изберём иной путь. *Право* есть совокупность принципов, управляющих обществом; справедливость в человеке есть уважение к этим принципам и соблюдение их. Соблюдать справедливость — значит повиноваться общественному инстинкту; совершить акт справедливости — значит совершить акт социальный. Если мы будем наблюдать поведение людей по отношению друг к другу при различных обстоятельствах, то нам нетрудно будет заметить, когда они совершают поступок общественный и когда антиобщественный. В результате мы, путём индукции, получим закон.

Начнём с самых простых и наиболее наглядных случаев.

Мать, защищающая сына с опасностью для собственной жизни и отказывающая себе во всём, чтобы питать сына, составляет с ним общество — она хорошая мать, и наоборот, мать, бросающая сына, не повинуется общественному инстинкту, одной из форм проявления которого является материнская любовь, — она дурная мать.

Когда я бросаюсь в воду, чтобы спасти утопающего, я его брат, его союзник; но когда я его толкаю в воду, я его враг, убийца.

Человек, дающий милостыню, поступает с бедняком как со своим союзником, товарищем; не как с товарищем при всех обстоятельствах, но лишь как с товарищем, с которым он делится данным количеством благ. Кто силою или хитростью присваивает себе то, чего он не произвёл, тот сам в себе уничтожает принцип общности и является разбойником.

Самарянин, поднимающий лежащего на дороге путника, перевязывающий его раны, подкрепляющий его и дающий ему деньги, становится его товарищем, ближним; священник, равнодушно проходящий мимо того же путника, остаётся ему чуждым, враждебным.

Во всех этих случаях человек следует внутреннему влечению к подобным себе, скрытой симпатии, заставляющей его любить, сочувствовать, сострадать. Для того чтобы противостоять этому влечению, нужно усилие воли, противящейся природе.

Но всё это не устанавливает никакого резкого различия между человеком и животными. Пока слабость детёнышей животных возбуждает к ним любовь их матерей, последние с опасностью для собственной жизни защищают их от нападений, проявляя при этом мужество не менее героическое, чем мужество людей, умирающих за свою родину. Некоторые виды соединяются в общества для охоты, отыскивают, зовут — поэт сказал бы, приглашают — друг друга для раздела добычи. В случае опасности животные предупреждают, защищают друг друга. Слоны умеют вытаскивать своих товарищей из ловчих ям; коровы окружают своих телят кольцом, становясь вокруг них головами наружу для отражения волков. Лошади и свиньи прибегают на крик боли своих товарищей. Я мог бы долго описывать их браки, нежность самцов к самкам, верность в любви. Следует, впрочем, в интересах справедливости признаться, что эти трогательные проявления товарищества, братства и любви к ближним не мешают животным ссориться, драться и уничтожать друг друга из-за пищи и из ревности. Животные в самом деле чрезвычайно похожи на нас!

Общественный инстинкт свойствен человеку и животным в различной степени, но по существу он и у того, и у других одинаков. Человек больше нуждается в обществе,

животное более приспособлено для одиночества. У человека потребность в обществе более настоятельна и сложна, у животного эта потребность, по-видимому, менее глубока, сложна и настоятельна. Вообще у человека общество имеет целью сохранение рода и индивидуума, у животных же только сохранение рода.

До сих пор мы не открыли ничего такого, на что человек мог бы претендовать как на свойственное исключительно ему: общественный инстинкт, нравственное чувство существует и у животных. Совершая некоторые поступки, вызванные состраданием, справедливостью и преданностью, человек мнит себя подобным Богу, забывая, что он при совершении этих поступков следует чисто животному влечению. Мы бываем добрыми, любящими, сострадательными, справедливыми, но в то же время жадными, злыми, сладострастными и мстительными — совсем как животные. Высшие наши добродетели при тщательном анализе оказываются слепыми проявлениями инстинкта. Как они достойны прославления и канонизации!

Существует, однако, всё-таки известное различие между нами, двуногими, и остальными живыми существами. В чём оно заключается? Ученик философии поспешит ответить нам: это различие заключается в том, что мы сознаём свою общительность, животные же её не сознают; а также в том, что мы размышляем и рассуждаем о проявлениях нашего социального инстинкта, животные же на это не способны.

Я пойду дальше: благодаря способности мыслить и рассуждать, свойственной, по-видимому, нам одним, мы знаем, что и для других, и для нас самих вредно противиться общественному инстинкту, который руководит нами и который мы называем *справедливостью*; разум говорит нам, что человек эгоистичный, вор, убийца — словом, изменник обществу — грешит против природы и становится преступником по отношению к другим и к самому себе, когда причиняет зло сознательно; и наконец, наш социальный инстинкт — с одной, а разум, с другой стороны, подсказывает, что существа, подобные нам, должны быть ответственными за свои поступки. Таков принцип раскаяния, мести и уголовного правосудия.

Но всё это изобличает вовсе не различие между чувствами человека и животных, а только различие в способности разумения. Обсуждая наши взаимоотношения с ближними, мы обсуждаем также самые обыденные наши поступки: еду, питьё, выбор жены, подыскание жилища; мы рассуждаем обо всём в мире; нет ничего, к чему бы мы ни приложили своей способности суждения. И вот, подобно тому как приобретаемое нами знакомство с явлениями внешнего мира не влияет на их причины и законы, так и способность суждения, просвещая наш инстинкт, выясняет нам нашу чувственную природу, но не изменяет её характера, показывает нам нашу нравственную жизнь, но не воздействует на неё. Недовольство, которое мы чувствуем, когда совершили ошибку, негодование, вызываемое в нас несправедливостью, понятие о заслуженной каре и должном удовлетворении являются результатом рефлексии, рассуждения, но вовсе не непосредственными проявлениями инстинкта и чувственных ощущений. Способность суждения — я не скажу: принадлежащая исключительно нам, ибо животные также сознают свои проступки и также волнуются, когда кто-нибудь из подобных им подвергается опасности, — но гораздо более развитая у нас способность суждения о наших общественных обязанностях, сознание того, что хорошо или дурно, не составляет существенного различия между нравственным миром человека и

нравственным миром животного.

2. О первой и второй степени общительности

Я настаиваю на констатированном мною выше факте, который является одним из важнейших для антропологии.

Чувство симпатии, влекущее нас к обществу, по природе своей слепо, беспорядочно, всегда может быть парализовано впечатлением минуты и не считается ни с давностью прав, ни со старшинством, ни с заслугами. Непородистая собака бежит вслед за каждым, кто её позовёт; грудной младенец считает каждого мужчину своим отцом, каждую женщину — своей кормилицей; каждое живое существо, лишённое общества себе подобных, привязывается к товарищу, с которым разделяет своё одиночество. Эта основная черта инстинкта общительности делает невыносимой и даже ненавистной дружбу людей легкомысленных, способных увлекаться каждым новым лицом, готовых услужить всем и каждому и ради мимолётной связи забывающих самые старинные и наиболее достойные уважения привязанности. Подобные существа страдают не отсутствием сердца, но отсутствием способности суждения. На этой ступени общительность представляет собою нечто вроде магнетизма, который вызывает в нас созерцание подобного нам существа; этот магнетизм никогда не исходит от того, кто его испытывает, он может быть взаимным, но сообщить его другому нельзя. Назовите этот магнетизм любовью, доброжелательством, жалостью, симпатией — всё равно в нём не заключается ничего, заслуживающего уважения, ничего, возвышающего человека над животным.

Второй степенью общительности является справедливость, которую можно определить как *признание в другом личности, равной нашей*. Как чувство она одинаково свойственна и нам и животным, но только мы способны сознать её, составить себе точное понятие о *справедливом*, что, однако, как я уже говорил выше, не изменяет сущности нравственности. Мы скоро увидим, каким образом человек возвышается до третьей ступени общительности, уже недоступной для животных. Но я предварительно должен доказать путём умозрений, что *общество, справедливость, равенство* — выражения равнозначные, которые всегда вполне законным образом могут быть превращены одно в другое.

Когда я, во время кораблекрушения, спасаясь в лодке с известным количеством съестных припасов, замечаю человека, борющегося с волнами, обязан ли я помочь ему? Да, я обязан помочь ему под страхом совершения человекоубийства, измены обществу.

Но обязан ли я также разделить с ним свои припасы?

Для того чтобы разрешить этот вопрос, надо придать ему иную форму: если общность обязательна относительно лодки, то обязательна ли она также относительно припасов? Без всякого сомнения — да; долг товарища, члена общества, абсолютен. Завладению вещами со стороны человека предшествует его общественная природа, и первое подчиняется

последней, владение становится исключительным лишь с того момента, когда всем дано равное право оккупации. Долг наш в данном случае затемняется нашей способностью предвидения, которая, заставляя нас бояться возможной опасности, толкает нас на узурпацию, делает из нас воров и убийц. Животные не сознают ни своего инстинктивного долга, ни последствий, могущих проистечь для них от выполнения этого долга. Было бы странно, если бы способность суждения сделалась для человека, самого общительного животного, причиной неповиновения закону. Кто уверяет, что пользуется своей способностью суждения только для своей выгоды, тот лжёт обществу. Лучше было бы, чтобы Бог лишил нас предусмотрительности, если последняя служит орудием нашего эгоизма!

Как, скажете вы, надо, чтобы я разделил свой хлеб, хлеб заработанный, составляющий моё достояние, с чужим человеком, которого не знаю, никогда больше не увижу и который, быть может, оплатит мне неблагодарностью? Если б, по крайней мере, мы заработали этот хлеб вместе, если б этот человек сделал что-нибудь для получения хлеба, он мог бы требовать своей доли, ссылаясь на своё сотрудничество со мною; но ведь у меня нет ничего принадлежащего ему! Мы не работали вместе, не будем также вместе и есть.

Ошибочность этого рассуждения заключается в ложном предположении, что данный работник не является неизбежно союзником всякого другого работника.

Когда двое или больше частных людей основывают общество, когда принципы последнего установлены, написаны и скреплены подписями, вытекающие из этого факта следствия понятны без труда. Когда двое людей основывают общество, скажем, для рыбной ловли, то все согласны с тем, что тот из них, кто не поймал ни одной рыбы, имеет право на улов другого. Когда два торговца основывают общество для торговли, то и прибыли и убытки они делят пополам до тех пор, пока существует общество. Если каждый производит не для себя, а для общества, то в момент распределения благ принимается в расчёт не производитель, а член общества. Вот почему раб, которому плантатор даёт только солому и рис, вот почему рабочий, которому капиталист даёт слишком маленькое вознаграждение, вот почему они, производя вместе со своим хозяином, но не будучи его товарищами, не получают своей доли в дележе. Лошадь, которая нас везёт, бык, который тащит наш плуг, производят вместе с нами, но не являются нашими товарищами; мы берём их продукт, но не делимся им с ними. Положение животных и рабочих, которые нам служат, одинаково; когда мы делаем добро тем или другим, мы делаем это не по долгу справедливости, но из чувства доброжелательства[22].

Но может ли быть, чтобы мы, люди, не были товарищами, членами одного общества? Вспомним, что говорилось в двух предыдущих главах; если бы даже мы не хотели быть членами общества, то нас принудили бы к этому самая сила вещей, наши потребности, законы производства, математический принцип обмена. Исключение из этого правила есть только одно: таковым является собственник, который производит, благодаря своему праву на получение дохода (*droit d'aubaine*), но не является ничьим товарищем и, следовательно, ни с кем не обязан делиться, так же как и другие не обязаны делиться с ним. Все мы, кроме собственника, работаем один для другого; сами по себе, без помощи других мы ничего не можем сделать, мы постоянно обмениваемся между собой произведениями и услугами: что

же всё это, если это не акты общительности?

Коммерческое, промышленное, сельскохозяйственное общества немислимы без равенства; равенство является необходимым условием их существования, так что во всём, имеющем отношение к данному обществу, нарушение последнего равняется нарушению справедливости, равенства. Приложите этот принцип ко всему человеческому роду; после того, что вы прочли, читатель, вы, полагаю, можете обойтись при этом и без моей помощи.

Итак, человек, завладевающий участком земли и говорящий: это моё поле, не будет несправедлив до тех пор, пока все люди будут иметь возможность также сделаться владельцами; он не будет несправедлив также и в том случае, если, желая переселиться на другое место, переменит один участок поля на другой. Но если он, поставив на своё место другого, говорит ему: работай для меня, пока я буду отдыхать, то он становится несправедливым, антиобщественным, *неравным*, становится собственником.

В свою очередь, лентяй, бездельник, не выполняющий никакой общественной функции, но пользующийся произведениями других в такой же, а часто даже в большей степени, чем другие, должен преследоваться как вор, как паразит. Мы сами перед собою обязаны ничего ему не давать; но так как жить ему надо, то мы должны подвергнуть его надзору и принудить к работе.

Общительность представляет собою для мира живых существ как бы силу тяготения; справедливость — то же самое тяготение, сопровождаемое рефлексией и знаниями. Но под каким общим понятием, под какой категорией познания воспринимаем мы справедливость? Под категорией равных количеств. Отсюда древнее определение юриспруденции: *Justum aequale est, injustum inaequale*{39}.

Что же значит: совершать справедливость? Это значит давать каждому равную часть благ под условием равной суммы труда, это значит действовать сообразно интересам общества. Как бы эгоизм наш ни роптал, нет возможности обойти очевидную необходимость.

Что такое право оккупации, завладения? Это естественный способ разделения земли путём расселения работников одного рядом с другим, по мере того как они появляются; это право, сталкиваясь с общим благом, уничтожается, ибо общее благо, будучи благом общественным, является также благом каждого отдельного оккупанта.

Что такое право труда? Это право на участие в пользовании благами при условии выполнения известных обязанностей, это право социальное, право равенства.

Справедливость, продукт известной комбинации идеи и инстинкта, проявляется в человеке, как только он приобретает способность чувствовать и мыслить. Поэтому её считают понятием врождённым, первоначальным; взгляд этот ложный и с логической и с хронологической точки зрения. Но справедливость, которая по своему составу является, так сказать, гибридной, справедливость, возникшая из двух способностей, чувственной и интеллектуальной, кажется мне одним из наиболее сильных аргументов в пользу единства и простоты нашего я, ибо организм сам собою не может создавать такие смеси, подобно тому как он из двух чувств, слуха и зрения, не может создать чувства смешанного,

полузрительного, полуслухового.

Справедливость, благодаря двойственности своей природы, окончательно подкрепляет приведённые нами во II, III и IV главах доказательства. Так как, с одной стороны, идея *справедливости* идентична с идеей общества, а последнее неизбежно включает в себе понятие равенства, то равенство должно было бы служить основой всех софизмов, изобретаемых в защиту собственности. Последнюю можно защищать только как явление справедливое и общественное, а так как собственность влечёт за собою неравенство, то для того, чтобы доказать, что собственность не противоречит обществу, надо доказать, что несправедливое — справедливо, неравное — равно, а это противоречие. Но так как, с другой стороны, второй элемент справедливости, понятие равенства, дан нам в математическом соотношении вещей, то собственность или неравное распределение благ между трудящимися, нарушая необходимое равновесие труда, производства и потребления, должна оказаться невозможной.

Итак, все люди — члены одного общества, все обязаны быть справедливыми по отношению друг к другу, все равны; следует ли отсюда, что предпочтение, вызванное любовью или дружбой, несправедливо?

Здесь необходимо дать некоторые пояснения.

Выше я привёл пример человека, подвергающегося опасности, которому я мог оказать помощь. Допустим теперь, что меня зовут на помощь одновременно два человека; можно ли мне, должен ли я сначала броситься на помощь тому, кто мне ближе по крови, по дружбе, по уважению и благодарности, которые я к нему чувствую, могу ли я это сделать, рискуя гибелью второго? Да. А почему? Потому что внутри общественного целого для каждого из нас существует столько же частичных обществ, сколько и индивидуумов, и потому что в силу самого принципа общительности мы должны исполнять возлагаемые на нас этими обществами обязанности сообразно с тем, насколько близок нам круг, который каждое из них образует вокруг нас. Таким образом, мы должны предпочитать всем другим нашего отца, мать, детей, друзей, товарищей и т. д. В чем, однако, должно заключаться это предпочтение?

Судья должен решить дело между своим другом и своим врагом. Может ли он в этом случае предпочесть своего *более близкого товарища более далёкому* и, вопреки истине и справедливости, решить дело в пользу своего друга? Нет, ибо, если б он поддержал несправедливость этого друга, он сделался бы соучастником его измены общественному договору, составил бы с ним, так сказать, заговор против всей совокупности членов общества. Предпочтение уместно только в личных отношениях, определяемых любовью, уважением, доверием, близостью, которые мы не можем чувствовать ко всем сразу. Во время пожара отец должен сначала спасти своего ребёнка, а потом уже думать о ребёнке соседа. Но так как признание права со стороны судьи не личное и не факультативное признание, то он и не властен потворствовать одному в ущерб другому.

Эта теория частичных обществ, образующих вокруг каждого из нас, так сказать, концентрические круги внутри всего общества, даёт ключ к разрешению всех проблем,

какие только могут породить различные виды общественных обязанностей, вступая друг с другом в противоречие, проблем, являвшихся основной идеей древних трагедий.

Справедливость животных носит, так сказать, отрицательный характер. Исключая случаи защиты детёнышей, общих охот, нападений и защиты, а также изредка помощи отдельному индивидууму, она не деятельна, а пассивна. Больной, не способный двигаться, или неосторожный, свалившийся в пропасть, не получает ни лекарств, ни пищи; если они не могут выздороветь или выбраться из пропасти сами, жизнь их в опасности; никто не будет ухаживать за больным, никто не будет посещать и кормить попавшего в плен. Беззаботность животных зависит в такой же мере от недостатка средств, как и от скудости ума. Впрочем, различные степени близости, существующие между людьми, наблюдаются и среди животных; у них существует дружба, добрые соседские и родственные отношения, симпатии. Память у них развита слабее, чем у нас, чувства бессознательны, ум почти отсутствует. Тождество, по существу, однако, всё-таки имеется налицо, и наше превосходство над ними в этом отношении происходит исключительно от нашей сознательности.

Благодаря обширности нашей памяти и глубине суждения, мы умеем умножать и комбинировать действия, внушаемые нам общественным инстинктом, учимся делать их более успешными и направлять их сообразно степени и совершенству прав. Животные, живущие обществами, следуют справедливости, но они её не знают и не обсуждают; они повинуются своему инстинкту, не рассчитывая и не философствуя. Их я не умеет соединять общественный инстинкт с понятием равенства, ибо последнее, как понятие отвлечённое, им недоступно. Мы же, наоборот, исходя из принципа, что общество обуславливает собою равенство распределения, и при помощи нашей способности суждения можем входить друг с другом в соглашения относительно урегулирования наших прав, в этом мы даже значительно преуспели. Но сознание наше здесь играет самую незначительную роль, это доказывается тем, что понятие *права*, едва намеченное у некоторых, наиболее близких к нам в смысле умственного развития животных, находится, по-видимому, в таком же зародышевом состоянии у некоторых диких народов и достигает высшего развития лишь в отдельных личностях, Платонах и Франклинах. Стоит проследить развитие нравственного чувства у отдельных личностей и развитие законов у целых народов, чтобы убедиться, что понятие справедливости и совершенство законодательства повсюду прямо пропорциональны развитию разума. Таким образом, понятие справедливого, казавшееся философам простым, на самом деле сложно. Оно вытекает из социального инстинкта, с одной, и из понятия равных заслуг, с другой стороны, подобно тому как понятие виновности порождено чувством нарушения справедливости и понятием о свободе воли.

Итак, инстинкт не изменяется от присоединяющихся к нему познаний и рассмотренные нами до сих пор акты общительности свойственны нам наравне с животными. Мы знаем, что такое справедливость или общительность, соединённая с пониманием равенства. Нет ничего, отличающего нас от животных.

3. О третьей степени общительности

Быть может, читатель не забыл того, что я говорил в III главе о разделении труда и об особенностях дарований. Сумма талантов и способностей у людей равна, и характер их однороден. Все мы, без исключения, рождаемся поэтами, математиками, философами, артистами, ремесленниками, земледельцами; но мы рождаемся ими не в одинаковой степени, и между способностями различных людей, так же как и между способностями одного человека, могут существовать всевозможные различия. Эти различия в степени одних и тех же способностей, это преобладание одного какого-нибудь таланта, является, говорили мы, основой нашего общества. Природа распределила ум и гениальность с такой бережливостью и с такой предусмотрительностью, что социальному организму нечего опасаться ни избытка, ни недостатка специальных талантов, и каждый работник, выполняя свои функции, всегда может достигнуть степени образования, необходимой для того, чтобы он мог воспользоваться трудами и открытиями остальных членов общества. Благодаря такой простой и мудрой предосторожности природы работник не остаётся одиноким при выполнении своей задачи; мысленно он находится в общении со всеми себе подобными ещё прежде, чем соединится с ними сердцем, так что у него любовь порождается разумом.

Иначе обстоит дело с обществами животных. У каждого вида способности, очень, впрочем, ограниченные и по количеству, и, даже когда они вытекают не из инстинкта, по качеству, равномерно распределены между индивидами. Каждый умеет делать то же, что делают другие, и так же хорошо, как они. Каждый умеет отыскивать пищу, избегать врагов, рыть нору, строить гнездо и т. д. Никто из животных, будучи на воле и здоровым, не ждёт и не требует помощи от соседа, который, в свою очередь, тоже обходится без чужой помощи.

Общественные животные живут рядом друг с другом, не обмениваясь мыслями и чувствами. Все делают одно и то же, им нечему учиться, нечего запоминать. Они один другого видят, чувствуют, соприкасаются друг с другом, но не понимают один другого. Люди постоянно обмениваются между собой мыслями и чувствами, произведениями и услугами. Всё, что происходит в обществе, всё, чему в нём можно научиться, необходимо человеку; но из всей громадной суммы продуктов и идей отдельному человеку дано сделать и достигнуть так мало, что его доля в сравнении с общей суммой подобна атому в сравнении с солнцем. Человек является человеком только благодаря обществу, которое, в свою очередь, существует лишь благодаря равновесию и гармонии составляющих его сил.

У животных общество имеет форму *простую*, у людей же *сложную*. Человека объединяет с человеком тот же инстинкт, который объединяет и животных; но характер общества, объединяющего людей, иной, чем характер обществ, объединяющих животных; из этого именно различия вытекает и всё различие в нравственности.

Я, быть может слишком даже пространно, доказал, основываясь на самом духе законов, считающих собственность основой социального строя, и на политической экономии, что неравенство условий не оправдывается ни первенством оккупации, ни превосходством таланта, заслуг, способностей и усердия. Но хотя равенство условий является неизбежным следствием естественного права, свободы, законов производства, пределов физической природы и самого принципа общества, это равенство всё-таки не останавливает развития чувства общности на границе *должного* и *имеющегося*; дух любви и благотворительности идёт дальше, и, когда в экономии установлено равновесие, душа

начинает наслаждаться собственной справедливостью и сердце расцветает в бесконечных привязанностях.

Тогда чувство общности, соответственно взаимоотношениям людей, принимает новый характер: сильный наслаждается своим великодушием, равные — откровенной и искренней дружбой, слабые же испытывают радостное чувство умиления и признательности.

Человек, особенно одарённый силой, талантами или мужеством, знает, что он всем обязан обществу, без которого он ничто; он знает, что, обращаясь с ним как с последним из своих членов, общество воздаёт ему должное. Но человек не может в то же время не сознавать превосходства своих способностей, не может не сознавать свою силу и величие: этим сознательным прославлением в своём лице всего человечества, этим признанием, что сам он только орудие природы, которая одна достойна славы и благословений, этим одновременным исповеданием ума и сердца, истинным поклонением верховному существу человек отличается от животных и благодаря этому он возвышается до такой степени общественной нравственности, какой животным не дано достигнуть. Геркулес, бескорыстно уничтожающий чудовища и наказывающий разбойников ради блага Греции, Орфей, поучающий грубых и свирепых пелазгов без мысли о награде, — вот наиболее благородные образы, созданные поэзией, высшее выражение справедливости и добродетели.

Наслаждение, которое даёт самопожертвование, не поддаётся выражению.

Если бы можно было сравнить человеческое общество с хором античных трагедий, то я сказал бы, что ряд возвышенных умов и великих душ представляет собою *строфу*, а масса маленьких и скромных людей — *антистрофу*. Обременённые тяжким и обыденным трудом, всемогущие благодаря своей численности и благодаря гармоническому единству своих функций, последние выполняют то, что создают в своём воображении первые. Руководимые первыми, они им ничем не обязаны, но отдают им дань восхищения и приветствуют их похвалами и аплодисментами.

Признательность превращается подчас в благоговение и энтузиазм.

Но равенство дорого моему сердцу. Благотворительность вырождается в тиранию, восхищение — в раболепство: дочерью равенства является дружба. О друзья мои, я хотел бы жить среди вас без соревнования и без славы; я хотел бы, чтобы нас объединяло равенство и чтобы судьба указала нам наши места! Я хотел бы умереть прежде, нежели познакомиться с тем из вас, кто будет наиболее достоин уважения!

Дружба дорога сердцу детей человеческих.

Великодушие, признательность (я разумею здесь лишь признательность, порождаемую удивлением перед высшею силою) и дружба являются тремя различными оттенками одного чувства, которое я назвал бы *справедливостью или социальной соразмерностью*[23] (*équité ou proportionnalité sociale*).

Гуманность не изменяет справедливости, но последняя, основываясь всегда на первой, прибавляет к ней уважение и таким образом создаёт в человеке третью ступень

общительности. Благодаря чувству равенства или гуманности для нас и обязанность и наслаждение помогать нуждающемуся в нашей помощи слабому существу и делать его равным нам; воздавать сильному должную дань признательности и уважения, не становясь его рабом; любить нашего ближнего, нашего друга, человека, равного нам, за всё, что мы получаем от него, даже в обмен за услуги с нашей стороны. Гуманность есть общительность, возведённая разумом и справедливостью до высоты идеала; чаще всего она проявляется в форме *вежливости, учтивости*, которыми у некоторых народов исчерпываются все общественные обязанности.

Это чувство не известно животным. Они любят, привязываются, предпочитают того или иного, но они не понимают уважения, не знают ни великодушия, ни восторга, ни обрядов.

Это чувство порождается не разумом, который рассчитывает, взвешивает и вычисляет, но не любит, который видит, но не чувствует. Подобно тому как справедливость является смешанным продуктом общественного инстинкта и рефлексии, так и гуманность есть смешанный продукт справедливости и вкуса, т. е. нашей способности оценивать и идеализировать.

Этот продукт, третья и последняя ступень общительности в человеке, определяется нашей сложной формой ассоциации, при которой неравенство или, вернее, различие способностей и специальность функций, само по себе имеющее тенденцию изолировать трудящихся, потребовало бы увеличения интенсивности нашей общительности.

Вот почему сила, угнетающая и в то же время покровительствующая, отвратительна, вот почему тупое невежество, которое одинаково смотрит и на чудеса искусства, и на продукты самой грубой промышленности, вызывает невыразимое презрение, а торжествующая посредственность, надменно говорящая: *«Я тебе заплатил, я ничем тебе не обязан»*, возбуждает величайшую ненависть.

Общительность, справедливость, гуманность — таково в его тройной постепенности точное определение инстинктивной способности, заставляющей нас искать общества нам подобных; способ внешнего проявления её можно формулировать следующим образом: равенство в произведениях природы и труда.

Эти три степени общительности предполагают и поддерживают друг друга: гуманность без справедливости невозможна, общество без справедливости — невысказано. В самом деле, если я, для того чтобы вознаграждать талант, беру произведения одного лица и передаю их другому, несправедливо обездоливая первого, то я не обнаруживаю должного таланту уважения; если я в обществе присваиваю себе большую часть, а остальным членам общества предоставляю меньшую, то мы уже не составляем общества в истинном смысле слова. Справедливость есть общительность, обнаруживающаяся в допущении к участию в физических благах, единственных доступных взвешиванию и измерению; гуманность есть справедливость, сопровождающаяся уважением и удивлением — вещами, не поддающимися измерению.

Отсюда можно сделать следующие выводы:

1. Хотя мы вольны оказывать одному человеку больше уважения, нежели другому, и уважение это не имеет пределов, всё же мы не вольны предоставить ему большую долю общественных благ, чем остальным, так как долг справедливости выше долга гуманности и первый всегда должен предшествовать второму. Древние преклонялись перед женщиной, которую тиран принудил выбирать между смертью мужа и смертью брата и которая пожертвовала первым, говоря, что она может найти мужа, но брата найти не может; я утверждаю, что эта женщина, повинувшись свойственному ей чувству гуманности, совершила поступок дурной и несправедливый, ибо брачный союз теснее союза братского и человеческая жизнь не принадлежит нам.

Согласно этому принципу неравенство вознаграждения не может быть внесено в законодательство под предлогом неравенства способностей, ибо основанное на справедливости распределение благ относится к области хозяйства, а не к области чувств.

Наконец, что касается подарков, завещаний и наследств, то общество, оберегая и семейные привязанности, и свои собственные права, не должно допускать, чтобы любовь и предпочтение нарушали справедливость. Даже будучи убеждённым, что сын, давно уже принимающий участие в трудах отца, более, чем кто бы то ни было другой, способен продолжать эти труды; что гражданин, застигнутый смертью за неоконченным делом, инстинктивно и из любви к своему делу сумеет назначить наилучшего продолжателя этого дела, общество, предоставляя наследнику право выбирать между разного рода наследствами, не может терпеть никакой концентрации капитала или доходов в руках одного человека, никакой эксплуатации труда, никакого грабежа[24].

2. Чувство гуманности, справедливости и общительности живое существо может испытывать только по отношению к индивидам своего рода; по отношению к существам другого вида оно немислимо; волк к козе, коза к человеку, человек к Богу и тем более Бог к человеку не может питать этого чувства. Приписывание высшему Существу атрибутов вроде любви, гуманности и справедливости есть чистейший антропоморфизм; эпитеты: справедливый, милостивый, милосердный и пр., которые мы прилагаем к Богу, должны бы быть вычеркнуты из наших молитв. Бога можно бы считать добрым, справедливым и гуманным лишь по отношению к другому Богу; но Бог один, и, следовательно, он не может испытывать общественных чувств, какими являются гуманность, справедливость, доброта. Разве говорят о пастухе, что он справедлив по отношению к своим овцам и собакам? Нет; но если бы он захотел настричь с шестимесячного ягнёнка столько же шерсти, сколько с двухлетнего барана, и если б вздумал заставить щенка стеречь стадо, как стережёт его старая собака, то о нём не сказали бы, что он несправедлив, а прямо назвали бы его безумным. Дело в том, что между человеком и животным не может быть общественной связи, хотя возможна привязанность. Человек любит животное как *вещь*, если угодно, как *вещь одушевлённую*, но не как *личность*. Исключив из понятия о Боге страсти, которые приписывало ему суеверие, философия будет вынуждена исключить также и добродетели, которыми его щедро наградило наше религиозное чувство[25].

Если бы Бог спустился на землю и стал жить среди нас, мы не могли бы любить его, если бы он не сделался подобным нам, не могли бы дать ему что бы то ни было, если бы он сам ничего не производил, не повиновались бы ему, пока бы он не доказал нам, что мы заблуждаемся, и не преклонялись бы перед ним, пока он не обнаружил бы нам своего могущества. Все законы нашего бытия, законы чувств, разума, законы экономические заставляли бы нас относиться к нему, как и ко всем другим людям, т. е. разумно, справедливо и гуманно. Я делаю отсюда заключение, что если Бог пожелает когда-либо войти в непосредственные сношения с человеком, то ему придётся самому превратиться в человека.

Итак, если короли являются подобиями Бога и исполнителями его желаний, то они могут рассчитывать на любовь, повиновение и прославление с нашей стороны лишь с тем условием, что они будут работать, как мы, будут вступать в общение с нами, будут производить столько же, сколько и расходовать, и самолично совершать великие дела. Если же, как утверждают иные, короли являются общественными должностными лицами, то любовь к ним также будет определяться их личными качествами, обязанность повиноваться им — основательностью их распоряжений, а гражданский лист — суммой всех произведений общества, делённую на число членов последнего.

Таким образом, и юриспруденция, и политическая экономия, и психология — всё одинаково приводят нас к закону равенства. Право и обязанность, вознаграждение, заслуженное талантом и трудом, порывы любви и энтузиазма — всё это регулируется сообразно неизменному мерилу, всё зависит от числа и равновесия. Равенство условий — вот принцип всякого общества, всеобщая солидарность — санкция этого принципа.

Равенство условий никогда ещё не было осуществлено благодаря нашим страстям и благодаря нашему невежеству; но наше противодействие этому принципу всё более и более обнаруживает его необходимость; об этом свидетельствует вся история и весь ход событий. Общество идёт от уравнения к уравнению; с точки зрения наблюдателя-экономиста, революции в сфере власти представляют собою только либо приведение алгебраических величин, взаимно исключаящихся, либо выведение неизвестной величины, вызванное неизбежным действием времени. Числа суть провидение истории. Конечно, в прогрессе человечества принимают участие и другие элементы; но из множества скрытых причин, волнующих народы, одною из самых могущественных, регулярных и наименее скрытых являются периодические возмущения пролетариата против собственности. Собственность, действующая одновременно и устранением и вторжением, между тем как народонаселение возрастает, собственность была принципом, породившим и определившим все революции. Религиозные и завоевательные войны, за исключением тех случаев, когда они вели к уничтожению целых племён, были случайными и быстро восстанавливаемыми нарушениями чисто математического прогресса жизни народов. Таково могущество накопления собственности, таков закон упадка и смерти обществ.

Иллюстрацией могут служить в средние века Флоренция, республика купцов и посредников, постоянно раздираемая междоусобиями партий, называвшихся гвельфами и гибеллинами, а на самом деле представлявших собою враждебные друг другу простой народ и аристократов-собственников, порабощённая банкирами и в конце концов погибшая под бременем долгов[26]; в древности Рим, подтачиваемый с самого своего возникновения

ростовщицеством, тем не менее процветавший, пока мир давал *работу* его ужасным пролетариям, и погибший от истощения, когда народ, вместе с прежней энергией, утратил последнюю искру нравственного чувства; Карфаген, город торговли и денег, непрестанно раздираемый внутренними междоусобицами; Тир, Сидон, Иерусалим, Ниневия, Вавилон, разорвавшиеся один вслед за другим благодаря торговой конкуренции и, как мы говорим теперь, благодаря отсутствию сбыта. Разве все эти примеры не показывают с достаточной ясностью, какая судьба ожидает современные нации, если народ, если Франция не провозгласит своим могучим голосом уничтожения общественного строя, основанного на собственности?

На этом труд мой должен бы закончиться. Я доказал права бедняка, я доказал, что собственник — узурпатор; я требую правосудия, приведение приговора в исполнение меня не касается. Если, для того чтобы выиграть несколько лет незаконного пользования, мне возразят, что мало доказать необходимость равенства, что надо ещё его организовать, тщательно избегая при его организации раздоров, то я вправе буду ответить: заботы об угнетённых важнее затруднений власть имущих. Равенство условий есть основной закон, на котором покоится политическая экономия и юриспруденция. Право на труд и на равную долю в благах земных не должно склоняться перед опасениями власти; не пролетарий должен примирять противоречия, заключающиеся в законах, и тем более сносить заблуждения правительств, наоборот, гражданские и правительственные власти должны быть преобразованы согласно принципу политического и имущественного равенства. Раскрытое зло должно быть осуждено и уничтожено; законодатель не может опираться на своё незнание будущего строя и поддерживать явную несправедливость. Восстановление в правах откладывать нельзя. Справедливость, правосудие; признание права; восстановление в правах пролетария — таким образом вы, судьи и консулы, имея в виду полицию, создадите республиканское правительство.

Впрочем, я не думаю, чтобы кто-нибудь из моих читателей упрекнул меня в том, что я умею разрушать, а созидать не умею. Доказав принцип равенства, я положил первый камень социального здания; более того, я указал путь, которому надо следовать при разрешении политических и законодательных вопросов. Что касается самой науки, то я говорю открыто, что знаю только её принцип, и полагаю, что в настоящее время никто не может похвастать большим знанием её. Многие люди восклицают: придите ко мне, я научу вас истине. Эти люди считают истиной своё внутреннее убеждение, свою восторженную уверенность; они обыкновенно заблуждаются относительно истины вообще. Наука об обществе, как и все вообще человеческие науки, останется на веки веков неоконченной; глубина и разнообразие обнимаемых ею вопросов неисчерпаемы. Мы едва познакомились с азбукою этой науки; доказательством этого служит тот факт, что мы ещё не пережили периода созидания систем и по-прежнему вместо фактов признаём авторитет большинства борющихся сторон. Одно грамматическое общество разрешало лингвистические вопросы большинством голосов; дебаты наших палат были бы ещё смешнее, если бы они не приводили к таким ужасным последствиям. В наше время задачей истинного публициста является разоблачение изобретателей и шарлатанов и приучение публики к тому, чтобы она верила только доказательствам, но отнюдь не символам и программам. Прежде чем приступать к изложению какой-либо науки, необходимо определить её предмет, найти её принцип и метод; необходимо очистить её от загромождающих её предрассудков. Такова задача

девятнадцатого столетия.

Сам я, согласно своему обету, останусь верен делу разрушения и буду преследовать истину сквозь развалины и обломки. Я ненавижу полуоконченную работу, и мне без особенных предупреждений с моей стороны могут поверить, что если я дерзнул поднять руку на кивот завета, то я не удовлетворюсь тем, что сбросил с него покров. Нужно, чтобы тайны святилища неравенства были разоблачены, чтобы скрижали Ветхого завета были разбиты и все предметы поклонения брошены в навоз, свиньям. Нам была дана хартия, совокупность всех политических знаний, символ двадцати законодательств; был написан кодекс, гордость завоевателя, полное выражение всей античной мудрости, но от этой хартии, от этого кодекса не останется ни единого параграфа. Отныне учёные могут составить себе своё собственное мнение и приготовиться к пересозданию всего старого.

Но так как раскрытое заблуждение предполагает по необходимости противоположную ему истину, то я не окончу этого сочинения, не разрешив первой проблемы политической науки, проблемы, которой в настоящее время заняты все умы.

Если собственность будет уничтожена, то какова будет форма общества? Будет ли это форма коммунистическая?

Глава V-II.

Психологическое объяснение идеи справедливого и несправедливого и определение принципа власти и права

1. Причины наших заблуждений; происхождение собственности

Прежде чем определить истинную форму человеческого общества, необходимо разрешить следующий вопрос:

Каким образом могла установиться собственность, раз она не является естественным условием нашего существования? Почему общественный инстинкт, столь верный у животных, изменил людям? Почему люди, рождённые для общества, до сих пор ещё не живут общественной жизнью?

Я сказал выше, что человек вступает с другими людьми в *сложные* соединения. Если даже это выражение неверно, то всё-таки не подлежит сомнению факт, который я охарактеризовал этим выражением, т. е. сложность и зависимость друг от друга талантов и способностей. Но очевидно, что эти таланты и способности, в силу своего бесконечного разнообразия, являются причиной бесконечного разнообразия воли, характера, склонностей и, если можно так выразиться, форм нашего я, которые неизбежно определяются ими.

Таким образом, в области свободы, так же как и в области разума, существует столько же типов, сколько и индивидов, столько же своеобразных личностей, сколько и людей, вкусы, настроения и склонности которых, определяющиеся различными понятиями, по необходимости различны. Человек, по самой природе своей и по присущему ему инстинкту, предназначен для общества, а личность его, всегда непостоянная и своеобразная, противится этому.

В обществах животных все индивидуумы делают одно и то же, ими руководит один и тот же дух, одна и та же воля. Общество животных есть собрание круглых, кубических, треугольных или многоугольных, но всегда совершенно одинаковых частиц; можно бы сказать, что всеми ими руководит *одно я*. Работы, которые животные выполняют либо сообща, либо в одиночку, точно воспроизводят их характер: подобно тому как пчелиный рой состоит из совершенно одинаковых и равных пчёл, так и медовые соты состоят из совершенно равных и неизменных ячеек.

Но ум человеческий, предназначенный одновременно и для социальной и для индивидуальной жизни, носит совершенно иной характер, и благодаря этому формы человеческой воли чрезвычайно разнообразны. У пчелы воля постоянна и единообразна, ибо руководящий ею инстинкт неизменен; этот инстинкт составляет жизнь, благополучие и всё существование животного. У человека талант изменчив, разум неопределён и воля вследствие этого разнообразна и изменчива. Человек ищет общества, но избегает принуждения и однообразия; он охотно подражает, но в то же время влюблён в свои идеи и создания.

Если бы человек, подобно пчеле, рождаясь, был уже одарён готовым талантом, совершенными специальными познаниями, прирождёнными знаниями — словом, был бы готов к выполнению предстоящих ему функций, но лишён способности размышлять и рассуждать, общество организовалось бы само собою. Тогда один обрабатывал бы поле, другой строил бы дом, третий работал бы в кузнице, четвёртый готовил бы одежду, пятый собирал бы продукты, шестой распределял бы их и т. д. Каждый, не доискиваясь, зачем он работает, не заботясь о том, сколько он сделает, выполнял бы свой урок, приносил бы продукт, получал бы жалованье и отдыхал бы, не считая, не завидуя никому и не жалуясь на раскладчика, который никогда не совершал бы несправедливости. Короли тогда управляли, но не царствовали бы, ибо царствовать — значит, по выражению Бонапарта, быть *собственником* «жирного пастбища» (*de l'engrais*). Распоряжаться было бы не нужно, так как всякий сам делал бы своё дело, и поэтому короли были бы скорее центрами объединения, нежели авторитетами и советниками. Существовало бы общество, сложившееся само собою, но не общество, явившееся результатом размышлений и принятое свободной волей.

Однако человек приобретает умелость только благодаря наблюдениям и опыту. Следовательно, он размышляет, ибо наблюдать, производить опыты — значит размышлять; он рассуждает, ибо не может не рассуждать; размышляя, он делает себе иллюзии; рассуждая, заблуждается, упорствует в своём заблуждении; настаивает на нём, уважает себя и презирает других. Тогда он уединяется, потому что не может подчиниться большинству, иначе как отказавшись от своей воли и рассудка, т. е. от самого себя, а это невозможно. Это уединение, этот рациональный эгоизм, этот индивидуализм во взглядах

существует до тех пор, пока наблюдение и опыт не укажут человеку истины.

Эти факты сделаются ещё вразумительнее, если мы прибегнем к следующему сравнению.

Если бы вдруг к слепому, но гармоничному и сближающему инстинкту пчелиного роя присоединилась способность размышлять и рассуждать, пчелиное общество распалось бы. Прежде всего члены попытались бы сделать какие-нибудь технические улучшения, стали бы, например, делать круглые или четырёхугольные ячейки. Изобретения и новшества следовали бы одно за другим, пока долгая практика при помощи геометрии не показала бы, что шестиугольная форма самая удобная. Затем произошли бы восстания, трутням пришлось бы собирать запасы, маткам работать. Среди работниц возникла бы зависть, начались бы раздоры, каждая захотела бы работать для себя, и в конце концов пчёлы, покинув улей, погибли бы. Зло, подобно змее, прячущейся под цветами, проникло бы в пчелиную республику благодаря разуму и способности рассуждать, т. е. благодаря тому, что должно было бы возвысить её.

Таким образом, нравственное зло, т. е. в данном случае беспорядок в обществе, естественно объясняется нашею способностью рассуждать. Пауперизм, преступления, восстания, войны порождены неравенством условий, сыном собственности, родившимся от эгоизма, произведённым на свет сознанием самого себя, которое вытекает непосредственно из господства разума. Человек начал не с преступления и не с жестокости, а с ребячества, невежества, неопытности. Одарённый могущественными инстинктами, но также и способностью рассуждать, человек сначала мало размышляет и рассуждает плохо; затем, благодаря заблуждениям, понятия его становятся более ясными, разум более совершенным. Дикарь всем готов пожертвовать ради пустяка, а потом раскаивается и плачет. Исав отдаёт своё право первородства за чечевичную похлёбку, а потом хочет нарушить договор. Цивилизованный рабочий трудится, опираясь на отменимое право, и постоянно требует увеличения заработной платы, потому что ни он, ни его хозяин не понимают, что заработная плата будет недостаточна до тех пор, пока не будет равна для всех. Навуфей умирает, защищая своё достояние. Катон кончает с собою, чтобы не быть рабом. Сократ защищает свободу мысли, не останавливаясь даже перед роковою чашею. Третье сословие в 1789 году добивается свободы, и скоро уж народ потребует равенства прав на средства производства и потребления.

Человек рождается существом общественным, т. е. он во всех своих отношениях стремится к равенству и справедливости; но он любит независимость и похвалы. Трудность одновременного удовлетворения этих различных потребностей служит первой причиной деспотизма воли и вытекающего из него присвоения. С другой стороны, человек нуждается постоянно в обмене своих продуктов. Не имея возможности точно определять ценности, скрывающиеся под различными формами, человек довольствуется приблизительной оценкой их, зависящей от склонностей его и капризов, и предаётся недобросовестной торговле, результатом которой всегда является роскошь и нищета. Таким образом, величайшее зло для человечества порождается дурно направленным общественным инстинктом, справедливостью, которою оно так гордится и которую так плохо применяет в жизни. Приложение справедливости в жизни есть наука, открытие и распространение которой, рано или поздно, положит конец социальному злу, научив нас понимать наши

права и обязанности.

Такое прогрессивное и болезненное воспитание инстинкта, медленное и неощутительное изменение самопроизвольных восприятий и превращение их в обдуманное знание не замечается у животных. Инстинкт их остаётся неизменным и бессознательным.

Согласно Фредерику Кювье, проведему резкую грань между умом и инстинктом животных, последний «есть особое первобытное свойство, подобное чувствительности, раздражимости, уму. Волк и лисица, узнающие капканы, в которых побывали раньше, и избегающие их, собака и лошадь, понимающие даже наши слова и повинующиеся нам, обнаруживают ум. Но собака, прячущая остатки еды, пчела, строящая ячейку, птица, свивающая гнёзда, — все они действуют по инстинкту. Инстинкт существует и у человека: только благодаря особому инстинкту дитя, появляясь на свет, сосёт грудь матери. Но человек во всех почти своих действиях следует разуму; у него разум дополняет инстинкт, у животного же, наоборот, инстинкт дополняет разум» (Флуранс. *Résumé analytique des observations de F. Cuvier*).

“ «Для того чтобы составить себе ясное понятие об инстинкте, надо допустить, что в мозгу у животных существуют врождённые и постоянные образы и ощущения, заставляющие их действовать так, как обыкновенно заставляют действовать постоянные и случайные ощущения. Это нечто вроде сна или видения, постоянно преследующего животных; во всём, что касается их инстинкта, их можно рассматривать как ясновидящих» (Ф. Кювье. *Introduction au règne animal*).

Чем же отличается человек от животного, раз и ум и инстинкт, хотя в разной степени, свойственны обоим? По мнению Ф. Кювье, человек отличается от животного *способностью рассуждать* или *рассматривать умственно, путём углубления в своё я, свои собственные изменения*.

Положение это неясно и требует пояснений.

Если признавать за животными ум, то надо также признать за ними известную степень способности суждения, ибо ум не может существовать без последней, и сам Ф. Кювье доказывает это целым рядом примеров. Заметим, однако, что учёный-наблюдатель определяет способность суждения, которою мы отличаемся от животных, как *способность рассматривать наши собственные изменения*. Я постараюсь уяснить эту мысль, дополнив чересчур лаконичное положение философа-натуралиста.

Приобретённый животными ум никогда не побуждает их видоизменять приёмы, которые они выполняют инстинктивно; ум вообще дан им лишь для того, чтобы они могли справиться с неожиданными случайностями, нарушающими их обычные приёмы. У человека, наоборот, инстинктивные действия непрестанно превращаются в обдуманные. Так, напр., человек, общительный в силу инстинкта, становится с каждым днём общительнее благодаря способности суждения и способности выбирать. Человек создал язык инстинктивно[27] и инстинктивно же сделался поэтом; теперь же он из грамматики сделал науку, а из поэзии

искусство. Он верит в Бога и будущую жизнь бессознательно и, смею сказать, инстинктивно. Своему понятию о Боге и будущей жизни человек придавал последовательно то чудовищную, то странную, изящную, утешительную или устрашающую форму. Все те различные виды культа, над которыми смеялось легкомысленное неверие XVIII столетия, представляют собою ряд форм, выражавших собою религиозное чувство. Когда-нибудь человек уяснит себе, что такое Бог, к которому стремятся его помыслы, и чего можно ждать от будущей жизни, которой жаждет его душа.

Человек не придаёт никакого значения тому, что он делает инстинктивно, и даже презирает инстинктивные действия. Если же человек и восхищается ими, то только как творениями природы: отсюда забвение имён первых изобретателей; отсюда наше равнодушие к религии и презрение к её обрядам. Человек ценит только создания разума. Самые изумительные творения инстинкта в его глазах лишь счастливые *находки*; он называет *открытиями*, я чуть не сказал — творениями, создания разума. Инстинкт порождает страсти и энтузиазм; разум создаёт преступления и добродетель.

Для развития своего ума человек пользуется не только своими собственными наблюдениями, но также наблюдениями других; он записывает опыт, хранит предания; таким образом, ум развивается не только у личности, но и у рода. У животных знания не передаются; воспоминания каждого индивида погибают вместе с ним.

Поэтому недостаточно сказать, что мы отличаемся от животных способностью суждения, если под этим не подразумевается *постоянная тенденция нашего инстинкта сделаться разумом*. Пока человек повинуется инстинкту, он не сознаёт того, что делает; он никогда не заблуждался бы, для него не существовало бы ошибок, зла и неурядиц, если бы он, подобно животным, руководствовался одним только инстинктом. Но Создатель одарил нас способностью суждения, для того чтобы наш инстинкт превратился в разум. Так как способность суждения и порождаемое ею знание имеют различные степени, то случается, что вначале она не руководит инстинктом, а только мешает ему; что, следовательно, наша способность мыслить заставляет нас действовать вопреки нашей природе и нашим целям, что, заблуждаясь, мы делаем зло и страдаем от него. Это будет происходить до тех пор, пока инстинкт, ведущий нас к добру, и способность суждения, заставляющая нас делать ошибки, уступят место познанию добра и зла, познанию, которое даст нам возможность искать первое и избегать последнего.

Итак, зло, т. е. заблуждение и его последствия, — дитя двух враждующих способностей: инстинкта и разума; вторым и неизбежным плодом их должно быть добро или истина. Я буду продолжать сравнение и скажу, что зло — продукт кровосмешения двух противоположных сил; добро же рано или поздно явится законным плодом их таинственного и священного союза.

Собственность, порождённая способностью суждения, укрепляется благодаря сравнениям. Но подобно тому как размышлениям и рассуждениям предшествует самопроизвольность, наблюдению — ощущение, опыту — инстинкт, так собственности предшествует общность (коммунизм). Общность, или простая ассоциация, является неизбежной целью, первоначальным проявлением общительности, самопроизвольным движением, в котором

эта общительность обнаруживается; это первый фазис человеческой цивилизации. При таком состоянии общества, получившего от юристов название *отрицательной общности*, человек сближается с человеком, делится с ним плодами земли, молоком и мясом животных. Мало-помалу эта общность, отрицательная потому, что человек ничего не производит, стремится сделаться положительной и соответствующей развитию труда и промышленности. Но тогда-то именно автономия мысли и ужасная способность рассуждать о том, что хуже и что лучше, показывают человеку, что если равенство есть необходимое условие общества, то общность есть первый вид рабства.

Чтобы представить всё это в виде гегельянской формулы, я скажу:

Общность, первая форма, первое проявление общительности, есть первый член социального развития, *тезис*; собственность, противоречащая общности, есть второй член, *антитезис*; остаётся найти третий член, *синтез*, и мы найдём требуемое решение. И вот синтез неизбежно вытекает из поправки, внесённой в тезис антитезисом. Нужно, следовательно, рассмотреть их характерные черты и исключить из них всё враждебное общительности; соединив оставшееся, мы получим истинную форму человеческого общества.

2. Основные черты общности и собственности

I. Я не должен скрывать, что вне собственности или вне общности никто ещё не представлял себе возможности общества: это печальное заблуждение дало жизнь собственности. Неудобства общности так очевидны, что критикам никогда не приходилось тратить особенно много красноречия для того, чтобы внушить людям отвращение к ней. Неисправимая несправедливость общности, насилие, совершаемое ею над симпатиями и антипатиями, железное ярмо, налагаемое ею на волю, нравственные пытки, причиняемые ею совести, слабость, на которую она осуждает общество, и, наконец, блаженное и тупое однообразие, которым она оковывает свободную, деятельную, разумную и непокорную личность человека, — всё это восстановило против неё здравый смысл и бесповоротно осудило её.

Авторитеты и примеры, приводимые в её пользу, обращаются против неё: коммунистическая республика Платона предполагает рабство; коммунистическая республика Ликурга основывалась на труде илотов{40}; последние производили всё нужное их господам и таким образом давали им возможность посвящать себя всецело гимнастическим упражнениям и войне. Ж. - Ж. Руссо, смешивая равенство с общностью, сказал где-то, что он не понимает равенства условий без рабства. Коммунистические общины первобытных христиан не просуществовали даже до конца первого столетия и быстро выродились в монашеские общины. В общинах иезуитов{41} в Парагвае положение туземцев, по мнению путешественников, посетивших их, было не лучше положения рабов: факт тот, что добрые отцы вынуждены были окружать неофитов стенами и рвами для того, чтобы они не разбежались. Бабувистами руководила скорее преувеличенная ненависть к собственности,

нежели ясное и определённое убеждение, и они потерпели поражение благодаря преувеличению своих принципов. Сенсимонисты, соединявшие общность с неравенством, промелькнули, подобно кучке ряженных. Опаснее всего для современного общества было бы, если бы оно ещё раз потерпело крушение на этой скале.

Странная вещь! Систематический коммунизм, обдуманное отрицание собственности, возник под непосредственным влиянием собственнического предрассудка; и в основе всех коммунистических теорий неизменно лежит собственность.

Члены общины не имеют, правда, никакой собственности, но зато сама община — собственница не только имуществ, но также людей и их воли. Именно благодаря этому принципу высшей собственности, во всякой общине труд, который должен бы являться для человека лишь естественным условием существования, становится человеческим велением и в силу этого ненавистным. Благодаря этому принципу, строжайше предписывается пассивное повиновение, совершенно несовместимое с мыслящей волей, и неукоснительное подчинение регламентам, которые по самой природе своей не могут быть совершенными; благодаря ему жизнь, талант и все способности человека являются собственностью государства, которое, в интересах общего блага, может распорядиться ими по своему произволу; благодаря ему строго воспрещаются всякие частные общества, невзирая на симпатии и антипатии талантов и характеров, ибо терпеть частные общества значило бы допускать существование внутри коммуны маленьких коммун, а вместе с тем и собственности; благодаря этому принципу, сильный обязан выполнять урок слабого, хотя эта обязанность должна бы внушаться не принуждением, но состраданием и являться результатом не предписания, а совета; трудолюбивый выполняет урок лентяя, хотя это несправедливо, умный — урок идиота, хотя это нелепо. Благодаря этому принципу, наконец, человек должен отказаться от своего я, от своей воли, от своего гения и привязанностей и смиренно подчиниться интересам величия и неприкосновенности общины.

Общность есть неравенство, но в совершенно ином смысле, чем собственность. Собственность ведёт к эксплуатации слабого сильным, общность же — к эксплуатации сильного слабым. При существовании собственности неравенство условий является результатом насилия, какое бы имя оно ни носило: физического или духовного, силы событий, случайности, *счастья*, силы приобретённой собственности и т.п. При существовании общности неравенство является результатом посредственности таланта и труда, возвеличиваемых, подобно насилию. Это оскорбительное уравнение возмущает совесть и вызывает ропот достойнейших; ибо если помощь слабому является обязанностью сильного, то последний желает выполнять эту обязанность из великодушия; сравнение со слабым невыносимо для него. Пусть они будут равны по условиям их труда и вознаграждения, но пусть никогда взаимное подозрение в невыполнении общего дела не возбуждает между ними ревности.

Общность есть угнетение и рабство. Человек охотно подчиняется закону долга, охотно служит своему отечеству, охотно помогает друзьям, но он хочет работать над тем, что ему нравится, когда и сколько ему самому захочется. Он хочет располагать своим временем, повиноваться только необходимости, иметь право выбирать друзей, развлечения и порядок работы; он желает оказывать услуги, повинаясь разуму, а не приказу, приносить себя в

жертву из эгоизма, но не из рабской покорности. Общность по существу своему несовместима со свободным развитием наших способностей, с нашими наиболее благородными склонностями и наиболее дорогими чувствами. Что бы люди ни придумывали для того, чтобы примирить общность с требованиями индивидуального разума и воли, всё это изменило бы сущность её и оставило бы неприкосновенным только название; однако если мы искренно желаем раскрытия истины, то мы не должны заниматься пустыми словопрениями.

Итак, общность нарушает автономность совести и равенство; первую она нарушает, стесняя самопроизвольность ума и сердца, свободу в поступках и в мыслях; второе — награждая одинаковым благосостоянием труд и праздность, талант и глупость, порок и добродетель. Впрочем, если собственность невозможна благодаря соревнованию приобретателей, то общность скоро сделалась бы невозможной благодаря соревнованию бездельников.

II. Собственность, в свою очередь, нарушает равенство посредством установления привилегий и права на получение доходов (*droit d'aubaine*), а свободу выбора — посредством деспотизма. Первый результат существования собственности достаточно ясно изложен в трёх предыдущих главах, и поэтому я ограничусь здесь окончательным установлением полного тождества собственности и кражи.

Вор по латыни называется *fur* и *latro*, первое слово взято с греческого: *phog* от *phero*, по латыни *fero* — уношу; второе от *lathroō* — я изображаю разбойника, корень этого слова *letho*, по латыни *lateo* — я прячусь. Греки говорят ещё *kleptes*, от *klepto* — похищаю, корень этого слова тот же, что и у *kalupto* — покрываю, прячу. По этимологическому смыслу слова вор есть человек, который прячет, уносит, забирает тем или иным способом не принадлежащую ему вещь.

Евреи выражали это же понятие словом *ganab* — вор, от глагола *ganab* — откладывая в сторону, отнимать; *lo thi-gnob* (8-я заповедь) — не укради, т. е. не удерживай, не откладывая ничего для себя. Кража — это поступок человека, который, вступая в общество с обещанием отдать всё своё имущество, тайком сохраняет для себя часть последнего; это поступок пресловутого ученика Анания.

Этимология французского глагола красть, *voler*, ещё более характерна. Красть, *voler* или *faire la vole*, от латинского *vola* — ладонь, — значит взять все взятки в карточной игре ломбере; таким образом, вор есть человек, забирающий даром всё, совершающий делёж, подобно льву в басне. Весьма вероятно, что глагол красть, *voler*, обязан своим происхождением жаргону воров, откуда он перешёл в обиходную речь, а затем и в язык законов.

Кражи совершаются при помощи бесконечного множества средств, и законодатели весьма искусно различают и классифицируют эти средства, сообразно степени их жестокости или ловкости, для того чтобы воровство при помощи одних можно было возвеличить, а при помощи других — осудить.

Кражи совершаются: 1) при помощи убийства на большой дороге; 2) в одиночку или шайками; 3) посредством взлома; 4) путём утайки; 5) путём злостного банкротства; 6) путём подлога общественных или частных документов; 7) путём подделки монет.

Сюда относятся все виды кражи, совершаемые только при помощи открытого насилия или обмана; занимающиеся этим ремеслом называются грабителями, разбойниками, пиратами, морскими и сухопутными хищниками. Древние герои хвастались этими почётными кличками и считали свою профессию настолько же благородной, насколько и прибыльной. Немврод, Тезей, Язон и его аргonautы, Иафет, Давид, Как, Ромул, Хлодвиг — и все его меровингские потомки: Робер Гвискар, Танкред Готвильский — и большинство норманнских героев были воры и разбойники. Героические черты вора ярко выражены в следующем стихе Горация, воспевающего Ахилла:

“ Jura neget sibi nata, nihil non arroget armis[28],

и в словах завещания Иакова (Книга Бытия, глава 48), которые евреи относили к Давиду, а христиане к Иисусу: *Manus ejus contra omnes* (рука его совершает кражу у всех). В наши дни вор, вооружённый герой древних, подвергается жестоким преследованиям. Занятие воровским ремеслом, согласно постановлениям Кодекса, влечёт за собою телесные и позорные наказания, начиная тюремным заключением и кончая эшафотом. Какое печальное изменение во взглядах!

Кражи совершаются: 8) путём обмана; 9) мошенничества; 10) злоупотребления доверием; 11) при помощи игр и лотерей.

Этот второй вид кражи поощрялся законами Ликурга, который видел в нём средство для развития остроумия и изобретательности молодёжи; этот вид практиковался Улиссом, Солоном, Синоном, древними и современными евреями, начиная Иаковом и кончая Дейцом; цыганами, арабами и всеми дикарями. При Людовике XIII и Людовике XIV плутовство в игре не считалось постыдным; оно составляло как бы часть правил игры, и многие честные люди без всяких колебаний старались исправлять промахи счастья ловким плутовством. Даже в наше время во всех странах света у крестьян, а также у мелких и крупных торговцев считается особенной заслугой *умение хорошо продать или купить*, т. е. обмануть кого-нибудь. Это до такой степени общепринято, что обманутое лицо не претендует на обманщика. Известно, с каким трудом наше правительство решилось упразднить лотереи; оно чувствовало, что наносит удар собственности. Мошенник, жулик, шарлатан пользуются главным образом ловкостью своих рук и изобретательностью своего ума, убедительностью своего красноречия и силою воображения; иногда они эксплуатируют жадность своих клиентов. Поэтому-то уголовное законодательство, отдающее уму значительное преимущество перед физической силой, подвело упомянутые здесь четыре вида кражи под особую, вторую категорию, наказуемую только исправительными и непозорящими мерами. Вот и говорите после этого, что закон есть нечто материалистическое и безбожное!

Кражи совершаются: 12) путём ростовщичества.

Этот вид кражи, безусловно отвергнутый со времён появления Евангелия и строго наказуемый, представляет собою переход от кражи запрещённой к разрешённой краже. Благодаря своему двусмысленному характеру, ростовщичество порождает целый ряд противоречий в законодательстве и в морали, и люди придворные, финансисты и коммерсанты, очень ловко умеют пользоваться этими противоречиями. Так, напр., ростовщик, дающий под залог деньги из 10, 12 и 15%, будучи уличён в этом, платит громадный штраф, между тем как банкир, получающий такой же процент, правда не по займам, но за дисконт и размен, т. е. за продажу, находится под покровительством закона. Но различие между ростовщиком и банкиром чисто внешнее; подобно ростовщику, дающему деньги под залог движимостей и недвижимостей, банкир даёт деньги под залог ценных бумаг; подобно ростовщику он взыскивает свой процент вперёд; подобно ростовщику он сохраняет право подать прошение на залогодателя, когда залог утрачивается, т. е. когда залог не выкупается; и благодаря этому именно обстоятельству банкир является не продавцом денег, а заимодавцем. Однако банкир даёт займы на короткий срок, между тем как ростовщик может заключать годовые, двух-, трёх-, девятилетние сделки. Но, конечно, различие в сроках займа, так же как и некоторые изменения в форме сделок, не изменяют их сущности. Что же касается капиталистов, помещающих свои капиталы в государственных фондах или коммерческих предприятиях и получающих при этом 3, 4 и 5%, т. е. меньше, чем получают банкиры и ростовщики, то они представляют собою цвет общества, сливки порядочных людей. Вся их добродетель заключается в том, что они крадут умеренно[29].

Кражи совершаются: 13) посредством взимания ренты, арендной платы, платы за наём и путём сдачи в аренду.

Автор «Писем к провинциалу» очень забавлял добропорядочных христиан семнадцатого столетия иезуитом Эскобаром и договором Могатра. «Могатра, — говорил Эскобар, — есть договор, посредством которого за дорогую цену и в кредит покупаются материи, для того чтобы тотчас же быть проданными тому же самому лицу за наличные деньги и по более дешёвой цене{42}». Эскобар приводит доводы, оправдывавшие такого рода ростовщичество. Паскаль и все янсенисты смеялись над ним. Но что сказал бы сатирик Паскаль, учёный Николь и непобедимый Арно, если бы отец Антоний Эскобар Вальядолидский привёл им следующий аргумент: договор о найме есть договор, посредством которого за дорогую цену и в кредит покупается недвижимость, для того, чтобы, по истечении известного промежутка времени, быть проданными тому же лицу за более дешёвую цену; для упрощения сделки покупатель довольствуется, однако, уплатой разности между первою и второю продажами. Попробуйте отвергнуть тожество договора о найме Могатры, и я вас тотчас же разобью; если же вы признаете это тожество, то должны также признать верность моего учения, в противном случае вы одновременно отвергнете и ренту, и арендную плату.

На эту ужасную аргументацию иезуита сеньор Монтальт ударил бы в набат и стал бы кричать, что общество в опасности, что иезуиты подрывают самые его основы.

Кражи совершаются: 14) посредством торговых операций, когда прибыль торговца превышает законное вознаграждение его услуг.

Определение торговли известно: *это искусство покупать за 3 франка то, что стоит 6, и продавать за 6 франков то, что стоит 3*. Вся разница между торговлей в этом смысле и ловкой кражей заключается в относительной величине обмениваемых ценностей, одним словом, в размерах барыша.

Кражи совершаются: 15) посредством взимания прибыли на продукт, принятия синекуры и крупного жалования.

Фермер, продающий потребителю свой хлеб по определённой цене, а в момент отмеривания погружающий руку в меру и утаивающий горсть зерна, крадёт; профессор, которому государство платит за лекции и который их, при посредстве книгопродавца, продаёт публике, крадёт; человек, пользующийся синекурой и получающий в обмен за своё тщеславие крупную сумму, крадёт; всякое должностное лицо, всякий рабочий, производящий 1 единицу и заставляющий платить себе за 4, 100, 1000 единиц, ворует; издатель этой книги и я, автор её, крадём, заставляя публику платить вдвое больше, чем книга нам стоит.

Резюмируем сказанное:

Справедливость, порождённая отрицательной общностью, которую древние поэты называли *золотым веком*, первоначально была правом сильного. В обществе, ищущем организации, неравенство способностей вызывает возникновение понятия о заслугах; чувство справедливости внушает стремление соотносить не только знаки почтения, но также и материальные блага с личными заслугами. В то время важнейшей и почти единственной заслугой признаётся физическая сила, и поэтому наиболее сильный, *aristos*, являющийся в то же время и наиболее заслуженным, лучшим, *aristos*, получает лучшую часть. Когда ему в ней отказывают, он ею, конечно, завладевает. Отсюда до присвоения права собственности на все вещи остаётся только один шаг.

Таково было право героев, сохранившееся, по крайней мере по традиции, у греков и у римлян до последних времён их республик. Платон, в «Горгии», выводит лицо по имени Калликл, которое чрезвычайно остроумно защищает право силы и которому Сократ, защитник равенства (*tu isou*), возражает совершенно серьёзно^{43}. Рассказывают, что великий Помпей легко краснел и тем не менее у него однажды сорвались следующие слова: «*Как я уважаю законы, когда у меня в руках есть оружие!*» Эти слова прекрасно характеризуют человека, в котором нравственное чувство борется с честолюбием и который старается оправдать свои насилия разбойническим и героическим девизом.

Право сильного породило эксплуатацию человека человеком, иначе именуемую рабством, ростовщичество или дань, возложенную победителем на побеждённого врага и всю многочисленную семью налогов, податей, регалий, барщин, десятин, аренд и пр. и пр., составляющих собственность.

Преемником права силы явилось право хитрости, второе выражение или проявление справедливости; право это презиралось героями, ибо хитростью они не отличались и слишком много теряли благодаря ей. Это всё та же сила, только перенесённая из сферы

физической в сферу интеллектуальную. Казалось, что искусство обмануть врага коварными предложениями также заслуживает вознаграждения, а между тем сильные постоянно восхваляли добросовестность. В те времена данное слово и обещание выполнялись со строгостью скорее буквальной, нежели логической: *Uti lingua nuncupasset, ita jus esto* (как язык сказал, так должно быть и право), гласит закон Двенадцати таблиц. Хитрость или, вернее, вероломство являлось чуть ли не единственным принципом всей политики Древнего Рима. Из числа многих примеров, доказывающих справедливость этого утверждения, Вико цитирует следующий, приведённый также у Монтескье: римляне обещали карфагенянам пощадить их имущество и их *город*, причём они намеренно употребили выражение *civitas*, т. е. государство, общество. Карфагеняне, наоборот, заключая договор, подразумевали город материальный, *urbs*^{44}. Когда они начали восстанавливать свои стены, они подверглись со стороны римлян нападению за то, что якобы нарушили договор. Римляне здесь следовали праву героическому и, обманув своих врагов при помощи двусмысленности, не считали затеянную ими войну несправедливой.

От права хитрости произошла торговая, промышленная и банковская прибыль, обман в торговле, притязания всего того, что носит красивые названия *таланта* и *гения* и что следовало бы рассматривать как высшую степень хитрости, плутовства, а также все виды социального неравенства.

При краже, запрещённой законом, употребляется одна только, и к тому же ничем не прикрытая, сила и хитрость; при краже, санкционированной законами, сила и хитрость прикрываются какой-нибудь произведённой полезностью, которую они пользуются как средством для ограбления своей жертвы.

Употребление голого насилия и хитрости уже очень рано и единогласно было отвергнуто; но ни одна нация до сих пор ещё не сумела освободиться от кражи, соединившейся с талантом, трудом и владением. Отсюда все неопределённости казуистики и бесчисленные противоречия юриспруденции.

Право силы и право хитрости, воспетые рапсодами в «Илиаде» и «Одиссее», повлияли на всё греческое законодательство и наполнили духом своим законы римские, откуда и перешли в наши нравы и наши кодексы. Христианство не вызвало в этом никаких изменений; но нельзя винить в этом Евангелие, ибо священники, так же плохо осведомлённые, как и юристы, никогда не могли ни понять, ни истолковать его. Церковные соборы и первосвященники обнаружили такое же невежество в вопросах морали, как и народные собрания и преторы. Именно это глубокое невежество в области права, справедливости и общественной жизни губит церковь и навсегда дискредитирует церковное просвещение. Неверность римской и всех вообще христианских церквей вопиет к небу; все они не поняли учения Иисуса Христа; все грешили против христианской морали и христианского учения; все повинны в поддержке ложных, нелепых, несправедливых и человеконенавистнических принципов. Пусть церковь, называвшая себя непогрешимой и нарушившая своё собственное нравственное учение, просит прощения у Бога и людей; пусть её реформированные сёстры смиряются... тогда народ, разочарованный, но верующий и милосердный, согласится[30].

Развитие права в его различных выражениях шло с такою же постепенностью и последовательностью, как развитие форм собственности; повсюду право гнало впереди себя кражу и ставило ей всё более и более узкие пределы. До сих пор победы справедливого над несправедливым, равного над неравным совершались инстинктивно и в силу самого хода вещей; но конечным торжеством нашей общественности мы будем обязаны разуму, в противном же случае мы впадём в новый феодальный хаос. Слава торжества будет принадлежать нашему разуму, а возвращение к прежним бедствиям докажет нашу недостойность.

Вторым результатом собственности является деспотизм. Но так как деспотизм в нашем представлении по необходимости соединён с понятием законной власти, то я, излагая естественные причины первого, должен выяснить также принцип второй.

Какую форму правительства мы предпочтём? — Как вы можете спрашивать об этом, — ответит несомненно один из моих более молодых читателей, — ведь вы республиканец. — Да, я республиканец, но это слово не даёт точного понятия. Respublica — это значит вещь общая; и вот всякий, желающий вещи общей, при каком бы то ни было правительстве, может назвать себя республиканцем. Короли тоже республиканцы. — Ну хорошо, значит, вы демократ? — Нет. — Как, неужто вы монархист? — Нет. — Конституционалист? — Боже сохрани! — Ну, значит, вы аристократ. — Вовсе нет! — Так вы желаете установления смешанного правительства? — Ещё раз нет! — Да кто же вы, наконец? — Я анархист!

— Я понимаю вас, вы иронизируете по адресу правительства. — Вовсе нет: то, что я сказал, составляет моё серьёзное и глубоко продуманное убеждение; хотя я большой приверженец порядка, тем не менее я в полном смысле слова анархист. Послушайте, что я скажу.

У животных общественных «слабость молодых индивидов является причиной их повиновения старым, достигшим полного развития своих сил. Привычка, которая у них является особым видом сознания или совести, служит причиною того, что власть сохраняется за старшим, хотя он в свою очередь становится более слабым. Когда общество животных имеет вождя, то таковым действительно всегда почти является старейший из всего стада. Я говорю; всегда почти, ибо установленный порядок может быть нарушен взрывом страстей. Тогда власть переходит к другому, и, будучи завоёванной насилем, она сохраняется опять-таки по привычке. Дикие лошади живут стадами; во главе их находится вождь, которому они следуют с доверием, который даёт им сигнал к бегству и к сражению.

Воспитанный нами ягнёнок бежит за нами, но также и за стадом, среди которого он родился... В человеке он видит только *предводителя своего стада*... Для домашних животных человек только член их общества; всё искусство его сводится к тому, чтобы заставить животных признать в нём сочлена; затем он быстро становится их предводителем, потому что далеко превосходит их умом. Таким образом, человек не изменяет *естественного состояния* животных, как утверждал Бюффон, а, наоборот, пользуется этим естественным состоянием. Иными словами, человек нашёл животных *общественных* и, становясь их товарищем, предводителем, превратил их в животных прирученных. Итак, *прирученность* животных представляет собою лишь частный случай, простое видоизменение, определённый результат их общественности. Все прирученные

животные по природе своей животные общественные...» (Флуранс. *Résumé des observations de F. Cuvier*).

Общественные животные повинуются своему предводителю *инстинктивно*; Ф. Кювье не сказал только, что роль предводителя требует исключительно ума. Предводитель не учит других соединяться в общества, подчиняться его руководству, размножаться, бежать или защищаться; в этом отношении его подчинённые знают столько же, сколько и он. Но предупреждать неожиданности должен, при помощи своей опытности, предводитель; он в затруднительных случаях восполняет инстинкт своим умом; он обсуждает, решает и ведёт; одним словом, его разумная предусмотрительность направляет рутину инстинкта к общему благу всех.

Человек, живущий сообразно своей природе в обществе, естественно, также повинуется вождю. Первоначально вождём является отец, патриарх, старейшина, т. е. человек осторожный, разумный, все действия которого определяются, следовательно, разумом, рассудком. У человеческого рода, так же как и у всех других видов общественных животных, есть инстинкты, врождённые способности, общие идеи, категории разума и чувства: вожди, законодатели или короли никогда ничего не изобретали, не предполагали и не выдумывали; они вели общество, опираясь на приобретённый ими опыт, но всегда сообразуясь при этом с общепризнанными взглядами и верованиями.

Философы, вносящие своё мрачное, демагогическое настроение в область морали и истории и утверждающие, что человеческий род при своём возникновении не знал ни вождей, ни королей, обнаруживают своё незнакомство с природою человека. Королевская власть, и притом же власть абсолютная, является в такой же, если не большей мере, чем демократия, одною из примитивных форм правительства. Благодаря тому что уже в самые отдалённые времена герои, разбойники и проходимцы завладевали подчас властью и делались королями, люди стали смешивать королевскую власть с деспотизмом. Но королевская власть возникла вместе с человеком, она сохранилась в эпоху отрицательного коммунизма; героизм же и порождённый им деспотизм возник только одновременно с первым определением понятия справедливости, т. е. одновременно с господством силы. Когда человечество, путём сравнения заслуг, решило, что более сильный есть также и лучший, старейшему пришлось уступить место наиболее сильному и королевская власть сделалась деспотической.

Самопроизвольное, инстинктивное и, так сказать, физиологическое происхождение королевской власти сообщило ей первоначально сверхчеловеческий характер; народы относили происхождение её к богам, от которых якобы произошли первые короли. Отсюда божественные генеалогии королевских родов, легенды о воплощении богов, о мессианстве; отсюда же и доктрины о божественном праве, и доныне ещё сохранившие таких странных поборников.

Первоначально королевская власть была выборной: в то время, когда человек производил мало и не обладал ничем, собственность была ещё слишком слаба для того, чтобы могло возникнуть понятие о наследственности, и для того, чтобы королевская власть отца могла быть обеспечена сыну. Но когда люди научились обрабатывать землю и начали строить

города, всякая функция, так же как и все другие вещи, сделалась объектом завладения. Тогда возникли наследственная королевская власть и наследственное священство, а также право наследования, проникшее во все, даже самые будничные профессии. Это обстоятельство повлекло за собою появление кастовых различий, гордости рангом, отрицания разночинцев. Оно подтверждает то, что я сказал о принципе родовой наследственности, что это есть указанная природою способ замещать освободившиеся должности и завершать начатое дело.

Время от времени появлялись честолюбивые узурпаторы, «упразднители» королей, и это дало повод называть одних королей законными, а других — *тиранами*. Мы, впрочем, не должны полагаться на одни названия: бывали короли отвратительные и тираны весьма даже сносные. Всякая королевская власть может быть хороша, пока она является единственной возможной формой правительства, но законной быть она не может. Ни наследственность, ни избрание, ни всеобщее голосование, ни превосходные качества суверена, ни санкция религии и времени не могут сделать королевскую власть властью законной. В какой бы форме она ни проявлялась, в монархической ли, олигархической или демократической, во всяком случае королевская власть, власть человека над человеком, нелепа и незаконна.

Для того чтобы достигнуть наиболее быстрого и наиболее полного удовлетворения своих потребностей, человек стремится найти *правило*; первоначально это правило живое, видимое и осязаемое: таковым являются его отец, господин, король. Чем невежественнее человек, тем безусловнее его послушание, тем больше его доверие к предводителю. Но человек, которому внутренний закон повелевает сообразоваться с правилом, т. е. открыть последнее путём размышления и рассуждения, человек рассуждает о велениях своих предводителей, а такое рассуждение является уже протестом против авторитета, зародышем неповиновения. Человек становится бунтовщиком с того самого момента, когда он начинает искать мотивы воли своего суверена. Когда человек повинует не потому, что король велит, а потому, что король мотивировал своё веление, тогда с уверенностью можно сказать, что человек не признаёт более никакого авторитета, что он создал себе своего собственного короля. Горе тому, кто осмелится руководить им и кто предложит ему в качестве санкции законов только признание большинства; горе тому, ибо рано или поздно меньшинство сделается большинством и тогда неосторожный деспот будет свергнут, а законы его будут упразднены.

По мере того как в обществе распространяется просвещение, авторитет королевской власти падает — это факт, подтверждённый историей. При возникновении народов людям трудно думать и рассуждать: не знакомые ещё ни с какими методами и ни с какими принципами, не умеющие даже пользоваться своим разумом, люди не знают, верно ли они думают или ошибаются. Тогда авторитет королей чрезвычайно велик, ибо нет ещё приобретённых знаний, могущих отвергнуть его. Но мало-помалу опыт создаёт привычки, а из них слагаются обычаи. Затем обычаи эти получают формулировку, становятся правилами, принципами — словом, превращаются в законы, которым король, этот живой закон, вынужден подчиняться. Наступает время, когда законы и обычаи становятся настолько многочисленными, что воля короля оказывается связанной волею всех, когда, вступая на престол, король должен принести клятву, что он будет управлять сообразно с нравами и

обычаями, когда он сам является только исполнительным органом общества, законы которого созданы не им.

До сих пор всё происходило инстинктивно, так сказать, помимо ведома сторон; посмотрим, однако, к чему должно привести это движение в конечном счёте.

Путём приобретения знаний и понятий человек доходит до понятия *науки*, т. е. системы знаний соответствующей действительности и выведенной из опыта и наблюдений. Человек стремится открыть науку или систему неорганических тел, систему тел органических, систему человеческого духа, систему мира; может ли он не стремиться к открытию системы общества? Достигнув этого предела, человек узнаёт, что политическая истина или политическая наука совершенно независима от воли суверена, от мнения большинства и народных верований, что короли, министры, администрации и народы, как носители воли, для науки ничто и не заслуживают никакого внимания. В то же время он узнаёт, что раз человек рождается существом общественным, то власть отца над ним прекращается с того времени, когда ум его сформировался и образование будет закончено, и он делается союзником, товарищем своего отца. Он начинает понимать, что истинным его вождем и королём является доказанная истина, что политика есть наука, а не хитрость и что функции законодателя в конечном счёте сводятся к методическому исследованию истины.

И так во всяком данном обществе власть человека над человеком обратно пропорциональна интеллектуальному развитию, достигнутому обществом, и вероятная продолжительность этой власти может быть определена сообразно с более или менее общим стремлением к истинному правительству, т. е. правительству, опирающемуся на данные науки. И подобно тому как право силы и право хитрости уступают место всё более и более расширяющемуся понятию справедливости и осуждены раствориться в равенстве, так и суверенность воли уступает место суверенности разума и в конце концов растворится в научном социализме. Собственность и королевская власть разрушаются с самого начала мира; подобно тому как человек ищет справедливости в равенстве, так общество ищет порядка в анархии.

Анархия, отсутствие господина, суверена[31] — такова форма правительства, к которой мы с каждым днём всё более приближаемся и на которую мы, вследствие укоренившейся в нас привычки считать человека правилом, а волю его законом, смотрим как на верх беспорядка и яркое выражение хаоса. Рассказывают, что некий парижанин 17-го столетия, услышав, что в Венеции совсем нет короля, не мог опомниться от изумления и помирал со смеху, когда ему рассказывали об этом смешном обстоятельстве. Такова сила предрассудка: все мы без исключения хотим иметь вождя или вождей. У меня под рукою имеется в настоящее время брошюра, автор которой, ярый коммунист, подобно Марату, мечтает о диктатуре. Самыми передовыми являются те из нас, которые желают возможно большего числа суверенов; самой их пламенной мечтой является дарование правительственной власти национальной гвардии, и, вероятно, скоро кто-нибудь из пристрастия к гражданской милиции скажет: все короли. Но когда он это скажет, я возражу: никто не король; все мы волею-неволею члены общества. Все вопросы внутренней политики должны разрешаться согласно данным областной (*departamentale*) статистики, все вопросы внешней политики — на основании данных международной статистики. Наука о правительстве или о власти должна быть представлена одной из секций Академии наук, и постоянный её секретарь неизбежно

должен быть первым министром. Так как всякий гражданин имеет право представлять в Академию наук записку, то всякий сделается законодателем; но в силу того, что мнение человека принимается в расчёт лишь постольку, поскольку оно доказано, никто не может поставить свою волю на место разума, никто не может быть царём.

Всё относящееся к области законодательства и политики является объектом науки, но не убеждений: *законодательная власть* принадлежит разуму, систематически изученному и обоснованному. Верховом тирании следует считать присвоенное какой бы то ни было власти право veto и санкции. Справедливость и законность — две вещи, так же мало зависящие от нашего согласия или одобрения, как и математические истины. Для них достаточно быть познанными для того, чтобы сделаться обязательными, а для того, чтобы познать их, нужны только способность размышлять и изучать. Но что же такое народ, если он не суверен, если не ему принадлежит законодательная власть? Народ есть хранитель закона, народ — *исполнительная власть*. Каждый гражданин может утверждать: вот это верно, это справедливо; но убеждение его обязательно только для него самого: для того чтобы провозглашаемая им истина сделалась законом, необходимо, чтобы она была признана. Что же это значит признать закон? Это значит проверить математическую или метафизическую операцию; это значит повторить опыт, произвести наблюдения над явлением, констатировать факт. Один только народ имеет право сказать: *будем распоряжаться и повелевать*.

Я согласен, что всё это опрокидывает общепризнанные понятия и что выходит так, как будто я поставил себе задачей изменить всю современную политику. Но я прошу читателя не забывать, что, начав с парадокса, я, рассуждая логично, должен был наталкиваться на парадоксы на каждом шагу и кончить также парадоксами. Я, впрочем, не понимаю, какой опасности подверглась бы свобода граждан, если бы в их руки вместо пера законодателя был бы передан скипетр исполнителя законов. Так как исполнительная власть, по существу, принадлежит воле, то, чем больше будет у неё носителей, тем будет лучше: в этом именно заключается истинная суверенность народа[32].

Собственник, вор, герой, суверен (все эти названия синонимы) делают свою волю законом и не терпят ни противоречия, ни контроля, т. е. имеют притязание быть одновременно и законодательной и исполнительной властью. Поэтому замена воли суверена истинным и научным законом совершается лишь путём жестокой борьбы, и эта замена является, наряду с собственностью, самым могущественным фактором в истории, самой плодотворной причиной политических движений. Примеры так многочисленны и так бросаются в глаза, что я не стану приводить их здесь.

Но собственность неизбежно порождает деспотизм, правительство произвола, господство похотливой воли; для того чтобы убедиться, насколько это присуще собственности, стоит вспомнить, что она собою представляет и что совершается вокруг нас. Собственность есть право *употреблять и злоупотреблять*. Если правительство есть хозяйство, если единственным его объектом является производство и потребление, распределение труда и продуктов, то возможно ли правительство при наличии собственности? Если блага представляют собственность, то могут ли собственники не быть королями, королями деспотическими? А если каждый собственник является сувереном в сфере своей

собственности, непоколебимым властителем в области своего имущества, то может ли правительство собственников не представлять собою полнейшего хаоса?

3. Определение третьей формы общества. Выводы

Итак, на основе собственности невозможно никакое правительство, никакое общественное хозяйство, никакая администрация.

Общность (коммунизм) стремится к *равенству* и к *закону*; собственность, порождённая автономией разума и чувством личного достоинства, стремится прежде всего к *независимости* и *пропорциональности*.

Но коммунизм, приняв однообразие за закон и уравнивание за равенство, становится несправедливым и тираническим; собственность, благодаря своему деспотизму и своим вторжениям, скоро оказывается стеснительной и антиобщественной.

То, чего хотят коммунизм и собственность, хорошо, но то, к чему они оба ведут, дурно. Почему? Потому что и тот и другая исключительны и не признают, каждый со своей стороны, двух элементов общества. Коммунизм отрицает независимость и пропорциональность, собственность же не удовлетворяет требованиям равенства и закона.

И вот если мы себе представим общество, покоящееся на этих четырёх принципах: равенстве, законности, независимости и пропорциональности, то мы найдём:

1. Что *равенство*, заключающееся только в *равенстве условий*, т. е. средстве, но не в *равенстве благосостояния*, которое при равных средствах должно быть делом рук рабочего, нисколько не нарушает справедливости.
2. Что *закон*, выведенный из знакомства с фактами и, следовательно, опирающийся на необходимость, никогда не вредит независимости.
3. Что обоюдная *независимость* индивидуумов, или автономия личного разума, вытекающая из различия талантов и способностей, без опасности может существовать в пределах законов.
4. Что *пропорциональность*, осуществляемая только в сфере ума и чувства, но не в сфере материальных благ, может быть соблюдена без нарушения социального равенства и справедливости.

Эту третью форму общества, синтез общности и собственности, мы назовём *свободой*[33].

Дать успешное определение свободы мы могли бы, следовательно, только отделив коммунизм от собственности, в противном случае это было бы нелепым эклектизмом. Мы

найдем путём аналитического метода, что в каждом из этих двух явлений есть истинного, соответствующего требованиям природы и законам общественности, мы исключим из них всё враждебное последним и в результате получим выражение, адекватное естественной форме человеческого общества, иными словами — свободу.

Свобода есть равенство, ибо свобода возможна лишь при социальном строе, а социальный строй, общество невозможно без равенства.

Свобода есть анархия, безвластие, ибо она не признаёт власти воли, но только власть закона, т. е. необходимости.

Свобода есть бесконечное разнообразие, ибо она, в пределах закона, уважает всякую волю.

Свобода есть пропорциональность, ибо она даёт полный простор жажде славы и честолюбию, стремящемуся выделиться при помощи заслуг.

Мы теперь, по примеру г. Кузена, можем сказать:

“ «Наш принцип верен, он хорош, социален; не будем же бояться сделать из него все выводы».

Общительность человека, превращающаяся благодаря рассудку в *справедливость*, благодаря взаимодействию способностей — в *гуманность* (*équité*) и формулой которой является свобода, есть истинная основа нравственности, принцип и закон всех наших поступков. Она тот всемирный двигатель, которого ищет философия, подкрепляет религия, отрицает эгоизм и никогда не может заменить чистый разум. *Обязанность* и *право* порождаются *потребностью*, которая, если рассматривать её по отношению к существам внешнего мира, является *правом*, а по отношению к нам самим — *обязанностью*.

Есть и спать — это наша потребность, наше право — промышленность, необходимые для сна и питания, наша обязанность — пользоваться ими, когда этого требует природа.

Трудиться для того, чтобы жить, есть потребность, право и обязанность.

Любить свою жену и детей есть потребность, быть их покровителем и поддержкой — обязанность, быть любимым своей семьёй — право. Супружеская верность есть соблюдение справедливости, прелюбодеяние — нарушение законов общества.

Обмен наших продуктов на другие продукты — потребность, эквивалентность продуктов, поступающих в обмен, — право, а так как мы потребляем прежде, чем производим, то нашей обязанностью было бы, если бы это зависело от нас, сделать так, чтобы наш последний продукт следовал за нашим последним потреблением. Самоубийство есть злостное банкротство.

Выполнение нашего труда сообразно с указаниями нашего разума есть потребность, сохранение свободы выбора — наше право, уважение к свободе выбора других — наша

обязанность.

Быть оценённым своими ближними — потребность, заслуживать их похвал — обязанность, но быть судимыми по нашим делам — это наше право.

Свобода вовсе не противоречит праву наследования и завещания; свобода только наблюдает, чтобы это право не нарушало равенства. Выбирайте, говорит она, между двумя наследствами, но не накапливайте их. Всё законодательство, касающееся передачи, заместительства, усыновления и, если можно так выразиться, совместительства, должно быть переделано.

Свобода благоприятствует соревнованию и не уничтожает его. При социальном равенстве соревнование должно считаться с равенством условий, награда его в нём самом, и никто не страдает от победы другого.

Свобода восхищается самопожертвованием и воздаёт ему похвалы, но она может обойтись без него. Для сохранения социального равновесия достаточно справедливости; самопожертвование есть нечто излишнее. Счастлив, однако, тот, кто может сказать: я жертвую собою[34].

Свобода по существу своему стремится к организации. Для того чтобы обеспечить равенство между людьми и равновесие между нациями, необходимо распределить земледелие и промышленность, центры просвещения, торговли и складочные места сообразно с географическими и климатическими условиями каждой страны, с видами продуктов, с характером и естественными способностями жителей и пр. и пр. И сделать это надо так справедливо, разумно и умело, чтобы никогда и нигде не могло быть ни излишка, ни недостатка населения, ни избытка, ни недостатка в производстве и потреблении. Здесь именно начинается наука о праве публичном и о праве гражданском, истинная политическая экономия. Правоведам, освободившимся от ложного принципа собственности, надлежит написать новые законы и дать людям мир. Знания и гений у них есть, точка опоры им также дана[35].

Я исполнил задачу, которую я себе поставил: собственность побеждена, она никогда не оправится от моих ударов. Всюду, куда бы ни проникла эта книга, проникнет также и зародыш смерти собственности; всюду, где она появится, привилегии и рабство, рано или поздно, погибнут, деспотизм воли уступит место царству разума. Никакие софизмы, никакие даже самые упорные предубеждения не могут устоять перед простотою этой аргументации.

I. Индивидуальное *владение*[36] является необходимым условием социальной жизни; собственность убивает жизнь — это доказано всем пятитысячелетним существованием собственности; владение соответствует праву, собственность враждебна ему. Уничтожьте собственность и сохраните владение; посредством одного только этого принципиального изменения вы коренным образом измените законы, правительство, хозяйство и все учреждения — вы уничтожите зло на земле.

II. Так как право завладения принадлежит в равной мере всем, то размеры владения изменяются сообразно числу владельцев и собственность не может возникнуть.

III. Так как результат труда тоже для всех одинаков, то собственность погибает благодаря посторонней эксплуатации и благодаря плате за наём.

IV. В силу того что человеческий труд неизбежно является результатом коллективной силы, всякая собственность, и по той же причине, должна быть коллективной и нераздельной; иными словами, труд уничтожает собственность.

V. Благодаря тому что всякая производительная способность, так же как и всякое орудие труда, представляет собою накопленный капитал, коллективную собственность, — неравенство вознаграждения и состояния, прикрывающееся неравенством способностей, есть несправедливость и кража.

VI. Необходимыми условиями торговли являются: свобода вступающих в сделку лиц и равноценность обмениваемых продуктов; но так как ценность вещи выражается в сумме времени и затрат, которых она стоила, и так как свобода ненарушима, то вознаграждение рабочих, так же как их права и обязанности, равно для всех.

VII. Продукты могут быть куплены только за продукты; но так как условием всякого обмена является равноценность обмениваемых продуктов, то всякая прибыль невозможна и несправедлива. Попытайтесь осуществить этот элементарнейший принцип хозяйства, и вы убедитесь, что пауперизм, роскошь, угнетение, порок, преступление и голод исчезнут.

VIII. Люди объединяются в общества под давлением физического и математического закона производства помимо их вѣдома и воли. Таким образом, равенство условий соответствует справедливости, т. е. праву общественному и гражданскому. Уважение, дружба, признательность, восхищение являются единственными элементами права *справедливого или пропорционального*.

IX. Свободная ассоциация, свобода, довольствующаяся охраной равенства средств производства и равноценности обмениваемых продуктов, есть единственная справедливая, истинная и возможная форма общества.

X. Политика есть наука о свободе: власть человека над человеком, какую бы форму она ни принимала, есть угнетение. Высшая степень совершенства общества заключается в соединении порядка с анархией, т. е. в безвластии.

Наступает конец античной цивилизации; земля обновится под лучами нового солнца. Погибнет одно поколение, старые нарушители долга умрут в пустыне, святая земля не покроет их костей. Молодой человек, вас возмущает испорченность нашего века, вас пожирает жажда справедливости; если вы любите родину, если благо человечества вам дорого, то встаньте на защиту дела свободы. Отбросьте ваш старый эгоизм, погрузитесь в поток нарождающегося равенства. В нём ваша душа приобретёт незнакомую ей доселе силу и мощь, дух ваш найдёт в нём источник неукротимой энергии, и душа ваша, быть может уже увядшая, возродится. Пред вашим очищенным взором вся жизнь предстанет в новом свете; новые чувства породят в вас новые идеи; религия, мораль, поэзия, искусство, язык примут более величественную и прекрасную форму. С верою в свои убеждения, с разумным энтузиазмом вы будете приветствовать всемирное возрождение.

А вы, печальные жертвы ненавистного закона, вы, ограбленные и оскорблённые миром насмешливых людей, вы, трудившиеся бесплодно и отдохавшие без надежды, утешьтесь, слёзы ваши иссякнут. Отцы сеяли в горе, сыновья будут пожинать в радости.

Бог свободы, бог равенства! Бог, вложивший в моё сердце чувство справедливости, прежде чем разум мой постиг её, услышь мою пламенную мольбу! Ты внушил мне всё то, что я написал. Ты создал мою мысль, направлял мои труды, наполнил ум мой любопытством и сердце любовью для того, чтобы я возвестил Твою истину и господам и слугам. Я употребил все данные Тобою силы и способности на проповедь; теперь Тебе осталось довершить своё дело. Ты знаешь, стремлюсь ли я к собственным выгодам или к Твоему, о Бог свободы, прославлению! Пусть память обо мне исчезнет, но пусть человечество будет свободно; пусть я в своей безвестности увижу просвещённый народ; пусть его просвещают благородные наставники, пусть им руководят самоотверженные сердца. Сократи, если это возможно, время наших испытаний; утопи гордость в равенстве; уничтожь идолопоклонство славе, благодаря которому мы живём в унижении, убеди этих бедных детей, что пред лицом свободы нет ни героев, ни великих людей. Внуши могущественному, богатому, тому, чьё имя уста мои никогда не произнесут в Твоём присутствии, отвращение к грабежу; пусть он первый требует возвращения взятого, пусть готовность к раскаянию является для него единственным условием прощения. Тогда великие и малые, учёные и невежды, богатые и бедные сольются в один ненарушимый братский союз и с пением нового гимна воздвигнут алтарь Тебе, Богу свободы и равенства!

Примечания

[1] *Recherches sur les catégories grammaticales*{1} П. Ж. Прудона: мемуар, удостоенный похвального отзыва Академии 4 мая 1839 г. Не напечатан.

[2] *De l'utilité*{2} *de la célébration du dimanche, etc.* П. Ж. Прудон, Безансон, 1839, изд. 2-е, Париж, 1841.

[3] Charron, de la *Sagesse*, гл. 18.

[4] Господин Вивьен, министр юстиции, прежде чем начать преследование против *le Mémoire sur la propriété*{5}, пожелал узнать о нём мнение Бланки, и только благодаря отзывам этого почтенного члена академии он пощадил сочинение, против которого уже поднималась буря в юридическом мире. Господин Вивьен не первый из власть имущих после первого моего сочинения оказал мне помощь и протекцию. Но такое великодушие в политических сферах настолько редкое явление, что его следует отметить с величайшей признательностью и без всяких оговорок. Я с своей стороны всегда думал, что дурные учреждения создают дурных чиновников, подобно тому как трусость и лицемерие некоторых коллегий зависят исключительно от управляющего ими духа. Почему, например, несмотря на добродетели и таланты, сияющие в их среде, академии в общем являются центрами интеллектуального гнёта, глупости и низких интриг? Следовало бы какой-нибудь академии объявить конкурс по этому вопросу; наверно, нашлись бы желающие участвовать в нём.

[5] По—гречески *skeptikos*, исследователь, философ, поставивший себе задачей искание истины.

[6] Религия, законы, брак были привилегией свободных людей, и вначале одной только знати. *Dii majorum gentium* — Боги патрицианских семей, *jus gentium* — право людей, т. е. семей или знатных. Рабы и плебеи не имели семьи; на их детей смотрели как на животных; они рождались животными и умирали ими.

[7] Если глава исполнительной власти подлежит ответственности, то и депутаты должны также подлежать ей. Удивительно, что эта мысль никогда ещё никому не приходила в голову; это могло бы служить темой интересного тезиса, но я признаюсь, что ни за какие блага в мире не взялся бы защищать его. Народ ещё слишком логичен, чтобы давать ему материал для известных выводов.

[8] См. Токвиль. *Демократия в Соединённых Штатах*, а также Мишель Шевалье. *Lettres sur l'Amérique du Nord*. В сочинении Плутарха «Жизнь Перикла» рассказывается, что в Афинах порядочные люди должны были скрываться, желая получить образование, чтобы не быть заподозренными в стремлении к тирании.

[9] Суверенностью, согласно Тулье, является всемогущество человека. Это определение материалистическое. Если суверенность вообще представляет собою что-нибудь, то она есть право, а не сила или способность. И что такое всемогущество человека?

[10] Непереводимая игра слов, ибо и свойство, и особенность обозначаются по-французски словом *propriété* — собственность. *Примеч. пер.*

[11] Здесь именно с особенной резкостью обнаруживается простота наших предков. Допустив к наследованию, в случае отсутствия законных детей, двоюродных братьев, они не смогли пойти дальше и воспользоваться этими же двоюродными братьями, чтобы уравновесить распределение наследства между двумя различными ветвями одной семьи так, чтобы в одной семье не могло быть рядом крайней бедности и богатства. Возьмём следующий пример:

Жак, умирая, оставляет двух сыновей, Пьера и Жана, наследниками своего состояния. Имущество Жака разделяется между ними на равные части. Но у Пьера есть только одна дочь, между тем у его брата, Жана, шестеро сыновей. Очевидно, для того чтобы остаться верными и принципу равенства, и принципу наследования, дети Жана и Пьера должны разделить на семь частей обе доли наследства, ибо в противном случае чужой может жениться на дочери Пьера и благодаря этому браку половина имущества деда Жака перейдёт в чужую семью, что противоречит принципу наследования. Кроме того, дети Жана будут бедны, благодаря своей многочисленности, между тем как их кузина будет богата, потому что она одна, и это противоречит принципу равенства. Если расширить комбинированное приложение этих двух принципов, по-видимому противоположных друг другу, то окажется, что право наследования, против которого в наши дни так неразумно протестуют, нисколько не препятствует сохранению равенства.

Какова бы ни была форма правления, при которой мы живём, факт наследования и наследство всегда будут существовать, независимо от того, кто будет наследником. Сенсимонисты хотели бы, чтобы этот наследник назначался магистратом; иные хотят, чтобы его выбирал умирающий или чтобы порядок наследования определялся законом: суть дела в том, чтобы требования природы были удовлетворены без нарушения закона равенства. В настоящее время истинным регулятором наследования является случай или прихоть, но в деле законодательства случай и прихоть не могут служить правилом. Именно для того, чтобы предупредить бесконечные смуты, которые влечёт за собою случай, природа, создав нас равными, внушила нам принцип наследования, являющийся как бы голосом общества, требующим от нас указаний, кого из наших братьев мы считаем наиболее способным продолжать после нас нашу деятельность.

[12] Zeus klésios.

[13] *Giraud*, Recherches sur le droit de propriété chez les Romains.

[14] Согласно Сен-Симону, сенсимонистский жрец должен определять способности каждого при помощи собственной непогрешимости, которая является подражанием римской церкви;

а согласно Фурье, ранги и достоинства будут определяться путём выборов и голосования, что представляет собой подражание конституционному режиму. Очевидно, великий человек издевается над своим читателем и не желает выдать свой секрет.

[15] Я не понимаю, как иные люди, для того чтобы оправдать неравенство условий, осмеливаются ссылаться на неизменность наклонностей и ума большинства. Разве эта позорная деградация сердца и ума, уносящая столько жертв, не является результатом нищеты и отверженности, которая влечёт за собою для них собственность? Собственность делает человека евнухом, и затем она же упрекает его, что он сухое бесплодное дерево.

[16] Сколько нужно граждан для того, чтобы содержать профессора философии? 35 миллионов. Сколько для содержания экономиста? 2 миллиарда. А для писателя, не представляющего собой ни философа, ни учёного, ни экономиста, ни художника, но пишущего фельетонные романы? Ни одного.

[17] Droit d'aubaine называлось принадлежавшее французскому королю право на имущество иностранца, умершего на французской территории бездетным. Называя право собственности droit d'aubaine, Прудон характеризует это право как нечто случайное, произвольное, ни на чём не основанное. Мы будем переводить droit d'aubaine сообразно каждому данному случаю, ставя в скобках французское название. — *Перев.*

[18] Когда Фурье нужно было умножить целое число на дробь, он, говорят, неизменно получал произведение, значительно превосходившее множимое. Он утверждал, что в Гармонии ртуть будет обращена в твёрдое состояние при температуре выше нуля; с таким же успехом он мог бы сказать, что гармонийцы будут изготавливать горячий лёд. Я спросил одного очень умного сторонника Фурье, каков его взгляд на эту новую систему физики. *Я ничего не знаю*, ответил он, *но я верю*. Этот же самый человек не верил в реальную действительность.

[19] Hoc inter se differunt onanismus et manuspratio, nempe quod haec a solitario exercetur, ille autem a duobus recipitur, masculo scilicet et faemina. Porro foedam hanc onanismi venerem ludentes uxoria mariti habent nunc omnium suavissimam{36}.

[20] Детоубийство открыто проповедуется в Англии, в брошюре, автор которой выдаёт себя за ученика Мальтуса. Он предлагает *ежегодное избиение младенцев* во всех семьях, в которых число рождений превышает установленную законом норму. Он требует, чтобы для погребения этих сверхсметных детей было назначено особое кладбище, украшенное статуями, деревьями, фонтанами и цветами. Матери будут ходить на это великолепное кладбище и предаваться там сладостным мечтам о блаженстве маленьких ангелочков, а затем, утешенные, будут возвращаться домой и снова рожать новых ангелочков... для великолепного кладбища.

[21] «Финансовое положение английского правительства было выяснено в заседании палаты лордов 23 января. Положение это нельзя назвать блестящим. В течение нескольких лет расходы превышают доходы, и министерство устанавливает баланс лишь при помощи ежегодно возобновляемых займов. Официально установленный дефицит в 1838 и 1839

годах достигает 47 500 000 франков. В 1840 году предполагается, что расходы превысят доходы на 22 500 000 франков. Цифры эти были приведены лордом Рипоном. Лорд Мельбурн ответил ему следующее: «К несчастью, благородный граф был прав, утверждая, что общественные расходы непрестанно увеличиваются; я со своей стороны должен сказать, что *нет основания надеяться* на уменьшение или возмещение этих расходов» (National, 26 января 1840 г.).

[22] Свершить по отношению к ближнему акт благотворительности по-еврейски называется *совершить справедливость*; по-гречески — *совершить акт сострадания* или милосердия; по-латыни — *совершить акт любви или жалости*; по-французски же — *совершить милостыню*. Различие в выражениях указывает уже на деградацию принципа. Первое выражение обозначает долг, второе — только сочувствие, третье — расположение, которое не предписывается, а лишь советуется; четвёртое же — произвол.

[23] Под *справедливостью* я разумею здесь то, что латиняне называли *humanitas*, т. е. вид общительности, свойственной человеку. *Гуманность* (*humanitas*), мягкая и снисходительная по отношению ко всем, умеет, не будучи несправедливой, отличать различные степени достоинств, добродетелей и способностей: это справедливая распределительница социальной симпатии и всеобщей любви.

[24] Справедливость и гуманность (*équité*) всегда оставались непонятыми.

«Предположим, что между Ахиллом и Аяксом надо разделить взятую у неприятеля добычу, выражающуюся в цифре 12. Если оба эти лица равны, то и доля добычи обоим должна быть равна, так что Ахиллу достанется 6 и Аяксу также 6. Если последовательно проводить это арифметическое равенство, то даже Терситу пришлось бы дать долю, равную доле Ахилла, а это было бы возмутительной несправедливостью. Для того чтобы избежать такой несправедливости, сравним достоинства этих лиц и дадим им доли, пропорциональные этому достоинству. Пусть Ахилл вдвое достойнее Аякса, тогда доля первого выразится в цифре 8, доля второго в цифре 4. Арифметического равенства не будет, но зато будет равенство пропорциональное. Это именно сравнение достоинств, *rationum*, Аристотель называет распределительной справедливостью; она осуществляется соответственно геометрической пропорции» (*Toullier. Droit français selon l'ordre du Code*).

Являются ли Ахилл и Аякс союзниками, членами одной ассоциации или нет? Вот в чём вопрос. Если Ахилл и Аякс, не будучи вовсе союзниками, просто находятся на службе у Агамемнона, который платит им обоим, то против правила, установленного Аристотелем, ничего нельзя возразить. Хозяин, владеющий рабами, может обещать двойную порцию водки тому из них, кто сработает вдвое больше других. Это есть закон деспотизма, это есть право рабства. Но если Ахилл и Аякс союзники, члены одного общества, то они равны. Тот факт, что Ахилл вчетверо, а Аякс только вдвое сильнее обыкновенного человека, значения не имеет. Аякс всегда может сказать, что он свободен, что если Ахилл силён за четырёх, то пятеро его одолеют, что, наконец, он, Аякс, неся личную службу, рискует собою в такой же степени, как и Ахилл. То же самое рассуждение приложимо и к Терситу: если он не умеет драться, сделайте из него повара, ключника, поставщика; если он ни к чему не пригоден — отправьте его в больницу. Ни в каком случае вы не имеете права насиловать его и

навязывать ему законы.

Для человека возможны только два состояния: он должен быть либо в обществе, либо вне общества. В обществе положения по необходимости равны, неравны только степени уважения и почтения, которых может достигнуть тот или иной человек. Вне общества человек является предметом эксплуатации, орудием, дающим прибыль, и нередко неудобной и бесполезной движимостью.

[25] Между мужчиной и женщиной могут существовать узы любви, страсти, привычки, чего угодно, только не истинного общественного чувства. Мужчина и женщина не товарищи. Различие пола ставит между ними такую же преграду, какую различие видов ставит между животными. Будучи далёк от увлечения тем, что теперь принято называть эмансипацией женщины, я, пожалуй, склонён, скорее, если б дело уже дошло до этого, запретить женщин в тюрьму.

Установление прав женщины и её отношений к мужчине — дело будущего. Законы о браке, так же как и законы гражданские, надо ещё создать.

[26] «Денежный сундук Козимо Медичи сделался могилой флорентийской свободы», — сказал однажды в Collège de France г. Мишле.

[27] «Проблема происхождения языка разрешается установленным Ф. Кювье различием между умом и инстинктом. Язык вовсе не есть обдуманное, произвольное или достигнутое путём соглашения изобретение; он не был передан нам Богом ни путём сообщения, ни путём откровения: язык есть инстинктивное и непроизвольное создание человека, подобно тому как соты являются инстинктивным и необдуманным созданием пчёл. В этом смысле можно сказать, что язык не есть творение человека, ибо он не есть творение его разума. Механизм языка именно потому может возбудить величайшее удивление, что в создании его разум не принимал участия. Это один из наиболее любопытных и в то же время несомненных фактов, какие знает филология. Существует, между прочим, диссертация Ф. Г. Бергмана (Страсбург, 1839), написанная по-латыни, в которой учёный автор объясняет, каким образом ощущение создаёт зародыш звуков, как язык развивается тремя последовательными периодами, почему человек, одарённый при рождении инстинктивную способностью создать язык, утрачивает эту способность по мере того, как разум его развивается, почему, наконец, изучение языков есть настоящая естественная история, истинная наука. Во Франции в настоящее время существует несколько первоклассных филологов, одарённых редким талантом и глубоким философским умом. Это скромные учёные, созидающие науку, почти неизвестные публике; их преданность науке, которая чуть ли не презирается всеми, избегает всяких похвал с таким же, по-видимому, усердием, с каким другие ищут их».

[28] Вот моё право — моё копьё и щит. Генерал Броссар говорил подобно Ахиллу: «При помощи моего копья и моего щита я имею вино, золото и женщин».

[29] Было бы чрезвычайно интересной и благодарной задачей собрать мнения авторов, трактовавших о ростовщичестве или, как выражаются, вероятно, из деликатности, иные, —

о ссудах на проценты. Богословы всегда восставали против ростовщичества; но так как они всегда признавали законность договоров об аренде и о найме, а идентичность этих договоров с ссудами на проценты очевидна, то в конце концов они запутались в лабиринте всяких тонкостей и различий и перестали понимать, как именно следует относиться к ростовщичеству. Церковь, эта наставница нравственности, столь ревниво оберегающая чистоту своего учения, никогда не могла понять истинной природы собственности и ростовщичества; более того, в лице своих первосвященников она проповедовала подчас самые глубокие заблуждения. *Non potest mutuum*, говорит Бенедикт XIV, *locationi ullo pacto comparari*. «Получение ренты, по мнению Боссюэта, так же далеко от ростовщичества, как небо от земли». Можно ли при таких взглядах осуждать ссуды на проценты? Как оправдать Евангелие, которое совершенно определённо запрещает ростовщичество? Положение богословов действительно чрезвычайно щекотливое: они не могут опровергнуть неопровержимые доводы политической экономии, которая отождествляет аренду с ссудой на проценты, и не осмеливаются осуждать последнюю, но так как Евангелие запрещает ростовщичество, то нужно же, говорят они, чтобы что-нибудь называлось этим именем. Но что же такое ростовщичество? Нет ничего смешнее зрелища этих *наставников нации*, смущённо колеблющихся между авторитетом Евангелия, которое, по их мнению, *не могло говорить напрасно*, и авторитетом экономической науки. Ничто, по-моему, не возвышает так Евангелия, как исконная измена его якобы толкователей. Сомэз, отождествивший ссуду на проценты со сдачей внаём, был опровергнут Гроциусом, Пуффендорфом, Бюрламаки, Вольфом и Гейнзиусом, и любопытнее всего то, что Сомэз *сознался в своём заблуждении*. Вместо того чтобы сделать из отождествления Сомэза вывод, что всякий доход незаконен, и перейти затем к доказательству евангельского равенства, учёные сделали как раз обратное. Они говорят: раз аренда и сдача внаём по общему признанию дозволены и раз признано, что ссуда на проценты не отличается от них ничем, то нет более ничего, что можно бы назвать ростовщичеством, и, следовательно, веление Иисуса Христа *иллюзия, ничто*. Последнее же может допустить только человек неверующий.

Если бы настоящий очерк появился во времена Боссюэта, то этот великий богослов доказал бы при помощи писания, святых отцов церкви, традиций, соборов и пап, что собственность есть божественное право, между тем как ростовщичество — дьявольские изобретение. Моя еретическая книга была бы предана сожжению, а я был бы посажен в Бастилию.

[30] «Я проповедую Евангелие, я живу Евангелием», — говорит Апостол, подразумевая при этом, что он живёт своим трудом: католическое духовенство предпочло жить собственностью. Борьба средневековых общин с аббатами и епископами, крупными землевладельцами и сеньорами общеизвестна, не менее известны случаи, когда папы карали отлучением отказ от уплаты церковных доходов. Даже в наше время официальные органы галликанского духовенства утверждают, что жалование священников есть не жалование, но вознаграждение за имущества, которыми некогда владело духовенство и которые были отняты у него в 89 году третьим сословием. Духовенство предпочитает быть обязанным своим существованием скорее праву на получение доходов (*droit d'aubaine*), нежели труду.

Одною из важнейших причин нищеты, царящей в Ирландии, являются громадные доходы англиканского духовенства. Оказывается, что еретикам и правоверным, протестантам и

папистам не в чем упрекать друг друга: все они одинаково грешили против справедливости, все одинаково нарушили восьмую заповедь: *не укради*.

[31] Обыкновенно под словом *анархия* разумеют отсутствие принципа, правила, поэтому его сделали синонимом *беспорядка*.

[32] Если подобным идеям удастся когда-нибудь проникнуть в человеческие умы, то дни представительного образа правления и тирании ораторов будут сочтены. Некогда понятия «наука», «мысль» и «слово» соединялись в одном и том же выражении; для того чтобы охарактеризовать человека, богатого мыслями и знаниями, говорили, что он быстр в речах и искусен в изложении. Давно уже слово, путём абстракции, было отделено от науки и разума; мало-помалу эта абстракция, как выражаются логики, реализовалась в обществе, и теперь мы имеем различных учёных, совсем не умеющих говорить, и *говорунов*, совсем незнакомых с наукою, даже с наукою о слове. В настоящее время философ уже не учёный, а говорун. Некогда законодатели и поэты были люди глубокие и божественные, теперь они — говоруны. Говорун подобен звонкому колокольчику, из которого малейший толчок извлекает нескончаемый звон; у говоруна продолжительность речи всегда прямо пропорциональна убожеству мысли. Говоруны управляют миром; они нас оглушают, душат, грабят, они сосут нашу кровь и насмежаются над нами. Учёные же молчат; как только они раскроют рот — их перебивают. Так пусть они пишут!

[33] *Libertas, liberare, libratio, libra* — свобода, освобождать, взвешивать, взвешивание (мера веса — *livre*) — все эти выражения, по-видимому, имеют один этимологический корень. Свобода есть взвешивание прав и обязанностей; сделать человека свободным — значит уравновесить его с другими, т. е. сравнять его с ними.

[34] В только что вышедшем первом номере ежемесячного издания «*L'Egalitaire*» самопожертвование провозглашается принципом равенства; такой взгляд обнаруживает смешение понятий. Самая возможность самопожертвования предполагает наличность величайшего неравенства. Искать равенства в самопожертвовании — значит признать, что равенство противно природе. Равенство должно основываться на справедливости, на праве в узком смысле слова, на которые ссылается сам собственник; в противном случае равенство немыслимо. Самопожертвование выше справедливости; оно не может играть роль закона, ибо по самой природе своей должно оставаться вознаграждённым. Конечно, было бы желательно, чтобы все уразумели необходимость самопожертвования, и мысль, высказанная «*L'Egalitaire*», весьма похвальна; к несчастью, только она совершенно бесплодна. Что в самом деле можете вы возразить человеку, который вам скажет: «Я не хочу жертвовать собой»? Следует ли его принуждать к этому? Когда самопожертвование бывает вынужденным, оно носит название угнетения, рабства, эксплуатации человека человеком. Самопожертвование пролетариев, преданных собственности, относится именно к этой категории.

[35] Из всех социалистов нашего времени ученики Фурье мне долго казались самыми прогрессивными и почти единственными, достойными этого названия. Если бы они сумели понять свою задачу, сумели говорить с народом, возбудить его симпатии, молчать о том, что сами они не понимают; если бы они не предъявляли таких гордых притязаний и если б

высказали больше уважения к общественному разуму, то, быть может, реформа была бы начата ими. Но как могут эти яростные реформаторы преклоняться перед властью и роскошью, т. е. перед явлениями наиболее враждебными реформам? Как они не понимают, что в наш рассудочный век люди могут быть обращены лишь рассудочными доводами, а не мифами и аллегориями? Как могут они, беспощадные противники цивилизации, заимствовать у последней самые отвратительные плоды её: собственность, неравенство состояний и рангов, чревоугодие, прелюбодеяние, проституцию, теургию, магию и прочую чертовщину? К чему непрерывное метание громов по адресу морали, метафизики и психологии, когда злоупотребление этими науками, в которых они ничего не смыслят, составляет всю их систему? К чему эта мания обожествлять человека, главной заслугой которого было то, что он, самым странным языком, рассуждал о вещах, совершенно ему незнакомых? Кто признаёт непогрешимость какого-либо человека, тот делается неспособным просвещать других; кто отрицает свой разум, тот скоро станет отрицать свободу мысли вообще. Проповедники фаланстера доказали это собственным своим примером. Пусть же они снизойдут наконец до рассуждений, до методического исследования; пусть они дадут нам доводы, а не откровения, и мы охотно послушаем их. Пусть они организуют промышленность, земледелие, торговлю; пусть они сделают труд привлекательным, а самые низкие работы почётными, тогда они могут быть уверены в одобрении с нашей стороны. И пусть они, главное, отделаются от своего иллюминатства, которое придаёт им скорее вид мошенников и шарлатанов, нежели верующих и апостолов.

[36] Индивидуальное владение вовсе не препятствует интенсивной культуре и единству эксплуатации. Я не говорил о неудобствах дробления, потому что это общеизвестная вещь, много раз уже обсуждавшаяся другими. Но я удивляюсь тому, что экономисты, которые так хорошо обрисовали недостатки мелкого хозяйства, не заметили, что причиной этих недостатков является собственность. Странно также, что они не поняли, что их проект мобилизации земли есть первый шаг к упразднению собственности.

{1} Исследование грамматических категорий (*фр.*).

{2} Значение празднования воскресенья (*фр.*).

{3} Франш-Конте (букв.: «свободное графство») — историческая область на востоке Франци, входившая с XIV в. в состав Бургундии; с конца XVII в. — в составе Франции. Столица Франш-Конте — г. Безансон, родина Прудона, В. Гюго, Ш. Фурье.

{4} Имеется в виду книга Ж. Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762), в которой доказывается, что современные системы воспитания основаны на насилии над личностью ребёнка.

{5} Мемуар о собственности (*фр.*).

{6} По отношению к гостю право заявлять притязания имеет вечную силу (*лат.*). О толковании этого закона см.: *Цицерон. Об обязанностях*. I, XII.

«Законы двенадцати таблиц» — свод законов Древнего Рима, созданный коллегией децемвиров в 450—451 гг. до н.э., записанный на двенадцати досках, выставленных на

площади.

{7} *Зенит* — точка небесной сферы, расположенная над головой наблюдателя; *надир* — точка небесной сферы, противоположная зениту.

{8} Букв.: ничто древнее не должно быть изменено (*лат.*).

{9} Цитируется (не вполне точно) изданная накануне Французской революции 1789 г. и сразу завоевавшая популярность брошюра аббата Сиейеса «Что такое третье сословие?».

{10} Имеется в виду попытка Луи Наполеона (в будущем императора Наполеона III), считавшего себя законным наследником французского престола, поднять в 1836 г. в Страсбурге мятеж и захватить власть во Франции. Вторую такую попытку он предпринял в 1840 г. в Булони, после чего был приговорён французским правительством к пожизненному заключению в крепости Гам, откуда ему в 1846 г. удалось бежать в Англию.

{11} Т. е. Ж. Ж. Руссо и его трактат «Об общественном договоре».

{12} Это знаменитое изречение приписывают иногда и английской королеве Елизавете I, но в обоих случаях — без документальных оснований (см.: *Бабкин А. М., Шенецов В. В. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода. В 3 кн. Спб., 1994. Кн. 2. С. 793—794).

{13} Наступает равенство (*лат.*).

{14} Комментарии к гражданскому праву (*фр.*).

{15} Т. е. понижения размера ренты или удлинения сроков её выплаты (от *лат. conversio* — изменение, превращение).

{16} Эпизод из истории Столетней войны (1347 г.); в 1895 г. в честь этого события в Кале был установлен бронзовый памятник работы О. Родена «Граждане Кале».

{17} Ин. 11, 50; цитируется неточно.

{18} Непременное условие; букв.: «условие, без которого нет» (*лат.*).

{19} Трактат о праве узуфрукта (*фр.*). Узуфрукт — право пожизненного пользования чужой вещью и доходами с неё с условием сохранения её целостности и хозяйственного назначения.

{20} Каждому своё по его заслугам (*лат.*) — формула, встречающаяся у Цицерона в трактате «Об обязанностях» (I, V, 15) и в «Тускуланских беседах» (V, 22).

{21} В трактате «Об обязанностях» Цицерон писал: «...частной собственности не бывает от природы. Она возникает либо на основании давнишней оккупации, например, если люди некогда пришли на свободные земли, либо в силу победы, например, если землёй завладели

посредством войны, либо на основании закона, соглашения, условия, жребия... Ввиду этого, — так как частная собственность каждого из нас образуется из того, что от природы было общим, — пусть каждый владеет тем, что ему досталось; если кто-нибудь другой посягнёт на что-нибудь из этого, он нарушит права человеческого общества» (Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1993. С. 63).

{22} Всякое определение в праве опасно: оно почти всегда ведёт к уничтожению (лат.).

{23} Букв.: происхождение от Юпитера (лат.).

{24} О том, что море не принадлежит никому (лат.).

{25} Запрещается пользоваться землёй, водой, воздухом и огнём (лат.)

{26} Царю принадлежит власть надо всеми, а отдельному индивиду — частная собственность. Царю принадлежит верховная власть, индивиду — право собственности (лат.).

{27} Здесь единственное прибежище среди житейских бурь, в котором человеческая душа находит успокоение от бесконечных треволнений (лат.).

{28} Приобретение в собственность по праву давности (лат.).

{29} Пс. 81, 6

{30} С полным правом (лат.).

{31} Ростовщичество разъедает всё (лат.).

{32} Эпизод, рассказанный в 7-й книге «Истории» Геродота (Прудон передаёт не вполне точно). См.: Геродот. История в девяти книгах. М., 1993. С. 325.

{33} Ср. с вольным переводом И. А. Крылова:

Вот эта часть моя
По договору;
Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору;
Вот эта мне за то, что всех сильнее я;
А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет,
Тот с места жив не встанет.

(Крылов И. А. Соч. М., 1969. Т. 2. С. 89: «Лев на ловле».)

{34} Так вы (трудитесь), но не для себя (лат.) — выражение Вергилия.

{35} Ср.: «Нищие всегда будут среди земли твоей» (Втор. 15, 11)

{36} Онанизм и мастурбацию следует различать: онанизмом занимаются только мужчины, а мастурбацией — и мужчины и женщины (*лат.*).

{37} Определение человека, которое Аристотель формулирует в «Никомаховой этике» и «Политике». См.: *Аристотель. Соч.*: В 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 63, 259, 379.

{38} «Гражданское справедливое, — по определению Аристотеля, — состоит... в равенстве и подобии» (Там же. С. 327).

{39} Справедливость — это равенство, несправедливость — неравенство (*лат.*).

{40} Илоты — государственные рабы в Спарте.

{41} Иезуитское государство в Парагвае существовало с 1610 по 1768 г.

{42} См.: *Паскаль Блез. Письма к провинциалу...* Спб., 1898. С. 110 (Письмо восьмое).

{43} См.: *Платон. Собр. соч.*: В 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 523. «По-моему, — говорит здесь Калликл, — законы как раз и устанавливают слабосильные, а их большинство. Ради себя и собственной выгоды устанавливают они законы... стараясь запугать более сильных... Сами же они по своей ничтожности охотно, я думаю, довольствовались бы долею, равную для всех».

{44} Со ссылкой на Аппиана (События в Ливии, Гб) об этом эпизоде рассказывает Дж. Вико в «Основаниях новой науки об общей природе наций» (М.; Киев, 1994. С. 397—398).